

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ОТДЕЛЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ И ЯЗЫКА

ВОПРОСЫ
ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В ЯНВАРЕ 1952 ГОДА

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

1

ЯНВАРЬ—ФЕВРАЛЬ

”НАУКА”

МОСКВА - 1996

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---|-----|
| А. К. Матвеев (Екатеринбург). Субстратная топонимия русского Севера и мерянская проблема | 3 |
| А. И. Домашнев (С.-Петербург). Немецкие поселения на Неве (Из истории развития "островной" диалектологии) | 24 |
| Т. И. Вендина (Москва). Лексический атлас русских народных говоров и лингвистическая гносеология | 33 |
| И. Б. Левонтина (Москва). Целесообразность без цели | 42 |
| Т. З. Черданцева (Москва). Идиоматика и культура (Постановка вопроса) ... | 58 |
| Д. О. Добровольский (Москва). Образная составляющая в семантике идиом | 71 |
| Ф. Премк (Любляна). О ветхозаветных традициях в тексте Брижинских (Фрейзингенских) отрывков | 94 |
| К. Витчак (Лодзь). К проблеме существования *b в микенском греческом | 108 |
| В. А. Фридман (Чикаго). О дифференциации темпоральности и аспектуальности в болгарском и македонском языках | 116 |
| К. Р. Керимов (Махачкала). Есть ли категория вида в лезгинском языке? | 125 |

ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ

| | |
|---|-----|
| Е. Э. Бабаева (Москва). Славяно-французский лексикон А. Кантемира (Филологическая характеристика: концепция, структура) | 136 |
|---|-----|

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Рецензии

| | |
|---|-----|
| М. В. Панов (Москва). <i>Ф.Д. Ашнин, В.М. Алпатов. "Дело славистов". 30-е годы</i> . | 154 |
| М. А. Осипова (Москва). <i>The Slavonic languages</i> | 159 |
| Э. А. Грунина (Москва). <i>А.М. Шербак. Введение в сравнительное изучение тюркских языков</i> | 162 |
| М. Н. Кожина, В. А. Салимовский (Пермь). <i>Человек-Текст-Культура</i> | 166 |
| И. А. Попов, А. Н. Тихонов (Москва). <i>Полный словарь сибирского говора</i> | 170 |
| Б. П. Нарумов (Москва). <i>J.M. Lope Blanch. Nebrija cinco siglos después</i> | 173 |

РЕДКОЛЛЕГИЯ

*Ю.Д. Апресян, А.В. Бондарко, В.Г. Гак, В.З. Демьянков, В.М. Живов,
 А.Ф. Журавлев, Е.А. Земская, Ю.Н. Караулов, А.Е. Кибрик,
 Г.А. Климов (отв. секретарь), Т.М. Николаева, Ю.В. Откупщиков,
 В.В. Петров, В.М. Солнцев, Н.И. Толстой (главный редактор),
 О.Н. Трубачев (зам. главного редактора), А.М. Шербак*

Адрес редакции: 121019 Москва, Г-19, ул. Волхонка, 18/2.
 Институт русского языка, редакция журнала "Вопросы языкознания".

Тел. 201-74-42

Зав. редакцией *Н.В. Ганнус*

© 1996 г. А.К. МАТВЕЕВ

СУБСТРАТНАЯ ТОПОНИМИЯ РУССКОГО СЕВЕРА И МЕРЯНСКАЯ ПРОБЛЕМА

1. К ПОСТАНОВКЕ ВОПРОСА

Летописная мера населяла Волго-Окское междуречье (ВОМ) и Костромской край (КК), иногда в совокупности называемые историческими мерянскими землями (ИМЗ), к которым относят современные Владимирскую, Ивановскую, Ярославскую области, восточные районы Московской и Тверской, а также западную часть Костромской. Территория Русского Севера (РС) — современных Архангельской и Вологодской областей — в древности заселялась и из ВОМ, причем миграции происходили неоднократно и затрагивали многие племена, прежде всего, насколько известно, финно-угорские, а точнее финские. Эти миграционные процессы, которые могли охватить и мерян, должны были, естественно, отразиться в языке и, в частности, в субстратной топонимии РС (далее — топонимии РС). В заселении РС могли участвовать и мигранты из других регионов — Фенноскандии, Межозерья, Северного Урала, Прикамья, но в связи с мерянской проблемой в первую очередь интерес представляет топонимия РС. Цель статьи — сопоставив топонимию РС и ИМЗ, выявить общие элементы, которые могли бы способствовать решению мерянской проблемы, прежде всего лингвостатистической идентификации мерянского языка.

Благодаря исследованиям археологов, длительные этнокультурные связи ВОМ и РС прослеживаются достаточно хорошо [Брюсов 1952; Фосс 1952; Андреева и др. 1987]. Им же мы обязаны за сведения по истории мери, реконструкцию ее образа жизни, установление этапов обрусения [Горюнова 1961; Третьяков 1970; Голубева и др. 1987]. Намного меньше известно об этноязыковых связях мерян с древним населением РС.

Нельзя сказать, что этот вопрос совсем не привлекал внимание ученых. Еще Д. Европеус в прошлом веке указывал на многочисленные черты сходства топонимии ВОМ и РС [Еuropeус 1868; 1874]. Позднее сопоставлениями такого рода занимались Б.А. Серебrenников [Серебrenников 1955] и Е.М. Поспелов [Поспелов 1967; 1970]. Сравнивая гидронимию ВОМ и РС, эти исследователи, однако, не касались мерянской темы. Их труды имели иную направленность, тем не менее способствуя выявлению общего фонда в названиях рек ВОМ и РС. Единственным ученым, который специально, правда, очень кратко, рассматривал меряnsкую проблему на фоне топонимии более северных территорий был финский лексиколог Я. Калима [Kalima 1941; 1942].

Установив ряд соответствий между топонимами Карелии, РС и КК (*Шелтозеро*, *Шокиша* и др.) и убедившись в том, что такие названия нельзя считать прибалтийско-финскими, Калима выдвинул "меряnsкую" теорию, считая, что древними насельниками КК были меряне. Согласно теории Калимы, русские, освоившие сперва территорию мери, перенесли затем часть меряnsких наименований в Карелию и на РС, причем в этом процессе могли принимать участие и меряне, переселившиеся вместе с русскими.

В концепции Калимы многое вызывает возражения, особенно тезис о массовом переносе меряnsких названий русскими или самими мерянами, хотя транспортиция

отдельных топонимов и даже фрагментов топонимической системы могла иметь место. Есть сомнение и в целесообразности употребления термина "мерянский" по отношению к названиям такого рода, поскольку еще надо доказать, что наименования типа *Шелтозеро*, *Шокша* именно мерянские. Специалисты единодушно отвергли "мерянскую" теорию Калимы [см., например, Nissilä 1967; 98—99], однако, как мы увидим в дальнейшем, в ней был элемент истины (см. 3).

Выборочные сопоставления топонимов ВОМ, КК и РС можно найти также в кандидатской диссертации О.В. Вострикова, посвященной финно-угорским заимствованиям в русских говорах КК [Востриков 1979]. Несколько севернорусских параллелей мерянским географическим названиям приводит в своей монографии О.Б. Ткаченко [Ткаченко 1985: 5].

Сопоставление обширных топонимических материалов, собранных на РС Севернорусской топонимической экспедицией Уральского университета (СТЭ) с топонимией ИМЗ, традиционно выделяемых по историческим, археологическим и этнотопонимическим данным¹, показало, что между географическими названиями ИМЗ и РС действительно имеются многочисленные соответствия. Это дает основание использовать севернорусскую топонимию при интерпретации мерянской, а мерянской при объяснении некоторых фактов топонимии РС, в частности, "марийских" названий (см. о них [Матвеев 1995: 36—38]).

Ядром мерянской проблемы сейчас, как и ранее, является спор о месте мерян в финно-угорском мире. Если не учитывать явно ошибочную "угорскую" теорию Д. Европеуса [Еuropeус 1868; 1874], то, как правило, меря считается, финским племенем, но спектр взглядов велик: от сближения мери с марийцами, которое наиболее обстоятельно аргументирует М. Фасмер [Vasmer 1935], до объявления ее прибалтийско-финским племенем в небольшой статье А.Л. Погодина, богатой идеями, но не фактами [Pogodin 1933]. Такой разбор мнений во многом объясняется обращением к одному и тому же не очень значительному, а порой и некачественному топонимическому материалу, который можно по-разному интерпретировать.

Источники другого рода — русские диалектные и аргоические слова предположительно мерянского происхождения — анализирует в своей монографии О.Б. Ткаченко. Дополнив их некоторыми топонимическими материалами, он восстанавливает на этой основе систему мерянских фонем, фрагменты морфологии и даже воссоздает краткий мерянский текст. В конечном счете О.Б. Ткаченко вслед за П. Равилой [Ravila 1937; 1938] отвергает предположение М. Фасмера о тождестве или близком языковом родстве мери и марийцев. Принимая тезис о промежуточном положении мерянского языка между волжско-финским и прибалтийско-финскими языками [Полов 1974; Востриков 1979; Добродомов 1980], он, однако, приходит к выводу об особенной близости мерянского к прибалтийско-финским и мордовским языкам [Ткаченко 1985: 185, 189].

Таким образом, в проблеме лингвотнической идентификации мерянского языка альтернативу создает прежде всего труды и позиции М. Фасмера, сближающего языки мери и марийцев, и О.Б. Ткаченко, считающего мерян в языковом отношении близкими родственниками прибалтийских финнов и мордвы.

2. ТОПОНИМИЯ МЕРЯНСКОГО ТИПА НА ТЕРРИТОРИИ РС

Прежде всего необходимо пояснить, что имеется в виду под топонимией мерянского типа. На территорию ИМЗ древняя топонимия выступает в сильно измененной обрешеной форме. Она плохо собрана и недостаточно изучена как с лингвогеографической, так и историко-лингвистической точки зрения. Поэтому названия, которые считаются сейчас мерянскими, могут и не быть таковыми. Следовательно, выделение топонимии мерянского типа в значительной степени — методический прием, способ класси-

¹ Этот вопрос многократно освещался в научной литературе и возвращаться к нему снова нет необходимости: исторические, археологические и этнотопонимические сведения о мере в целом согласуются.

кации, имеющий целью выявление материала, с большей или меньшей вероятностью принадлежащего мерянскому языку.

Соответственно нет и абсолютных критериев выделения топонимии мерянского типа. Наиболее существенны: 1) фиксация структурно-словообразовательного типа на территории ИМЗ и его отсутствие на смежных территориях (кроме РС); 2) своеобразие топоформанта, позволяющее его выделять среди других финно-угорских топонимических структур при полной (отсутствие близких соответствий) или частичной дифференциации (соответствия в немногих языках); 3) полная или относительная прозрачность семантики топоформанта, уменьшающая возможность произвольных толкований и случайных совпадений. Кроме того, учитывалось и мнение исследователей о принадлежности того или иного типа названий к мерянской топонимии.

Такой подход позволяет исключить из числа предположительно мерянских ряд очень распространенных структурно-словообразовательных типов. Так, топоформант $-V + n(b)ga$ (*Воинига, Печеньга*), встречающийся изредка на территории ВОМ, чаще в КК, и очень распространенный на РС, имеет формальные аналогии в суффиксах мордовских и обско-угорских языков, но может объясняться и на прибалтийско-финско-саамской почве. Этимологически он не раскрыт (возможно, имеет разные источники), семантика его неясна. Гидронимы на $-V + ma$ (*Ухтома, Яхрома*) очень широко представлены на территории ИМЗ и столь же частотны на РС. Топоформант этимологически и семантически неясен, возможности его интерпретации тоже многообразны (в том числе и $*-V + \eta(a) > -V + ma$). Все такие названия при современной изученности вопроса нельзя относить к топонимам мерянского типа, хотя фактически они могут оказаться мерянскими или близкородственными с ними (см. 5). Но пока включение этих названий в мерянский материал только еще больше затемнит и без того сложную картину, так как они (полностью или частично) могут быть и немерянскими (скорее всего — домерянскими, т.е. субстратными). Вопрос о связи этих названий с мерянской топонимией — последующая сложная задача, которая должна решаться с учетом севернорусских данных.

Особый случай — названия на $-V + ba$, которые сопоставляют с финскими причастиями на $-va$ [Ткаченко 1985]. Так, например, костромское *Андоба* сравнивается с фин. *antaa* "давать", *antava* "дающий", морд. *андомс* "кормить" и реконструируется как мерян. **anDoBa* со значением "кормящий", "дающий" [Ткаченко 1985: 47, 132], а *Кондоба* как мерян. **konDoBa* "(при)носящий (свою воду другой реке)", ср. фин. *kantava* "несущий" от *kantaa* "нести" [Ткаченко 1985: 117]. В этих интерпретациях вызывает сомнение уже семантическая трактовка названий, которая не укладывается в традиционные модели финно-угорской топонимии. Но и без обращения к семантике, которая часто вызывает споры, здесь легко обнаруживается ошибочность интерпретации, так как не учитываются русская фонетическая адаптация и свидетельства исторических источников. Достаточно привести список названий на $-V + ba$, зафиксированных на территории ИМЗ, чтобы увидеть определенную закономерность: *Андоба, Банеба, Кондоба, Сандеба, Санеба, Синеба, Сондоба, Сундоба, Тонеба*. Оказывается, таких названий немного, и все они имеют в топооснове консонантную группу *нд* или согласный *н*. Это позволяет видеть в топоформанте $-V + ba$ результат комбинаторного изменения, а именно переход $-V + ma > -V + ba$ на почве диссимилиации носовых.

Еще показательнее данные исторических документов XVI в., в которых костромская река *Андоба* систематически именуется *Андомой*, ср.: "Се яз Иван Григорьевич Морозов купил есми у Семена у Козла... его вотчину... в Костромском уезде в Андомской волости на рецѣ на Андоме" [Акты... 1975: 270—271]. Все это позволяет считать топонимический тип на $-V + ba$ вторичным, возникшим на русской почве, и свести его к $-V + ma$. Таким образом, эти названия не имеют отношения к финским причастиям на $-va$ и пока тоже не могут считаться мерянскими.

Труднее решить вопрос о многочисленных в ИМЗ названиях на $-V + za$, $-V + z$, $-V + xa$, $-V + x$ (*Воймега, Карюг, Ландех* и т.п.), которым на РС соответствуют наименования на $-V + za$, $-V + z$ (ср. фин. *joki*, карел. *jogi*, саам. *jokkâ* "река", марийск. *йогы* "течение", "поток" и т.п.). Их финское в широком смысле происхождение несомненно, при этом предполагается, что топоформант $-V + x$ возник на русской почве из $-V + z$ [Поспелов 1967: 81]. Однако субстратные названия на $-V + z(a)$, $-V + x(a)$ очень трудно идентифицировать как достояние какого-либо определенного финского языка, поскольку соответствующий гидрографический термин сохранился в разных модификациях почти во всех финно-угорских и самодийских языках. Поэтому уверенно связывать эти названия на территории ИМЗ с мерянскими источниками пока не представляется возможным, особенно если учесть соответствия в основах топонимов на $-V + z(a)$, $-V + n(b)za$ и $-V + ma$. Тем не менее клязьминские гидронимы на $-V + x$ (*Люлех, Тюних*) и костромские на $-V + za$ (*Корнега, Сондога*) некоторые исследователи считают мерянскими и, видимо, не без оснований [Ткаченко 1985: 72—73; Востриков 1979: 48—50].

Как предположительно мерянские интерес представляют прежде всего названия населенных пунктов на *-бал, -бол*, наименования рек на *-бож, -ингирь, -кура, -курга* и озер на *-кур* и $-V + xpa$.

Названия на *-бал* (*Куткобал, Шудобал*), *-бол* (*Толгобол, Яхробол*), реже *-пал, -пол, -пола* и т.п. довольно широко распространены на территории ИМЗ (более 30 названий). Почти все они относятся к населенным пунктам, иногда прилагаются также к смежным рекам, ср. село *Нушпола* (*Нушполо, Нушполы*) и река *Нушпола* (*Нушполка*), или озеру, ср. населенный пункт *Яхробол* и озеро *Яхробольское*. Метонимическим переносом ойконим $>$ гидроним или ойконим $>$ ороним объясняются и те редкие случаи, когда известен только гидроним (*Ружбал, Шенбалка*), или наименование урочища (*Хихиболы, Шаупал*). Они обусловлены исчезновением населенного пункта и хорошо известны в топонимической ономастиологии. Таким образом, *-бал, -бол* и т.п. — чисто ойконимический топоформант, который вопреки Европеусу не следует сопоставлять с венг. *fylüb* "река" [Европеус 1868: 64—65; 1874: 12]. Семантика этого топоформанта точно не установлена, однако его ойконимический характер признается М. Фасмером и А.И. Поповым. Ссылаясь на письменное сообщение Я. Калимы, Фасмер сопоставляет *-бал, -бол* с фин. *palva* (в топонимах), венг. *falu* "деревня", Попов склоняется к сравнению с пермскими источниками, ср. удм. *пал* "сторона". Как эти, так и другие этимологические поиски (ср. манс. *návыл* "поселение", саам. *hælle* "сторона", "половина", морд. *веле* "село", марийск. *вел* "сторона", "край", "страна") не выходят, однако, за уровень рабочих гипотез. Несмотря на этимологические трудности, топоформант единодушно считается мерянским [Vasmer 1935: 585—587; Попов 1974: 15—16, 22—23; Востриков 1979: 60—63; Ткаченко 1985: 61—62], прежде всего благодаря его четкой географической привязке и зоне ИМЗ и отсутствию сколько-нибудь надежных соответствий в топонимии других финских языков.

Колебания звуков в топоформанте (*б—п* и *а—о*) могли быть обусловлены различными факторами (влияние соседних звуков, время усвоения и т.п.) и возникнуть как в языке-источнике, так и на русской почве. Так, топонимы *Мушпал, Нушпола, Шаупал* ясно указывают на связь вариантов топоформанта, имеющих начальное *п* (*-пал, -пола* и т.п.) с наличием предшествующего звука *ш*. Соответственно названия *Кужбал, Пужбол, Ружбал* свидетельствуют о взаимосвязи *-бал, -бол* и предшествующего *ж*. Все это хорошо иллюстрирует общность вариантов топоформанта с начальными *п* и *б*. Единство топоформанта подтверждается и отсутствием сколько-нибудь выраженных ареальных закономерностей в распределении его вариантов.

Топонимы, подобные мерянским названиям на *-бал, -бол*, широко распространены и на территории РС (до 70 наименований), однако они не образуют полного единства и члениятся на несколько локальных групп. Это также ойконимы и обозначения

урочищ, изредка гидронимы, т.е. соотношение названий с географическими объектами на РС то же, что и на территории ИМЗ. Особенно близки к мерянским многочисленные названия на *-бал, -пал* в западной и южной частях Белозерского края (*Андопал, Вадбал, Кодобал, Костобал, Купчебал, Ледбал, Пахтабал, Турпал, Чанабал, Чёмбал* и т.п.). Изредка такие наименования фиксируются по Сухоне (*Вожбал, Нёнбал*), верховьям Ваги (*Куштал*), и её притоку Устье (но уже с гласной финалью — *Кубало, Обало, Солобало, Сорбало*, хотя записан и вариант *Кубал*). Встречаются они в вариантах *-бала, пала* и к западу от озера Лача (*Кимбала, Шимпала, Шурамбала*), а также по среднему и нижнему течению Сев. Двины и её притокам (*Котабала, Парабала, Соломбала, Талубала, Торопало, Удорбала, Ханабала*). Наконец, очень плотный ареал таких названий обычно с вариантом топоформанта *-пола*, но иногда и *-бола* выявлен на Пинеге (*Выноспола, Кушкопола, Кыскопола, Ластепола, Летопола, Никопола, Солопола, Чучебала* и т.п.), и Мезени (*Ерепала, Санопола, Чучепола, Шумболка, Юкшеболка* и т.п.).

В фонетико-морфологическом отношении показательно преобладание консонантных окончаний в южной части региона, что согласуется с распространением в этих же местах гидронимов на *-V + г*, а также с мерянскими названиями.

Все эти данные позволяют сделать вывод, что на территории РС в древности функционировал тот же ойконимичный топоформант, что и в зоне ИМЗ. Однако топонимы с его различными модификациями на РС скорее всего принадлежали разным языкам. Следовательно, в этом случае надо говорить не о мерянской топонимии на РС, а только о топонимах мерянского типа: севернорусские названия на *-бал, -пал* и т.п. могут быть и немерянскими и в основном, видимо, и являются таковыми (подробнее см. 5).

Гидронимы на *-бож, -ингирь, -кур* (*-кура, -курга*) на территории ИМЗ встречаются реже, чем названия на *-бал, -бол*.

Названия на *-бож*, в вариантах на *-баж, -бажа, -паж, -пажа, -паиш, -боиш*, распространены в Ярославском Поволжье (район Углича), под Москвой (район Дмитрова), а также во Владимирском крае, ср. *Бердобожка, Егобож, Инобож, (Инобаж, Инопаж), Кибож, Коропаш, Кучебож (Кучебажа, Кучебожа), Лухтобажа, Неропажа, Онтопаж, Почебоиш, Рандобож, Серобож*. Близкие по типу названия засвидетельствованы и в басс. Унжи (КК) — *Ворваж, Колбаиш, Сивеж*. К мерянским наименования такого рода относит М. Фасмер, сравнивая их с марийск. *важ, вож* "корень" (= "место разветвления", "исток") [Vasmer 1935: 587—588]. Они достаточно часто встречаются в местах, населенных марийцами, ср. *Кожваж* "Еловый исток", *Күваж* "Каменный исток", *Шүргөваж* "Лесной исток" и т.п. Однако подобные названия обычны и в коми топонимии, где *вож* "ответвление", "исток реки", "рассоха", ср. *Войвож* "Северный исток", *Косвож* "Сухой исток", *Лунвож* "Южный исток" и т.п. В прибалтийско-финских, саамском и мордовских языках соответствующих лексем или вообще нет или они фонетически и семантически далеки (морд. мокш. *ужа*, "угол") [Лыткин, Гуляев 1970: 60, 69—70].

Колебание *a—o* и в этом случае может иметь столь же многообразные причины, что и в *-бал, -бол*. Так, М. Фасмер колебания гласных в обоих топоформантах считает результатом одновременной русской адаптации — древней *a > o* и более поздней *a > a*. Наличие *ш* вместо *ж* в исходе названий скорее всего связано с неточной фиксацией. Сложнее объяснить колебание *б—п*: *б* может восходить к древнему билабиальному *β*, а более редкое *п* обуславливаться ассимиляционно-диссимиляционными процессами на русской почве.

На РС плотный ареал гидронимов с соответствующим топоформантом *-важ* (варианты *-ваиш, -баж, -баиш, -маж, -маиш, -веж, -беж, -меж*) находится в юго-восточной части региона в прямоугольнике между Вагой, верховьями Пинегы и Сухоны.

Встречаются они, хотя и не очень часто, и в среднем течении Устья (*Амбеж, Поваж, Роваж*).

Зафиксировано до 80 названий этого типа, из них около половины с вариантом *-важ* и приблизительно 20% с вариантом *-веж*, так что эти разновидности должны считаться основными (*Кестваж, Ухваж—Матвеж, Сивеж*). Варианты топоформантами *-баж* (*Вадьбаж*), *-беж* (*Амбеж*), *-маж* (*Мармаж*), *-меж* (*Нечмеж*) возникли на почве комбинаторных изменений скорее всего уже в русском языке. В некоторых случаях они легко объяснимы: **Аивеж* > *Амбеж*, **Марваж* > *Мармаж*. Согласный *ш* в исходе может быть следствием неточной записи, хотя нельзя совсем исключить лексикализацию форм на *-ш* (*Кумбаш, Нельмаш* и т.п.) в русской речи. Наиболее сложно для объяснения колебание *-важ—-веж*. В этом случае либо следует восстанавливать исходное **vāž* с различной рефлексацией **ā* в русском языке (*a* и *e*), либо допустить воздействие какого-либо языка-посредника, например, прибалтийско-финского, с развитым сингармонизмом. Поскольку несомненен терминологический характер топоформанта, предположение о существовании сингармонических вариантов в языке-источнике непродуктивно.

Топоформант *-ингирь* неоднократно засвидетельствован в самостоятельном топонимическом употреблении (названия рек *Ингирь, Ингерь*, реже *Ингарь*): 8 фиксаций в западной части Костромской области, особенно в басс. Унжи, 3 — во Владимирской, 1 — в Ивановской. В роли топоформанта та же картина: во Владимирской области — *Вангирь, Ненгирь, Сангер, Сингерь, Сингорь, Сунгирь, Унгарь*, в западной части Костромской — *Левангирь, Лингирь, Пангирь, Сонгирь, Ухтингирь, Шачингирь, Шингирь*. Топоформант может сильно варьировать. Наиболее обычен вариант *-ингирь*.

Гидронимы с топоформантом *-ингирь* не встречаются на территории Ярославской области. Это может объясняться следующими обстоятельствами: 1) при сильной диалектной дробности мерянского этноса рассматриваемый географический термин не был известен "ярославскому" диалекту; 2) географический термин обозначал небольшие речки и ручьи, поэтому на давно обрусевшей ярославской территории, где субстратная микрогидронимия плохо сохранилась, гидронимы на *-ингирь* были вытеснены русскими названиями. Впрочем, их мало осталось и во Владимирской и Костромской областях.

Этот географический термин замечателен в том отношении, что из ныне существующих финно-угорских языков засвидетельствован только в марийском, ср. *энер* "речка", горно-марийск. *ангыр* "ручей", "маленькая речка", и очень хорошо представлен в марийской гидронимии. Таким образом, топоформант *-ингирь* относится к числу ярко дифференцирующих. Принимая мерянское происхождение названий рек с топоформантом *-ингирь* и гидронимов *Ингирь*, мы фактически признаем большую близость мерянского языка к марийскому. Не случайно отношение к этим названиям во многом определяется исходной установкой: М. Фасмер, В.В. Седов, О.В. Востриков считают *-игирь, Ингирь* мерянским реликтом [Vasmer 1935: 579; Седов 1974: 32; Востриков 1979: 64—65], А.И. Попов — поздним марийским наслоением [Попов 1974: 24—25], а О.Б. Ткаченко вообще не упоминает об этом гидронимическом типе ИМЗ.

На территории РС аналогичные названия на *-енгарь* (о вариантах см. 3) находим только в среднем течении Устья, где СТЭ засвидетельствовано их небольшое, но плотное гнездо, которое было описано и сопоставлено с соответствующими мерянскими названиями Владимирской и Костромской областей [Матвеев 1965: 138—139; 1970: 316—318]. В свете всего сказанного эти названия должны считаться марийскими или мерянскими по происхождению.

Еще один своеобразный топонимический тип на территории ИМЗ — названия пойменных "старичных" озер на *-кур*, особенно характерные для Владимирской области, а также восточных окраин Московской (*Качкур, Печкур* и т.п.). Но названия этого типа нередко прилагаются и к рекам, ср. в тех же местах гидронимы *Вишкур*,

Каскура, Печкура. Гидрографический термин известен и в самостоятельном топонимическом употреблении, ср. названия озер *Кура* и *Куро*.

Топоформант *-кура* со значением "овраг" выделял еще Д. Европеус, считая его угорским по происхождению [Еuropeус 1874: 12], но более убедительным прибалтийско-финско-саамские соответствия, ср. фин. *kuru* "длинное узкое углубление; залив или ложбина, ущелье или русло с крутыми берегами" и саам *kurra, gurrâ, kurr* "узкое углубление (проход) в горной тундре", "отверстие", "ущелье" [SKES 1955—1981: 247]. В то же время можно указать и на интересные структурные соответствия с марийским языком, ср. название озера *Воскураш* во Владимирской области, уже упомянутые названия озер на *-кур* типа *Качкур* и марийск. *ер* "озеро", *ераш* "озерко".

Прямые соответствия владимирским названием изредка встречаются в разных частях РС (*Лакмокуры, Пикуры* и т.п.), более отдаленные с топоформантом *-курье, -курья* (*Вондокурье, Улдокурье; Лавкурья, Пачкурья*) высокочастотны в восточной и северо-восточной частях РС, где в диалектной лексике обычен и географический термин *курья* "небольшая речка", "протока", "старица". Топонимы этого типа обозначают речки, протоки, речные заливы, "старичные" озера. Семантические переходы в соответствующих географических терминах общеизвестны.

Этимологическая связь названий на *-кур, -кура, -куры* и *-курье, -курья* несомненна, но ее характер и направление развития пока не удалось установить. Вопрос еще больше усложняется тем, что в Костромской области при отсутствии названий на *-кур* отмечены гидронимы на *-курга* (*Линкурга, Никурга, Якурга*), а в Ярославской есть река *Курга*, название которой, правда, сопоставляют с фин. *kurki* "журавль" [Vasmer 1935: 559—560]. Кроме того, СТЭ обнаружила на РС небольшое гнездо (5 названий) гидронимов на *-курга* (*Кочкурга, Шаткурга* и др.) в пределах охарактеризованного выше среднеустьянского ареала *-енгарь* [Матвеев 1965: 139]. Их можно сопоставить с названиями на *-курья*, что допустимо с учетом широко распространенного фонетического перехода $g > \gamma > j(i)$ [Серебренников 1974: 139, 147]. Костромские и среднеустьянские названия на *-курга* сравнивались О.В. Востриковым, с точки зрения которого в основе топоформанта может быть волжско-финское слово типа морд. *курго* "рот", "отверстие", марийск. *кõргõ* "нутро", "внутренность" [Востриков 1979: 65—66].

Исходя из того, что топоформанты *-кур(a)* и *-курга* лингвогеографически находятся в отношении дополнительной дистрибуции, можно предположить, что в топонимии ИМЗ отражены два родственных диалектных слова **kur* и **kurg(a)*.

Озерные названия на *-ехра, -ихра* "озеро" обсуждались неоднократно и обычно квалифицировались как мерянские (см., например, [Попов 1965: 118—119; Седов 1974: 32]). Эти названия характерны прежде всего для Владимирской области, но ойконим *Яхробол* на озере *Якробольском* в Ярославской области и гидроним *Яхромиша* (приток Чухломского озера) в Костромской сразу указывают и на русскую форму мерянского апеллятива со значением "озеро" **яxp²* (> *-ехра, -ихра* в топоформанте) и на ее распространение в других районах ИМЗ. Следует, однако, заметить, что М. Фасмер, либо не располагая материалом, либо по какой-то другой причине не рассматривает названия на *-ехра, -ихра* в своей работе о мере [Vasmer 1935].

Поскольку об аналогичных названиях на РС нам уже приходилось писать [Матвеев 1969: 51, 53], остановимся здесь только на нескольких существенных моментах.

1) Распространение названий на *-ехра, -ихра* типа *Вичехра, Исихра, Кочихра, Печехра, Пузехра, Сезехра, Суехра* и т.п. во Владимирской области, где они достаточно многочисленны, явно связано с физико-географическими условиями — большим количеством озер в бассейнах Оки и Клязьмы. В Ярославской и Костромской областях

² Как будет видно из дальнейшего, в мерянском скорее всего было **jäxr*. В целом же для сколько-нибудь серьезной реконструкции мерянских лексем пока нет базы.

озер мало, хотя есть несколько крупных, которые в мерянском языке, по-видимому, обозначались другой лексемой [Матвеев 1978].

2) На РС, где озер очень много, в их названиях представлены прежде всего полукальки типа *Пертозеро, Шардозеро*. Двухкомпонентные названия озер с субстратным топоформантом на РС встречаются сравнительно редко. Напротив, в ВОМ полукалек практически нет, что указывает на какой-то иной характер языкового контакта (отсутствие длительного двуязычия?).

3) На РС преимущественно близ Сев. Двины и по ее небольшим притокам засвидетельствован ряд названий озер, аналогичных волго-окским наименованиям на *-хра, -ихра*, ср. *Конагра, Оногра, Суегра* (ср. *Суехра* в ВОМ), *Чавегра* и т.п. Сюда же надо отнести и хорошо известное название озера *Рушеягр* (XV в.) в низовьях Сев. Двины (ср. *Яхробол*).

Близость мерянских форм на *-V + хра* к северным на *-V + гра* очевидна, но пока и в названиях на *-V + гра* можно видеть только топонимию мерянского типа, а не собственно мерянские топонимы. Эти названия могут быть, например, древнесаамскими, о чем нам уже приходилось писать [Матвеев 1969: 51].

4) Изменение $g > \gamma > x$ (ср. *ягр-* и *яхр-*) могло иметь место в некоторых субстратных языках вследствие ослабления исконной смычной артикуляции, отраженной в топонимии РС, и переходом ее в фрикативную, причем спирант мог и вообще исчезнуть (ср. название озера *Мачер* в среднем течении Устья). Однако иногда при соответствующих условиях x могло, видимо, появиться в русской речи, ср. в южной части РС *Ягрыши*, но *Яхреньга*.

Сопоставим теперь все приведенные факты в таблице 1, выделив в отдельную рубрику примечательный среднеустьянский микрорегион РС. При этом, чтобы не перегружать ее, укажем только основные варианты топоформантов. Прочерк означает отсутствие фиксации.

Таблица 1

| ИМЗ | | | РС | |
|-------------------|------------------|------------------|---------------|-------------------|
| Владимирская обл. | Ярославская обл. | Костромская обл. | Средняя Устья | Другие территории |
| -бал, -бол | -бал, -бол | -бал | -бал(о) | -бал(а), -нал(а) |
| -бож | -бож | -важ | -важ, -веж | -важ, -веж |
| -ингирь | — | -ингирь | -енгарь | — |
| -кур(а) | Курга(?) | -курга | -курга | -куья, -курье |
| -хра | яхр- | яхр- | -р | -егра, -ягр |

Из таблицы следует, что все характерные мерянские топонимические типы ИМЗ распространены и на РС, хотя их ареалы в пределах этого региона совпадают только частично, а иногда очень невелики (среднеустьянские названия на *-енгарь* и *-курга*). Нельзя исключать, что среди севернорусских названий есть и собственно мерянские, однако, с точки зрения формального анализа, следует говорить только о мерянских типах: топонимические, "мерянизмы" на РС могут быть разного происхождения. Но поскольку заселение РС происходило из ВОМ, выявление собственно мерянских названий на территории РС не должно быть неожиданностью. Наиболее интересным для таких поисков был бы микрорегион РС, на территории которого зафиксированы все или почти все мерянские топонимические типы. Именно таким и является небольшой среднеустьянский микрорегион, где (и только там на РС!) засвидетельствованы речные названия с топоформантом *-енгарь*, а также топонимы на *-бал(о)*, *-важ* и *-курга*. Озерный топоформант *-V + гра*, как уже было сказано, редкий на РС, здесь, правда, не обнаружен, но в среднем течении Устья вообще мало озер, причем название одного

из них *Мачер* характеризуется топоформантом *-ер* (подробнее о связи *-ер* с *-егра* и *-ехра* см. 3). Так или иначе, для решения мерянской проблемы именно среднеустьянская территория представляет наибольший интерес как зона возможного распространения мерянской топонимии, и поэтому она сразу же привлекла к себе внимание [Матвеев 1970: 316—318; Седов 1974: 32; Востриков 1979: 64—65].

3. ТОПОНИМИЯ СРЕДНЕУСТЬЯНСКОГО МИКРОРЕГИОНА НА ЮГЕ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Этот микрорегион охватывает участок среднего течения реки Устья, правого притока Ваги, между селом Орлово и поселком Квазеньга в Устьянском районе Архангельской области. Он относительно удален от большой реки и поэтому раньше был трудно доступен. Возможно, это объясняет, почему среднее течение Устья было когда-то выбрано для поселения мигрантами из ВОМ.

Хотя в пределах среднеустьянского микрорегиона (СУ) отмечен ряд специфических формальных типов — на *-бал(о)*, *-курга* и др., наиболее многочисленны и прежде всего послужили основанием для его выделения гидронимы на *-енгарь*. К настоящему времени их выявлено 15. Это, как правило, названия небольших речек и ручьев, которые и приводятся ниже в наиболее употребительном варианте: *Ваненгарь*, *Коненгарь*, *Куберенгарь*, *Кулангарь*, *Кунангирь*, *Куненьгарь*, *Лапонгарь*, *Моткангарь*, *Ошенгарь*, *Пыженгор*, *Синенгарь*, *Сюнгирь*, *Уньсынгарь*, *Шишенгарь*, *Юченгарь*.

Как видно из этого перечня, находящийся в слабой позиции гласный второго слога варьирует (ср. *Ошенгарь*, *Ошеньгарь*, *Ошингарь*, *Ошиньгарь*, *Ошингирь*, *Ошингарь*), тем не менее в большинстве названий начальным гласным топоформанта является *e*. Поэтому вариант *-енгарь* и рассматривается как основной. Это позволяет увидеть определенное звуковое различие (*и—e*) между топоформантами *-ингирь*, на территории ИМЗ и *-енгарь* на СУ, который, напротив, сближается с марийск. *энгер*.

Варианты *Вангирь* (от *Ваненгарь*) и *Куньгарь* (от *Куненьгарь*) убедительно показывают, как возникли двусложные гидронимы типа *Вангирь*, *Неньгирь*, *Шингирь* и т.п. на территории ИМЗ.

Названия на *-енгарь* имеют большое диагностирующее значение, поскольку соответствующий марийский термин характерен только для этого языка и противопоставляет его всем другим финно-угорским языкам. Поэтому прежде всего надо решить, марийцам или мерянам принадлежат среднеустьянские названия на *-енгарь*. Предположение о том, что они восходят к какому-то третьему языку, можно будет выдвинуть только в том случае, если на поставленный вопрос мы не сумеем получить достаточно обоснованный ответ: ведь у нас нет данных о том, что такие названия были еще у какого-либо народа, кроме мерян и марийцев.

Если окажется, что эти названия мерянские, то и бытующие на территории ИМЗ названия на *-ингирь* придется признать мерянским субстратом, а не марийским адстратом. С другой стороны, если эти названия мерянские, то соответственно они будут указывать на определенную близость мерянского языка к марийскому. Таким образом, названия на *-енгарь* играют ключевую роль не только для СУ, но и для языковой идентификации мерянской топонимии на территории ИМЗ.

Рассмотрим вопрос, основываясь на выявленных ранее на территориях ИМЗ и СУ общих структурно-словообразовательных типах топонимов, сопоставляя их с соответствующими фактами марийского и некоторого других финских и — для большей убедительности — угорских языков. При этом прочерк означает отсутствие соответствия, а знак вопроса на его проблематичность.

Табл. 2 позволяет сделать следующие выводы. Во-первых, почти полная идентичность топоформантов на территориях ИМЗ и СУ на фоне более редких соответствий в живых финских и угорских языках ясно свидетельствует в пользу мерянского происхождения топонимии СУ. Это со своей стороны подтверждает мерянское проис-

| ИМЗ | СУ | фин. | саам. | морд. | марийск. | коми | венг. | манс. |
|-----------------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|--------------|----------------|
| -бал, -бол | -бал(о) | <i>palva?</i> | — | — | — | — | <i>falv?</i> | <i>návval?</i> |
| -бож | -важ | — | — | — | -важ, -вож | вож | — | — |
| -ингирь | -енгарь | — | — | — | энгер | — | — | — |
| -кур(а), -курга | -курга | <i>kuru?</i> | <i>gurra?</i> | <i>kurgo?</i> | <i>kõrgõ?</i> | — | — | — |
| -эпра | -ер | <i>järvi</i> | <i>jawte</i> | эрьке | ер, йәр | — | — | — |

хождение -ингирь в ИМЗ. Во-вторых, из ныне существующих финно-угорских языков наиболее убедительные соответствия топонимическим материалам ИМЗ и особенно СУ обнаруживаются в марийском. Они не позволяют идентифицировать топонимию СУ как марийскую (на фоне полноты мерянских соответствий), но достаточны для того, чтобы увидеть большую близость мерянского языка к марийскому, чем к другим финно-угорским языкам.

Есть, однако, и другие факты, подтверждающие эти выводы и позволяющие их уточнить.

В том же Устьянском районе близ СУ находится большое село *Ростово*. Это название прямо указывает на заселение устьянской территории выходцами из Ростовского края ИМЗ, скорее всего русскими. Труднее решить вопрос о первоначальном населении деревни *Кадьевская* (СУ), наименование которой может быть связано и с финно-уграми: при неславянскбй внутренней форме этого пока нет интерпретированного названия соответствия ему находим в разных частях мерянской территории и даже за ее пределами, ср. ойконимы *Кадьево* близ Владимира, *Кадый* на западе Костромского края и *Кадуи* около Череповца.

Другие факты определенно указывают на связь населения СУ с ростовской территорией. Так, самому названию реки *Устья*, как бы его ни объяснить (а это можно сделать и на русской и на финно-угорской почве), соответствует наименование тоже довольно значительной реки *Устье*, в памятниках XV—XVI вв. — *Ус(т)ья*, впадающей в приток Волги *Которосль* близ Ростова. В свою очередь *Которосль* дважды возрождается в названиях небольших речек СУ — *Которас* и *Которость*, причем первое подходит на местный субстратный гидроним, а второе выглядит как в той или иной степени славянизированное. В первом случае вероятность создания названия именно мерянами намного увеличивается. Кроме того, эти факты объясняют происхождение конечного -росль в названии реки как оригинальную народную этимологию на русской почве (-рость > -росль), связанную с диссимилиацией глухих смычных (*Которость* > *Которосль*). Правдоподобность всего сказанного усиливается тем обстоятельством, что и у ростовского гидронима *Которосль* в XIX в. был записан вариант *Которость* [Титов 1885: 288], а в КК (басс. Унжи) есть река *Котрость*.

Весь этот материал, однако, свидетельствует главным образом только о переселении какой-то части ростовского (а также, видимо, владимирского) населения на территорию СУ и смежных с нею земель. Правда, некоторые названия (*Кадьевская*, *Которас*) можно рассматривать как мерянские в своей основе, но они с таким же успехом могли быть перенесены и русскими. Вообще очень вероятно, что меряне осваивали эту территорию вместе с русскими, вовлеченными в общий колонизационный поток.

Есть, однако, данные, которые достаточно убедительно указывают на собственно мерянское происхождение местных финно-угорских названий. Таковы прежде всего сами гидронимы на -енгарь и -курга, если их рассматривать как единый корпус: в практике топонимическбй ономазиологии неизвестны случаи столь массового переноса

однотипных названий мелких гидрообъектов. Очевидно, они возникли на территории СУ, но по тем моделям, которые принесли с собой мигранты. Если рассматривать гидроним *Сунгирь* вне связи с другими названиями этого типа на территории СУ, его вполне можно считать переносом владимирского *Сунгирь* (ВОМ), но на общем фоне названий на *енгарь* (СУ) естественнее видеть и в этом названии результат местного имятворчества, хотя, возможно и подготовленный ассоциацией с владимирским *Сунгирь*.

Имеются и другие факты, прямо свидетельствующие о собственно мерянском происхождении по крайней мере некоторых названий СУ. Здесь прежде всего следует привести местную параллель знаменитому суздальскому названию селения *Кибол* (ср. фин. *kivi*, марийск. *кү* "камень"), которое фигурирует почти во всех работах по мерянской проблеме, так как еще со времен Д. Европеуса сравнивается с наименованием реки *Каменка*, на которой стоит этот населенный пункт [Европеус 1868: 64]. Сам Европеус толкует *Кибол* как "Камень-ручей", однако это название означает, вероятно, "Каменное поселение". На территории СУ находим соответственно реку *Кубал*, населенный пункт *Кубало* (*Кубал*) и впадающий в Кубал близ этого населенного пункта ручей *Каменка*. Эту поразительную параллель можно считать абсолютно точной, поскольку появление у (СУ) вместо и (ВОМ) объясняется исторической фонетикой марийского языка: в слове *кү* "камень" звук *i* в довольно поздний период подвергся лабиализации под влиянием последующего *v* (ср. фин. *kivi* "камень"). Это же происходило и в некоторых других случаях перед губными согласными [Грузов 1969: 124]. Следовательно, мы, во-первых, получаем прямое указание на то, что переселение мерян произошло позже формирования мерянских названий на территории ВОМ, где следов такой лабиализации нет (ср. *Кибол*). Во-вторых, если и в этом случае произошел "мемориальный" перенос, крайне сомнительно, чтобы он был осуществлен русскими, поскольку метонимическая калька предполагает знание языка. Но даже если допустить такую редкую возможность, как точный перенос фрагмента гетерогенной по происхождению топонимической системы русскими, переместившимися с территории ВОМ в бассейн СУ (*Кибол – Каменка* > *Кубал – Каменка*), то она сразу же опровергается тем, что в этом случае на СУ утвердилась бы суздальская пара названий *Кибол – Каменка*: изменение вокализма *i* > *й* могло произойти только в мерянском языке, но никак не в русском.

На сравнительно поздний характер мерянской речи СУ, в некоторых отношениях приближающейся к марийской, указывает и название одного из немногих среднеустьянских озер *Мачер* или *Мачеро* (ср. марийск. *мача* "котцы, рыболовецкий снаряд из дранок" и *ер* "озеро"). Этот топоним самой своей формой свидетельствует об общем пути фонетического развития слова со значением "озеро" в мерянском и марийском языках (**jäxr*, **jexr* > **jä^hr*, **je^hr* > *jär*, *jer*).

Мерянское происхождение названий на территории СУ подтверждает также яркая метонимическая калька, вообще исключая возможность переноса, т.е. явно возникшая на РС и не имеющая аналогов в ИМЗ. Речь идет о наименовании ручья *Кочкужмень*, впадающего в Устье около большого мыса выше деревни *Большой Наволок* (русс. диал. *наволок* "мыс") против села *Орлово*. Важность этих данных становится очевидной при сражении с марийск. *кучкыж* "орел" и с учетом того, что на РС *-мень* < *-немь* "мыс" (ср. фин. *niemi* "мыс"), тогда как в марийском языке семема "мыс" обозначается словом *мыс*, заимствованным из русского языка, или описательным *сер нер* "береговой нос". Реконструируемая семантика мерянского названия ("Орлиный нос") позволяет предполагать, либо наличие в мерянском топониме географического термина, родственного фин. *niemi*, который с течением времени исчез в марийском языке, либо гетерогенный характер названия, т.е. мерянско-прибалтийско-финскую полукальку. Что касается очень частого для топонимии РС соответствия *о* – *у* в первом слого, то оно может объясняться как на финно-угорской, так и на русской почве. В данном

случае в марийском слове скорее всего отражено широкое распространение в марийском языке явление сужения гласного (*o > y*) [Грузов 1969: 126—130], т.е. мерянский язык сохранил в топонимии более древнее состояние (ср. фин. *kotka* "орел").

Таким образом, хотя явления переноса топонимов ВОМ в зону СУ были достаточно широко распространены, все же не приходится сомневаться в том, что верхний субстратный пласт топонимии СУ складывался именно в среде мерянских переселенцев из ИМЗ, хотя, как и во всех таких случаях, не без реминисценций и ассоциаций, связанных с родными — ростовскими и суздальскими — местами.

Это подтверждает и опыт этимологизации топонимии СУ. Учитывая приведенные свидетельства о близости мерянского языка к марийскому, предложим ряд других марийских этимологий для названий СУ, при этом для анализа привлекался уже весь корпус названий, включая топонимы с недифференцирующими формантами и основами. Ср.: *Вончес*, прибрежный луг — *вончак* "брод", *вончаш* "переходить", *Кильмов*, руч. — *кылме* "мерзлый", *Кодима*, р. (в нее впадает руч. *Избной*) — *кудо* "лачуга", "шалаш" (при мерян. *o* — марийск. *y*, ср. фин. *kota* "хижина", "шалаш"), *Куберенгарь*, руч. — *кўвар* "мост" < тюрк., ср. татар., башк. *кўпер*, чуваш. *кёпер* "мост" [Исанбаев 1994: 87], *Куваж*. руч. — *кў* "камень" (ср. *Кибож*, *Кибол* в ИМЗ и *Кубал* на территории СУ), *Кузоверы*, д. — *вер* "место" *кўсö* "летний праздник", *кўсото* "мольбище", *Кунангирь*, руч. и *Куненьгарь*, руч. — *кў*, род. ед. *кўн* "камень", *кўан* "каменистый", *Лапангерь*, руч. — *лап* "низина", "низкий", *Лева*, р. — *леве* "теплый", *Луюга*, р. — *луй* "куница", *Йогы* "поток" ("река"), *Норгасово*, поле (антропоним?) — *нöргö* "молодой", *Ошингерь*, руч. — *ош* "белый", *Пищаткурга*, руч. — *нич* "дремучий, глухой (лес)" при сравнении двух смежных гидронимов *Шаткурга* и *Пищаткурга* реконструируемая форма **Пичшаткурга*³, которая поддерживается широко распространенной семантической моделью "Глухая Шаткурга") или *ний* "собака" (с учетом названия урочищ *Собачий*), *Пугарское*, болото — *пўгыр* "горб", *пўгырика* "бугор" < тюрк. [Исанбаев 1994: 122], *Пыженгор*, руч. — *пўжаш* "гнездо", *Туриха*, д. и *Туровский*, руч. — *тура* "крутой", или *тўр* "край", "крайний", "окраина", *Ускоперть* (*Устьскоперть*), р. и изба — *пöрт* "дом", "изба", *Чучкаж* (< **Чучкваш*), р. — *чўчкыдö* "частый", "густой", *Юмыш*, р. — *юмо* "бог", "божий" и др.

Среди этих этимологий, несомненно, есть и ошибочные, но в сочетании со всем ранее сказанным довольно значительное для небольшой территории количество этимологий субстратных топонимов из марийского языка, а также весьма показательные факты фонетической эволюции типа мерян. (ИМЗ)**i* > мерян. (СУ)**й* = марийск. *й* свидетельствуют о том, что мерянские названия СУ принадлежат либо какому-то своеобразному древнемарийскому наречию, либо, и это вероятнее, языку, находящемуся в близком родстве с марийским. Однако возникает много вопросов.

Прежде всего названия целого ряда более или менее значительных рек СУ не находят достаточно убедительного объяснения на меряно-марийской почве. К их числу относятся гидронимы на *-V + ga*, *-V + n(b)ga*, *-V + ma*. Правда, некоторые названия на *-юга*, *-уга* типа *Луюга* (см. выше) могут рассматриваться как мерянские, но в то же время они входят и в обширный ареал гидронимов на *-юга*, *-уга*, далеко выходящий за пределы СУ. Следовательно, эти названия могут быть и более древними, усвоенными устьянскими мерянами и, возможно, переработанными народной этимологией, и собственно мерянскими, которые возникли в пределах микрорегиона СУ независимо от других наименований такого рода, распространенных за его пределами. Наконец, допустимо и то и другое. Таковы *Верюга*, *Волюга*, *Еньчуга*, *Мельчуга*,

³ Звук *щ* совершенно не характерен для субстратных топонимов СУ и сопредельных территорий. Следовательно, он мог возникнуть только в каких-то особых условиях из необычной группы согласных, в частности, *чи*.

Сенюга, Уфтыога и т.п. Еще больше оснований относить к древнему пласту такие названия СУ, как *Еденьга, Квазеньга, Кованга, Костанга, Печеньга, Тюхтюньга, Шобанга*, а также *Падома* и *Сондема*, хотя и для них иногда находятся марийские параллели (ср. *Тюхтюньга* и марийск. *тукто* "утка-нырок"). Все это заставляет думать о среднеустыянском ареале мерян как о своего рода суперстрате, частично перенесенном, а в значительной степени вновь созданном меряньскими переселенцами из Поволжья, речь которых наслонилась на язык (языки) древнейшего гидронимического субстрата на *-юга, -уга, -V + н(ь)га, -V + ма*. Но дело в том, что и ареал квалифицируемых на СУ как мерянских названий на *-важ, -веж* выходит за пределы СУ и охватывает намного более обширную зону в юго-восточной части РС. Таким образом, и среднеустыянские названия на *-важ, -веж* тоже хотя бы частично могут оказаться субстратными по отношению к мерянской топонимии СУ. Проблема ареалов *-юга, -уга* и *-важ, -веж* далеко выходит за пределы СУ и еще более осложняется тем, что вследствие начального консонантизма формантов (*j, *v) основы могут быть очень искажены. Проблема эта выходит и за рамки нашей статьи. Поэтому ограничимся соображением, что устьянские меряне могли подселиться к родственному им более древнему населению. Это хорошо объясняет, как возникла двухслойность названий на *-юга, -уга* и *-важ, -веж* в пределах СУ, но осложняет решение вопроса о том, совпадает ли зона расселения северных мерян с ареалом *-енгарь* на СУ или она была больше, причем значительно (ср. 5).

Другой вопрос возникает в связи с тем, что мерянские элементы характерны главным образом для гидронимии, но почти не представлены в микротопонимии. Вероятно, в отличие от русских, меряне были прежде всего охотниками и рыбаками и в первую очередь им нужно было называть водные объекты, по которым проходили основные маршруты. Не случайно и то, что мерянские поселения *Кубал(о), Обало* и *Сорбало* находились в стороне от Устья на ее притоках, тогда как русские деревни тяготели в основном к берегам Устья.

Топонимическая стратиграфия СУ еще больше усложняется засвидетельствованными в этом микрорегионе прибалтийско-финскими названиями. Их не очень много, но они достаточно показательны, ср. названия ручьев *Карный* (фин. *kaarne* "ворон", вепс. *karņiš* "ворона"), *Мурдов* (вепс. *turd* "сор, мусор"), *Мягрой* (карел. *mägrä*, вепс. *mägr* "барсук"), *Сулуй* (фин. *sula*, вепс. *sula* "талый") и некоторые другие. В финалях *-ой, -уй, -ый* явно скрывается приб.-фин. (фин., карел., вепс.) *oja* "ручей", "канавка". На возможность прибалтийско-финского происхождения некоторых названий СУ указывает и коллективное прозвище жителей ряда местных деревень (Акичкин Починок, Грунцовская, Щипцово и др.) *зырь* (ср. фин. *syriä* "край", "сторона"), которое первоначально прилагалось не к коми-зырянам, а к заволочским прибалтийским финнам (подробности см. [Матвеев 1984]).

Прибалтийско-финские элементы на СУ можно интерпретировать по-разному: как более поздний прибалтийско-финский суперстрат; как прибалтийско-финский адстрат к мерянскому; как предшествующий мерянскому прибалтийско-финский субстрат.

Изучение топонимии СУ позволит сделать и некоторые другие выводы.

Во-первых, "мерянская" теория Я. Калимы (см. 1) имеет самое непосредственное отношение к топонимии СУ. Здесь налицо факты переноса названий русскими и мерянскими переселенцами, причем меряне или были захвачены общим потоком русской миграции (ср. выше) или продвинулись на СУ самостоятельно. Явление переноса названий свидетельствует, что значение "мемориальных" наименований раньше было меньше, чем в наши дни.

Трудно сказать, когда происходил процесс заселения СУ русскими и мерянами, а также когда обрусело местное мерянское население (кое-что, возможно, выяснится при архивных разысканиях), однако некоторые факты как будто бы косвенно свиде-

тельствуют о том, что среднеустьянские меряне были еще язычниками (грива *Боги*, болото *Богово*). Особенно интересно, что на территории СУ обнаружено пять названий *Синий Камень*, которым соответствуют многочисленные топонимы *Синий Камень* на территории Ярославщины, обозначавшие некогда сакральные объекты. На территории СУ в настоящее время эта сакральность полностью утрачена. Замечательно, однако, что другого такого скопления названий *Синий Камень* по данным картотеки СТЭ, на РС нет. Эти данные, а также соображения общесторического характера позволяют предположить, что переселение мерян на СУ надо связывать с эпохой татаро-монгольского нашествия. Более позднее по сравнению с отраженным на территории ИМЗ состояние мерянской фонетической системы со своей стороны подтверждает высказанное предположение. Тюркизмы (ср. выше *Куберенгарь*, *Пугарьское*), отвергаемые для топонимии ИМЗ [Vasmer 1935: 516—517, 529], также указывают на принадлежность топонимии СУ к поздне-мерянскому состоянию.

Таким образом, в регионе СУ мерянский язык, возможно, в последней стадии своего развития, был ассимилирован русским языком позднее, чем на территории ИМЗ. Это и объясняет в значительной степени особенности местной формы мерянского языка, сближающие его с языком современных марийцев, ср. *ку-*, *-енгарь*, *-ер* (СУ) при *ки-*, *-иниурь*, *-ехр(а)/яхр-* (ИМЗ) и марийск. *кү*, *энер*, *ерлийәр*.

Во-вторых, в свете среднеустьянского материала становится ясным, почему близость мерянского языка к марийскому обнаруживается с большим трудом. Конечно, этому способствует определенная специфика самого мерянского языка [см. особенно Попов 1974]. Достаточно вспомнить о загадочном топоформанте *-бал*, *-бол* и почти столь же неясном *-курга*. Однако факты такого рода не должны гипнотизировать. Даже у близкородственных народов, живущих длительное время на смежных территориях, иногда обнаруживается много этнокультурных различий. В еще большей степени это относится к языку, как показывают, например, саамские и хантыйские диалекты, больше похожие на самостоятельные языки. Но и относительно небольшие различия, малозаметные на фоне всего языка, могут утравляться в весьма избирательном отражении топонимии, где несколько особых элементов способны сильно исказить общую картину. Между тем, мерянская топонимия СУ в большом количестве сохраняет старую лексику, которая в значительной степени и определяет специфику мерянского языка. Так, *мотк-* в *Моткангерь* соответствует фин. *matka*, саам. *тио'ке* "путь", "волок", а *ухт-* в *Ухтаж* и *Ухваж* < **Ухтваж*, а также в *Ухтангирь* (КК) — фин. *ohio*, морд. *овто* "медведь". В марийском языке эти понятия сейчас обозначаются другими словами. Компонент *-мано* в названии прибрежного урочища *Корокмано* можно сравнить с саам. *тапп*, *тап*, *тапа* "плес" (*корок-* с учетом соответствия *о* — у сопоставимо с марийск. *курък* "гора", т.е. *Корокмано* — "Плес у горы").

Кроме того, наряду с уже рассмотренными топоформантами *-бал(о)* и *-курга*, есть и другие факты мерянской топонимии СУ, которые пока не находят удовлетворительного объяснения в ныне существующих финно-угорских языках. Таковы многочисленные наименования *Едьма*, *Идьма* как на территории СУ, так и вне ее в смежных Вельском и Шенкурском районах Архангельской области (ср. выше о топоформантах *-юга*, *-уга* и *-важ*, *-веж*). Очевидно, это местный географический термин, обозначавший какой-то вид селения или урочища, но сохранившийся только в топонимии. Возможно, что он коррелятивен с распространенным в других районах РС очень многозначным географическим термином *едома* и мерянскими названиями населенных пунктов в ИМЗ на *-едом*, *-одом* типа *Тюхтедом(ово)*, *Шушкодом* [Попов 1974: 19—20]. Так или иначе, эти названия, не имеющие сколько-нибудь убедительно-финно-угорской этимологии, опять-таки указывают на специфичность мерянского словаря, которая, однако, совсем не исключает близости мерянского языка к марийскому.

Мерянское происхождение одного из пластов топонимии СУ и его связи с географическими названиями ИМЗ, с одной стороны, и марийским языком, с другой, достаточно очевидны, и это позволяет вернуться к версии, обоснованной М. Фасмером [Vasmer 1935], согласно которой мерянский язык был близок к марийскому. Поэтому напрасно отвергается связь этнонимов *меря* и *мари*, на которую уже неоднократно указывали, начиная с М.А. Кастрена (подробности и дискуссию см. [Vasmer 1935: 515; Décsy 1965: 148, 236]). Несмотря на определенные звуковые различия, эти этнонимы, при всех высказанных возражениях, придобывает отношение к числу родственных названий финно-угорских народов. Следует также указать на удачное сопоставление компонента *-мерь* в названии реки *Локсомерь* (близ Ростова) с этнонимом *меря* [Vasmer 1935: 557]. Название это бесспорно финно-угорское, что хорошо подтверждается и наименованием реки *Локсица* в басс. Нерли Клязьминской. Сравнение *-мерь* и *меря* подтверждается современным марийским материалом, ср. русские формы названий марийских населенных пунктов *Кукмарь*, *Лумарь*, *Мунамарь*, *Пижмарь* и соответствующие марийские *Кукмарий*, *Лумарий*, *Мунамарий*, *Пижмарий*, т.е. "Горные мари", "Лумские мари", "Мунанские мари", "Пижанские мари" [Куклин 1985]. Фасмер был несколько озадачен тем, что *Локсомерь* — название реки, однако в старинных документах это — местность, село в Ростовском крае, ср. в грамоте 1473 г.: "да в Ростове Покровское, да Савинское да Локъсомерь з деревнями" [ДДГ 1950: 243]. Таким образом, первоначально *Локсомерь* — "Локсинская меря", "Меря на Локсе" (ср. р. *Локсица* < **Локса*). Эта конструкция совершенно аналогична марийской. Возможно, сюда же надо отнести и такие названия населенных пунктов на территории ИМЗ, как *Маймеры*, *Унемерь*, *Ючмер* и некоторые другие. Правда, Фасмер считает название *Унемерь* славянским [Vasmer 1935: 513], но ввиду гидронима *Уница* близ Ростова оно может быть и мерянским.

У Фасмера было недостаточно фактов и среди них не все надежные. Не было в то время и появившихся значительно позднее монографических работ по истории марийского языка. Однако главная трудность, преодолеть которую так и не удалось Фасмеру, состояла в том, что закрепленный в топонимии ИМЗ мерянский язык конца I тыс. н.э., фактически отражавший еще более древнее состояние, при отсутствии древнемарийских письменных памятников приходилось сравнивать с современным марийским языком. А за это время марийский язык претерпел серьезные изменения как в фонетическом, так и в лексическом отношении: вытесняя исконную лексику, в него проникли тысячи тюркских, а затем и русских заимствований. Это видно хотя бы по географической терминологии современного марийского языка, в которой много тюркских и русских слов, ср. *сер* "берег", *ял* "деревня" < тюрк. *остров*, *пролив* < русск. и т.п., а также описательных выражений типа *куаки вер* "сухое место" (= "мель"), *сер нер* "береговой нос" (= "мыс"), *тура сер* "крутой берег" (= "обрыв") и т.п. Все это ограничивало возможность марийско-мерянских сопоставлений. Среднеустынский ареал крайне интересен именно потому, что показывает развитие мерянского языка в том же направлении, что и марийского и даже наличие в мерянском языке тюркских элементов (см. 3).

Отождествление дифференцируемых мерянских топоформантов *-бож*, *-ингирь*, *-ехр(яхр-)* > *-ер* с соответствующими фактами марийского языка существенно облегчает путь к пониманию специфики мерянского языка. Многое может дать и изучение мерянских топооснов, начатое в свое время Фасмером [Vasmer 1935]. Ср. примеры для территории ИМЗ: топооснова *волг-* (*Волгуша*) — марийск. *волгыдо* "светлый", *вонд-* (*Вондога*, *Вондух*) — *вондо* "куст", *ки* (*Кибож*, *Кибол*) — *кү* "камень", *кино-* (*Кинобал*) — *кыне* "конопля", *кож-* (*Кожовка*) — *кож* "ель", *корн-* (*Корнарь*, *Корнега*) — *корно* "дорога, путь", *корнеж-* (*Корнеж*) — *курньж* "ворон", "коршун", *кутко-* (*Куткобал*) — *кутко* "муравей", *лев* (*Левангирь*) — *леве* "теплый", *луй-*

(Луя) — луй "куница", мерг- (Мергас, Мергель, Мергуша) и мерг- (Нерга, Нергель) — нерге "барсук", ней- (Нея) — ний "лыко", нуш- (Нуштола) — нуж "крапива" или нужгол "щука", порн- (Порнега, Порныши) — пурня "кузов, пестерь", пуч- (Пучеж, Пучуга) — пучы "олень", руж- (Ружбал), руш- (Руша) — руш "русский", том- (Тома, Томушка) — тумо "дуб", чуч- (Чуча) — чүчү "дядя", шаки- (Шакиа) — шакие "отвратительный, скверный", шерн- (Шерна) — шертне "ива", шокш- (Шокша, Шокшовка) — шокшо "рукав (реки)", шим- (Шимпол) — шим "черный", шорд- (Шордик, Шордога) — шордо "лось", шудо- (Шудобал) — шудо "трава", "сено", шул- (Шула) — шульшо "талый", юки- (Юкиа) — йүкис, йүкиш "лебедь".

Колличество примеров можно умножить, тем не менее приходится признать, что выявление материала такого рода связано с немалыми трудностями: все-таки мы имеем дело с разными языками или далеко разошедшимися наречиями, поэтому многие факты не сводятся к марийскому языку или требуют комментирования, иногда обширного.

Показательно, например, различие между марийск. *njñčö* "сосна" и топоосновой *печ* с тем же значением в многочисленных топонимах ИМЗ, идентифицируемых достаточно надежно как мерянские (Печехра, Печкур, Печкура, Печхар) или во всяком случае как финно-угорские (Печегда, Печенга, Печехта, Печуга), вынуждающие предполагать (с учетом морд. *пиче*, коми *пожём*, фин. *petäjä* "сосна"), что современный марийский язык сохранил в данном случае более древнее состояние консонантизма, чем мерянский и другие финские языки (см. об этом [Лыткин, Гуляев 1970: 223]).

Иногда, казалось бы, убедительная этимология ждет подтверждения в виде дополнительных свидетельств, например, лингвогеографических. Так, гидроним *Акиа* в басс. р. Устье близ Ростова при отсечении русского *-ка* возводится к домарийск. **aš* "белый" (ср. морд. *ашо* "белый"), что находит подтверждение в названии болота *Белое* в устье этой реки. Но необходимы и другие факты сохранения древнего **a* на территории ИМЗ. Возможно, к ним относится *Ванчуга* — марийск. *вончак* "брод" [Vasmer 1935: 564] (ср. *Вончес* на СУ).

Есть и собственно лексические загадки. Так, многочисленные названия небольших речек *Шача*, неизвестные на РС, могут рассматриваться как топонимизированный географический термин со значением "исток", "источник", "родник". В связи с этим полезно вспомнить горно-марийск. *шачаш* "рождаться", "родиться" (но ср. также саам *šasse* "вода"). Если эти названия мерянские, они хорошо иллюстрируют наличие специфически мерянского лексического фонда.

Значительные трудности связаны также с существованием различных мерянских диалектов. О членении мери на племена не раз писали археологи [Горюнова 1961: 38, 248; Голубева и др. 1987: 70]. Была даже высказана мысль о мерянских языках [Попов 1974: 21—22]. Поэтому возможно, что топоформанты, которые в пределах ИМЗ имеют ограниченное распространение (*-бож*, *-ингирь*, *-кур*, *-курга*), восходят к разным мерянским диалектам. Но есть и другие указания на диалектную дробность мерянского языка, ср., напр., противопоставление речных названий на *-ега*, *-ога* в ярославских и костромских землях владимирским гидронимам на *-ех*, *-их*, *-ух*, *-юх*. Даже если конечное *x* русского происхождения [Поспелов 1967: 81], владимирские названия на *-V + x* отличаются от наименований на *-V + ga* консонантным исходом. Отсюда возможность диалектного варьирования в сущности одного и того же названия, обозначающего разные реки, ср. *Вондух*, но *Вондога* (марийск. *вондо* "куст"). В той же владимирской зоне названия озер *Юхор* и *Юхора*, очевидно, являются географическими терминами со значением "озеро" в самостоятельном топонимическом употреблении, свидетельствуя о сужении корневого гласного (ср. *Яхробол* в Ярославской области), которое уже было описано в топонимии ВОМ и гидронимах на *-V + x* [Никонов 1960] и очень характерно для марийского языка [Грузов 1969: 126—130]. Если к сказанному добавить оппозицию топоформантов *-кур* и *-курга* (см. 2), создается

впечатление, что владимирско-суздальские меряне в языковом отношении существенно отличались от ярославских и костромских.

Диалектной пестротой мерянского языка объясняется и сложность идентификации в качестве мерянских многочисленных на территории ИМЗ гидронимов на *-V + кса*, *-V + кша* типа *Верекса*, *Колошка*. Топоформанты *-V + кса*, *-V + кша* достаточно надежно интерпретируются на марийской почве. Их можно рассматривать как диалектные разновидности географического термина, сохранившегося до сих пор в марийском *икса* "маленькая речка", "залив", "пролив", русском диалектном слове *вёкса* (КК) "сток из озера" (отсюда многочисленные в КК реки с названием *Вёкса*, вытекающие из озер), коми *вис* (*виск-*), "проток из озера в реку", волго-окских гидронимах типа *Икша*, *Вькса*, а также в многочисленных на РС гидронимах *Икса* и названиях рек на *-V + кса*, *-V + кша* (подробности см. [Матвеев 1974]). Волго-окские названия на *-V + кса*, *-V + кша* вполне могут быть мерянскими, что допускал и М. Фасмер, сравнивая гидроним *Колокша* (притоки Волги и Клязьмы) с марийск. *кол* "рыба" [Vasmer 1935: 554, 567]. К "рыбным" названиям можно добавить и не менее примечательные "мясные", ср. многочисленные в ИМЗ гидронимы типа *Шелекша*, *Шелокша*, *Шилекша*, *Шилокша* и марийск. *шыл* "мясо" (семантическая модель известна в финно-угорской гидронимии, ср. коми-зыр. *Яйю* "Мясная река", коми-перм. *Яйва* "Мясная вода"), но они, однако, выходят за пределы ИМЗ на территории ВОМ и засвидетельствованы также на РС (*Шелекса*, *Шилекша*, *Шилокша*). Поскольку ареал гидронимов на *-V + кса*, *-V + кша* шире, чем зона ИМЗ, среди них могут быть не только мерянские, но и более древние названия.

Наконец, трудности для интерпретации создаются и теми компонентами мерянских названий, которые не имеют соответствий в марийском языке, но находят их в прибалтийско-финских словах, являющихся при этом балтийскими или германскими заимствованиями, ср. *лухто-* в *Лухтобажа* и фин. *luhta*, вепс. *luht* "заливной луг" (< балт.), *рандо-* в *Рандобож* и фин. *ranta*, вепс. *rand* "берег" (< герм.) [SKES 1955—1981: 306, 734]. Меря была самым западным волжско-финским народом, контактировала с голядью, а возможно и с готами, тем не менее наличие в словарном составе ее языка прямых или воспринятых через прибалтийско-финское посредство балтийских и германских заимствований потребует еще осмысления. Скорее всего, однако, следует видеть в этих словах прямые мерянские заимствования из языка вепсов, самой южной прибалтийско-финской народности, тем более что оба упомянутых выше гидронима относятся к западной периферии мерянского ареала. Здесь в топонимии явно прослеживаются элементы прибалтийско-финского (вепсского) типа, особенно на северо-западе ИМЗ в Пошехонье, где меря соседствовала с весью [Vasmer 1935: 580]. По археологическим данным вепсы принимали активное участие в освоении этих земель [Горюнова 1961: 183—185; Седов 1982: 188—192; Голубева и др. 1987: 69]. Ср. в Пошехонье и примыкающих к нему с юга мерянских территориях гидронимы *Мягра* (вепс. *mägr* "барсук"), *Сарка* (вепс. *sara* "разветвление"), *Корбушка* (вепс. *kořb* "глухой лес"). Иногда происхождение пошехонских названий проблематично, ср. гидроним *Маткома*, где легко опознается вепс. *matk* "путь", но суффикс *-V + ма* заставляет думать о саамских или мерянских истоках наименования. Прибалтийско-финский адстрат был выявлен и на территории КК [Востриков 1979: 70—72], а наличие таких топонимических рядов, как *Сарка* (Пошехонье) — *Белая Сара* (КК) — *Сара* (Ростов) позволяет предполагать, что вепсы проникали далеко вглубь мерянской территории. В связи с этим примечательны и названия с топоосновой *мст-* < **муст-* (вепс. *must* "черный") *Мстера* и *Мстижа* во владимирских землях. Можно допустить, что они мерянские, однако эта топооснова пока не выявлена в ярославской и костромской зонах. Нет ее и в названиях мерянского типа на РС. Поэтому приходится считать названия с основой *мст-* либо прибалтийско-финскими, либо специфическим достоянием владимирского диалекта мерян.

Вместе с тем следует заметить, что типичные прибалтийско-финские микрогидронимические и микротопонимические типы, напр., на *-ой*, *-уй* "ручей", *-лахта* "залив", *-немь* "мыс" и т.п. в ИМЗ не прослеживаются. Некоторые следы их обнаруживаются только в Пошехонье, где встречаются микрогидронимы с топоформантами *-ой*, *-уй* типа *Ангуи*. Не установлено и хронологическое соотношение прибалтийско-финских и мерянских названий. Но, судя по отсутствию микротопонимов, прибалтийско-финский пласт весьма древнего возраста.

5. МЕРЯНСКИЙ И СЕВЕРНОФИНСКИЕ ЯЗЫКИ

Выявление мерянского микрорегиона на СУ позволяет поставить вопрос о мерянских элементах в других микрорегионах РС и об отношении мерянского к так называемым северофинским языкам. Поскольку о северофинских языках нам уже приходилось писать [Матвеев 1969, 1995], напомним только, что так условно обозначаются языки предположительно выделенного древнего пласта топонимии РС, интерпретируемого как на прибалтийско-финско-саамской, так и на волжско-финской, прежде всего на марийской, почве. К этому пласту относятся в первую очередь гидронимы на *-V + н(ь)га*, *-V + ма*, *-V + ша*, однако формантный инвентарь северофинских названий, видимо, будет еще пополняться по мере идентификации топоформантов. Возможно, среди северофинских языков были промежуточные между прибалтийско-финско-саамскими и волжско-финскими, а также собственно волжско-финские языки типа мерянского или марийского в очень древнем состоянии.

Как уже указывалось, с уверенностью о мерянском можно говорить только применительно к среднеустьянскому ареалу. Правда, этнотопонимические данные, недавно обнаруженные в картотеке СТЭ Э.Ю. Поповой (*Мерьское болото*, *Мерьков ручей*⁴) указывают на пребывание мери и далее к востоку на широте среднеустьянского ареала, но уже за Сев. Двиной в Красноборском и Вилегодском районах Архангельской области. Однако пока здесь не выявлена типичная мерянская топонимия, например, названия на *-енгарь*. Это может объясняться диалектными различиями в мерянском языке, чисто топонимическими факторами, в частности, степенью сохранности названий, и, наконец, таким достаточно широко распространенным явлением, как перенос этнонима на другой народ.

Собственно топонимический материал РС дает иногда примеры полной тождественности основ мерянских топонимических типов (см. 2) с мерянскими топоосновами ИМЗ (см. 4), ср. *вонд-* (*Вондокурье*), *руш-* (*Рушеягр*), *чуч-* (*Чучебала*), *юкиш-* (*Юкишеболка* < **Юкишебола*) и др. Кроме того, топонимия РС пополняет инвентарь мерянских топонимов ИМЗ (ср. *Удорбала* и марийск. *ўдыр* "дочь", "девушка"). Есть и пример интересной метонимической кальки, ср. *Чучебала* (марийск. *чўчў* "дядя") и название смежной деревни *Сеталская* (фин. *setä* "дядя", *setälä* "дядино место") (подробнее см. [Матвеев 1995: 38]). Тем не менее пока мы не можем с уверенностью считать все эти северные наименования собственно мерянскими. Зато достаточно легко устанавливается общность севернорусских топонимов мерянского типа (см. 2) с северофинскими названиями, ср. *Андопал—Андома*, *Вондокурье—Вондонга*, *Ух(т)важ—Ухтома*, *Чучебала—Чучега* и т.п. Однако место "мерянского" элемента в северофинском не должно преувеличиваться: есть очень популярные на РС топоосновы, которые не встречаются в топонимии мерянского типа, ср. *куз-* (*Кузема*, *Кузеньга*) "ель" или *шард-* (*Шардома*, *Шарденьга*) "лесь".

Показательно также сопоставление северофинских гидронимов РС с гидронимией ИМЗ, свидетельствующие, что на территории ИМЗ есть типичная северофинская топонимия, причем в ряде случаев наблюдаются полные совпадения (*Андома*,

⁴ К типологии личного имени или прозвища **Мерько* (> *Мерьков*) ср. *Варяжко*, *Татаринко* [Селищев 1968: 114], *Русинко*, *Чудинко* [Тупиков 1903: 343, 431].

Печеньга, Урдома, Ухтама и др.). Есть и такие топоосновы, которые встречаются и в севернофинских названиях и в топонимах мерянского типа как на РС, так и в ИМЗ, ср. *Ухтама—Ух(т)важ* (РС) и *Ухтама—Ухтингирь* (ИМЗ), ср. также *Ягрома—Рушеягр* (РС) и *Яхрома—Яхробол* (ИМЗ). Вместе с тем некоторые важные топоосновы РС не представлены в ИМЗ и среди них, в частности, уже упомянутые *куз-* и *шард-*. Таким образом, мерянский топонимический материал лишь частично совпадает с севернофинским.

Рассматривая севернофинскую топонимию в целом, следует отметить (вопреки нашим прежним наблюдениям), что в ней обнаруживаются и элементы, дифференцируемые как мордовские. Это, конечно, еще больше усложняет интерпретацию. Так, топонимы на *-V + н(ь)га* содержат основы, которые могут идентифицироваться как прибалтийско-финские (*Корбанга* — карел. *korbi* "глухой лес"), саамские (*Явроньга* — саам. *jawre* "озеро"), марийские (*Шарденьга* — горномарийск. *шарды* "лось"), мордовские (*Покшеньга* — эрзя-морд. *покиш* "большой"). Но поскольку фактов много, есть надежда, что со временем севернофинский материал будет интерпретирован достаточно полно, так что может быть отпадает и необходимость в самом термине "севернофинский" или он будет применяться только по отношению к какой-то определенной части этих топонимов.

Таким образом, вопрос об отношении мерянского языка к севернофинским в настоящее время может быть только поставлен, хотя уже сейчас ясно, что у мерянских и севернофинских названий много общего. Надо, однако, иметь в виду, что севернофинская топонимия связана с заселением РС в глубокой древности, а мерянские названия СУ относятся к нашему тысячелетию.

6. ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Исследователи достаточно единодушны в том, что мерю и марийцев этнически следует различать, но это не означает, что следует считать опровергнутой старую гипотезу, что меряне говорили на одном из древнемарийских наречий (языков?), возможно наиболее специфическом. Во всяком случае из всех ныне существующих финских языков по дифференцирующим лексическим соответствиям ближе всего к мерянскому именно марийский, различия же во много объясняются древним состоянием мерянского языка и инновациями марийского.

До окончательных выводов материал еще недостаточен, однако перед мерянисткой довольно привлекательные перспективы, связанные прежде всего с изучением субстратной топонимии, при этом один из плодотворных путей — сравнение мерянских данных с севернофинским, засвидетельствованным на территориях РС и ИМЗ, что будет способствовать как прояснению самого севернофинского материала, так и углублению наших знаний о мерянском языке и его диалектах.

Близость к севернофинским названиям совсем не означает, что мерянский должен непременно рассматриваться как промежуточный язык между прибалтийско-финскими и волжско-финскими языками. Ясно другое: фонетически и лексически он был значительно ближе к древним финским наречиям, чем к соответствующим языкам нашего времени.

Не следует, однако, ни слишком "удревнять" мерю, ни преувеличивать ее роль в формировании великорусской народности. Это был вряд ли особенно многочисленный, но расселенный на огромной территории диалектно раздробленный этнос, быстрому обрусению которого способствовала как демографическая ситуация, так и местопребывание на стратегически важных для русского населения местах.

Хронологически и территориально меря сосуществовала с другими волжскими финнами, и по образу жизни существенно не отличалась от мордвы и марийцев, а также вымерших муромы и мещеры. Именно поэтому не приходится думать о том, что в зоне ИМЗ мерянская топонимия абсолютно преобладает или даже образует единственный дорусский пласт. Подобно современным марийским и мордовским топонимам,

мерянские названия являются поверхностным слоем, местами господствуя, местами почти исчезая. Это обусловлено неравномерностью мерянского расселения и русского освоения мерянских топонимов, а также наличием домерянских элементов как родственных с северно-финскими, так и вообще неидентифицированных.

Поэтому бытование того или иного топонимического типа на территории ИМЗ, как и какого-либо диалектного заимствования, само по себе совсем не означает, что данные языковые факты мерянского происхождения. Это только одна из возможностей, которая в каждом отдельном случае должна тщательно изучаться. В конце концов то, что топонимы с формантами *-бал*, *-бол* и *-курга* являются именно мерянскими, лучше всего доказывает не столько их связь с территорией ИМЗ, сколько небольшой среднеустьянский регион, где мерянские названия функционировали хронологически позднее, в известном смысле вторичны и представлены более комплексно и компактно, чем на территории ИМЗ.

Очевидно, что поиск мерянских реликтов в русской диалектной лексике при соответствующей источниковедческой и методической подготовке тоже может принести определенные результаты. Но в статье, основанной исключительно на топонимическом материале, было нецелесообразно рассматривать и эту многоаспектную проблему. Приведем только некоторые из реконструкций мерянской лексики, которые, вопреки мнению их автора, соответствуют опять-таки марийским данным, ср. "рыба": мерян **kol* (фин. *kala*, морд. — *кал*, марийск. *кол*), "язык": мерян **jelma* (саам. *njal' bme* — марийск. *йылме*), "вяз": мерян **šol'a* (фин. *salava* "ива ломкая", морд. *селей* — марийск. *шоло* "вяз"), "рябчик": мерян. **muza* (? фин. *metso* "глухарь" — марийск. *музо* "рябчик") и др. [Ткаченко 1985: 171—185].

Предстоит еще огромная работа по выявлению мерянского материала и его отделению от адстратных примесей и домерянского субстрата. Только тогда можно будет воссоздать более или менее приближенную к действительности лингвоэтническую карту ИМЗ и получить более определенное представление о мерянском языке.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Акты ...1975 — Акты русского государства 1505—1526 гг. М., 1975.
Андреева Ж.В. и др. 1987 — Эпоха бронзы лесной полосы СССР. М., 1987.
Брюсов А.А. 1952 — Очерки по истории племен Европейской части СССР в неолитическую эпоху. М., 1952.
Востриков О.В. 1979 — Финно-угорские лексические элементы в русских говорах Волго-Двинского междуречья. Дис. ... канд. филол. наук. Свердловск, 1979.
Голубева Л.А. и др. 1987 — Финно-угры и балты в эпоху средневековья. М., 1987.
Горюнова Е.И. 1961 — Этническая история Волго-Окского междуречья. МИА. № 94. М., 1961.
Грузов Л.П. 1969 — Историческая грамматика марийского языка. Введение и фонетика. Йошкар-Ола, 1969.
ДДГ 1950 — Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV—XVI вв. М.; Л., 1950.
Добродомов И.Г. 1980 — Проблема изучения мерянского субстрата в севернорусских говорах // Лексика и фразеология севернорусских говоров. Вологда, 1980.
Европеус Д. 1868 — К вопросу о народах, обитавших в средней и северной России до прибытия славян // ЖМНП. 1868. Т. 139.
Европеус Д.П. 1874 — Об угорском народе, обитавшем в средней и северной России, в Финляндии и в северной части Скандинавии до прибытия туда нынешних их жителей. СПб., 1874.
Исанбаев Н.И. 1994 — Марийско-тюркские языковые контакты. Ч. 2. Йошкар-Ола, 1994.
Куклин А.Н. 1985 — Названия физико-географических объектов Марийской АССР (с комментариями) // Вопросы марийской ономастики. Вып. 5. Йошкар-Ола, 1985.
Лыткин В.И., Гуляев Е.И. 1970 — Краткий этимологический словарь коми языка. М., 1970.
Матаев А.К. 1965 — Структурно-морфологические типы севернорусской субстратной топонимики // Питание ономастики. Київ, 1965.
Матаев А.К. 1969 — Происхождение основных пластов субстратной топонимики русского Севера // ВЯ. 1969. № 5.

- Матвеев А.К.* 1970 — Русская топонимика финно-угорского происхождения на территории севера Европейской части СССР. Дис. ... докт. филол. наук. М., 1970.
- Матвеев А.К.* 1974 — К этимологии коми-зыр. вис- (виск-) // *ALH.* Т. 24 (1—4). Budapest, 1974.
- Матвеев А.К.* 1978 — Топонимические этимологии. XI (Название озера Неро) // Советское финно-угроведение. 1978. № 1.
- Матвеев А.К.* 1984 — Еще об этимологии этнонима *зырянин* // Этимологические исследования. Свердловск, 1984.
- Матвеев А.К.* 1995 — Апеллятивные заимствования и стратификации субстратных топонимов // *ВЯ.* 1995. № 2.
- Никонов В.А.* 1960 — Неизвестные языки Поочья // *ВЯ.* 1960. № 5.
- Попов А.И.* 1965 — Географические названия (введение в топонимику). М.: Л., 1965.
- Попов А.И.* 1974 — Топонимика древних мерянских и муромских областей // Географическая среда и географические названия. Л., 1974.
- Поспелов Е.М.* 1967 — Картографирование как метод исследования субстратной топонимии // *ВЯ.* 1967. № 1.
- Поспелов Е.М.* 1970 — Метод географических терминов в анализе субстратной топонимии Севера // Местные географические термины. Вопросы географии. Сб. № 81. М., 1970.
- Седов В.В.* 1974 — Гидронимические пласты и археологические культуры центра // Топонимия Центральной России. Вопросы географии. Сб. № 94. М., 1974.
- Седов В.В.* 1982 — Восточные славяне в XI—XIII вв. М., 1982.
- Селищев А.М.* 1968 — Происхождение русских фамилий, личных имен и прозвищ // Избр. труды. М., 1968.
- Серебренников Б.А.* 1955 — Волго-окская топонимика на территории Европейской части СССР // *ВЯ.* 1955. № 6.
- Серебренников Б.А.* 1974 — Вероятностные обоснования в компаративистике. М., 1974.
- Титов А.А.* 1885 — Ростовский уезд Ярославской губернии. Историко-археологическое и статистическое описание. М., 1885.
- Ткаченко О.Б.* 1985 — Мерянский язык. Киев, 1985.
- Третьяков П.Н.* 1970 — У истоков древнерусской народности. МИА. № 179. Л., 1970.
- Тупиков Н.М.* 1903 — Словарь древнерусских личных собственных имен. СПб., 1903.
- Фосс М.Е.* 1952 — Древнейшая история Севера Европейской части СССР. МИА. № 29. М., 1952.
- Décsy Gy.* 1965 — Einführung in die finnisch-ugrische Sprachwissenschaft. Wiesbaden, 1965.
- Kalima J.* 1941 — Äänisen tienoon paikannimiä // *Virittäjä.* 1941. № 3—4.
- Kalima J.* 1942 — Karjalaiset ja merjäläiset // *Uusi Suomi.* 1942. Т. 19(VII).
- Nissilä V.* 1967 — Dorfnamen des alten lüdischen Gebietes. MSFOu. Т. 144. Helsinki, 1967.
- Pogodin A.* 1933 — Was ist Merja? // *Liber semisaecularis Societatis Fenno-Ugricae.* MSFOu. Т. 64. Helsinki, 1933.
- Ravila P.* 1937. — Das Merja-Problem im Lichte der Ortsnamenforschung // *FUF.* Bd. XXIV. № 1—3. Anzeiger. Helsinki, 1937.
- Ravila P.* 1938 — Merja und Tscheremissen // *FUF.* Bd. XXVI. № 1. Anzeiger. Helsinki, 1938.
- SKES* 1955—1981 — Suomen kielen etymologinen sanakirja. Т. I—VII. Helsinki, 1955—1981.
- Vasmer M.* 1935 — Beiträge zur historischen Völkerkunde Osteuropas. III. Merja und Tscheremissen // *SPAV.* Phil.-hist. Klasse. Bd. XIX. B., 1935.

© 1996 г. А.И. ДОМАШНЕВ

НЕМЕЦКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ НА НЕВЕ

(Из истории развития "островной" диалектологии)*

В германистике под языковым островом (Sprachinsel) понимается маргинальная область распространения языка, отделенная от основной области своего распространения политической границей и находящаяся в пределах территории иноязычного большинства. Австрийский германист П. Визингер по этому поводу писал: "Под языковыми островами понимаются точноно или ареально встречающиеся относительно небольшие замкнутые языковые поселенческие общности в иноязычных сравнительно больших областях" [Wiesinger 1983].

Известно, что языковой остров понимается не только с точки зрения языка, но и как "совокупное название для всех жизненных проявлений заключенной в языковом острове общности людей" [Hutterer 1982]. В этом смысле Г. Протце интерпретирует языковые острова в качестве отделенных от собственного "связного языкового сообщества" другими языками и культурами маргиналий, ведущих (в языковом и часто также в культурном отношении) "интересную самостоятельную жизнь", обнаруживающую чаще всего лишь незначительные связи как со своей метрополией, так и с государственным образованием своего окружения [Protze 1969].

Характерной чертой любого языкового острова является так называемое перекрытие (Überdachung) его языком окружающего языкового большинства в силу его преобладающей практической роли и социальной престижности в обществе, что со временем приводит к усилению влияния на данный языковой остров как языка, так и культуры его иноязычного и инонационального окружения. Высокий социальный статус языка окружающего "большинства" с неизбежностью приводит к тому, что носители островного диалекта овладевают языком окружения, тогда как связи со своим этническим литературным языком нередко ослабевают. Таким образом, в языковом отношении развитие идет от этно-национальной диглоссии (диалект/литературный язык) к различным вариантам билингвизма (диалект/литературный язык + иноязычный литературный язык, или: диалект + иноязычный литературный язык).

В отличие от так называемых старых или средневековых немецких языковых островов, возникших в юго-восточной части Средней Европы и в Юго-Восточной Европе в XII—XIV вв. в результате немецкой феодальной экспансии, немецкоязычные острова (немецкие поселения) в России складывались во второй половине XVIII в. в результате экономической иммиграции. Характерным языковым отличием этих типов островов друг от друга является тот факт, что средневековые острова формировались на чисто диалектной основе, тогда как население новых языковых островов, как правило, владело, помимо родного диалекта, и литературным немецким языком, который, независимо от возрастания социальной роли литературного языка окружения, долгие годы сохранял свой престиж и коммуникативные функции (язык общения, печати и т.д.). Так, говоря о жизни немецких поселенцев—меннонитов [как известно,

* Статья подготовлена к опубликованию в рамках исследовательского проекта, получившего на конкурсной основе поддержку Международного научного фонда (I.VIII. 1994 – I.VIII. 1995).

носителей нижненемецких диалектов на Украине — (колония Хортица и по р. Молочная)], В. Петерс отмечает, что, как и в Поволжье, здесь в каждой деревне имела своя школа, преподавание учебных предметов проводилось до конца XIX в. исключительно на немецком языке, а затем в качестве второго языка был введен и русский язык. Более крупные населенные пункты имели центральные отдельные гимназии для мальчиков и девочек. Была организована подготовка учителей начальных классов, появились коммерческие школы для подготовки торговых работников и специалистов по иностранным языкам. Наиболее способные учащиеся поступали, как пишет автор, в университеты Киева, Москвы и Петербурга, другие уезжали учиться в Германию или Швейцарию [Peters 1992].

История немецких переселенцев в старой России и на территории теперь уже бывшего Советского Союза охватывает период в более чем два столетия. Первая наиболее крупная волна этих переселений приходится на период царствования Екатерины II. Уже в период между 1764—1774 гг., т.е. в течение первых десяти лет с тех пор, как российское правительство обратилось к крестьянам и ремесленникам европейских государств с призывом переселиться в Россию для освоения земельных пространств в Поволжье, в Приднепровье и на Причерноморском побережье, в районе среднего течения Волги возникли первые 106 немецких деревень (около 8.000 семей, 27.000 человек). Эти крупные партии переселенцев прибыли в Россию морским путем через Любек и Росток в Санкт-Петербург, откуда большая часть из них была направлена в Поволжье, в районе Саратова. В это время были образованы и первые немецкие колонии в районе самой российской столицы ("Newa-Deutsche"), давшие импульс к расселению немцев в других регионах столичной губернии, а также в Воронежской и Черниговской губерниях, на Волыни и в Причерноморье.

Вторая волна немецких переселенцев приходится на начало XIX в., период царствования Александра I, и продолжалась местами еще во второй половине столетия. В 1809 г. в район Санкт-Петербурга прибыли партии переселенцев из немецких колоний в Польше, но основными районами расселения в этот период становятся Бессарабия, Таврия, Крым, Волынь, Кавказ, куда переселенцы попадали южным путем: через Ульм на Дунае, а далее — через Баварию и Австрию по Дунаю — в Галицию. Позднее, после присоединения Бессарабии к России, потоки переселенцев направились по Дунаю до Измаила, затем — через Бессарабию в Одессу, ставшую важнейшим пунктом сбора колонистов, направлявшихся оттуда в предназначенные для них края в южной части России в соответствии с царским рескриптом 1804 г.

Численность немцев в России возросла в течение первого столетия настолько, что в поисках новых земельных пространств они образовывали на соседних землях так называемые "выселки" (В.М. Жирмунский), или дочерние колонии, а также стали расселяться на востоке России, в связи с чем подобные отпочкования от "поселений-метрополий" (В.М. Жирмунский) перешагнули за европейскую часть территории российского государства.

Согласно различным источникам, в России накануне первой Мировой войны насчитывалось свыше 2 тысяч немецких деревень с общим числом населения около 1 млн. 600 тысяч человек, из них в Поволжье, в пределах относительно компактной территории, имелось около 200 деревень и поселений (554.828 жителей), в Причерноморье — около 1000 деревень (524.321 житель), на Волыни — 550 деревень (300.000 жителей), в окрестностях Петербурга и в других районах губернии — 34 деревни (100.000 жителей), в Закавказье — 20 деревень (15.000 жителей), на Урале, в Западной Сибири, Туркестане — 300 деревень (105.000 жителей) [Schirmunski 1928]. Немецкие колонисты в Поволжье, среди которых были распространены, главным образом, средне-немецкие говоры, составляли по своей численности наиболее крупную этническую группу (свыше 1/3 всех немцев в России) и образовали уже в послеоктябрьский период (в 1924 г.) свою автономную республику (АССР Немцев Поволжья) в составе Российской Федерации, сложившуюся на основе Трудовой Коммуны, т.е. Автономной области Немцев Поволжья, существовавшей с осени

1918 г. В связи с принудительным административным переселением этнических немцев из европейской части страны после нападения фашистской Германии на СССР в 1941 г. перестала существовать и Республика Немцев Поволжья, так и не восстановленная до сих пор, как не были восстановлены немецкие поселения на Украине, под Петербургом и в других районах европейской территории России.

С послевоенного времени основными районами расселения немцев в стране являлись Казахстан (здесь проживало около 50% всех немцев), РСФСР, Киргизия, Таджикистан. Данные переписи населения 1989 г., согласно которым в СССР проживало более 2 млн. немцев, должны быть заметно откорректированы, т.к. именно в этот период, в условиях неблагоприятной общественно-политической и социально-экономической ситуации и начинавшегося распада СССР, имевшая ранее место индивидуальная реэмиграция немцев в Германию приобрела практически массовый характер (в 1989 г. из СССР выехали примерно 100 тысяч этнических немцев, в 1990 г. — 120 тысяч, в 1991 г. — около 150 тысяч). Сохранение сложившейся тенденции может привести к дальнейшему разрушению имеющихся еще районов проживания разрозненных и относительно компактных групп этнических немцев, к окончательной утрате ими своей национально-этнической идентичности и родного языка, а в конечном счете — к прекращению многовековой исторической традиции проживания этнических немцев на территории бывшего СССР. Подобное развитие может иметь заметные негативные последствия для исторически сложившейся национально-этнической структуры многонационального государства, поскольку, как известно, в нашей стране группа этнических немцев по своей численности занимала 14-е место и превосходила такие коренные национально-этнические общности, как киргизы, чувши, башкиры, мордва и др.

К регионам, в которых, как подчеркивалось выше, была прервана традиция проживания этнических немцев, относится район вокруг бывшей российской столицы Санкт-Петербурга, где возникли поселения немцев, получившие название "невских" ("Newa-Deutsche").

Первые колонии на Неве возникли по распоряжению Екатерины II в период 1765—1766 гг.: Новая Саратовка, Средняя Рогатка и Колпино (Ижора). В этот же период в районе Ямбурга (ныне Кингисепп), близ Эстонии, появились три немецкие колонии — Луцк, Порхов и Франкфурт, население которых, в своем большинстве, в 1793 г. переехало на Украину, где они образовали колонию Ямбург на Днепре, ниже Днепропетровска (Екатеринослав), а прежние ямбургские колонии были заселены выходцами из материнских колоний ("поселений-метрополий", по В.М. Жирмунскому) близ Петербурга. Дочерняя колония этих новых ямбургских колонистов возникла в 1848 г. и на Украине, под Мариуполем, на Азовском море — поселок Ней-Ямбург.

В 1809 г., в период второй волны переселения немцев в Россию, колонии под Петербургом формировались за счет переселенцев из Польши. Они возникали, главным образом, в виде разрозненных поселков в несколько дворов на южном побережье Финского залива, в направлении на Ораниенбаум. Примерно в это же время сформировалась относительно крупная колония Извар, которая, правда, уже в 1811 г. распалась, а ее население распределилось между двумя новыми колониями — Стрельной и Кипенью. По мере роста населения этих новых колоний здесь в 30-е гг. XIX в. возникли небольшие дочерние колонии, или "выселки" (В.М. Жирмунский), состоявшие обычно из нескольких дворов. В других районах вокруг Петербурга возникли также отдельные "выселки" из старых колоний: Овцыно, Ново-Александровка, Гражданка. Всего таких поселений, включая и мелкие поселки, в регионе вокруг Петербурга насчитывалось 34, и они в той или иной форме сохранялись до 1941 года [Naiditsch 1994: 32].

Отдельным вопросом наличия немцев в демографической структуре этого региона является немецкоязычное население в самом Петербурге, которое формировалось не столько благодаря втягиванию немецких поселений в состав города или пополнению за

счет выходцев из ближайших немецких колоний, сколько благодаря прибытию в столицу немцев из Германии или из прибалтийских земель. Согласно данным переписи населения 1910 г., немцы в структуре населения Петербурга занимали 4-е место: русские — 1,568 тыс. (82,3%), белорусы — 70 тыс. (3,7%), поляки — 65 тыс. (3,4%), немцы — 47,4 тыс. (2,4%), за которыми с большим отрывом следуют эстонцы — 23,4 тыс. (1,2%), латыши — 18,5 тыс. (1%), финны — 18 тыс. (0,9%) [Юхнеева 1984]. Однако для целей нашего исследования этот национально-демографический факт не имеет самостоятельного значения и не учитывается, т.к. петербургские немцы не могли составлять замкнутой этнической колонии в собственном смысле этого слова и пользовались в процессе общения преимущественно русским языком. Во всяком случае, социальные и ситуативно-коммуникативные условия в крупном городе всегда отличаются от условий и форм языкового общения внутри более или менее однородной малой (сельской) общности людей, а потому и языковые регистры таких ареалов (город, село) всегда различаются.

Серьезное изучение языка немецких колонистов в России начинается во второй половине XIX в., прирочно через 80 лет после первой волны их переселения. В 1854 г. И.М. Фирмених опубликовал в Берлине в 3-м томе своей серии "Germaniens Völkerstimmen" собранные В. Бауманом тексты, характерные для диалектов немецких поселенцев, проживавших по берегам р. Молочная в Таврической губернии Южной России. В кратком вступлении к собранию текстов автор подчеркивал, что р. Молочная разделяла этот немецкоязычный район на две части: носители верхне-немецких диалектов проживали на правом берегу реки, а меннониты (носители нижне-немецких диалектов) располагались на левом берегу реки Молочная. При этом подчеркивалось, что правобережные колонисты, говорившие на верхне-немецких диалектах, были выходцами из различных регионов Германии: Бадена, Вюртемберга, Восточной и Западной Пруссии, Эльзаса, Мекленбурга и др., что определяло необходимость известного языкового выравнивания и смешения. Отмечалось также, что и среди меннонитов, проживавших на левом берегу реки, многие говорили на различных заметно отличающихся друг от друга нижне-немецких диалектах: фризско-фламандский, грёнинг-гольштейнский и др. [Berend, Jedig 1991].

В 1858 г. в саратовских губернских ведомостях (№ 18, с. 86—87, № 19, с. 94—95) Д. Мордовцев поместил материалы, посвященные задачам изучения истории немецких поселений на Волге, вопросам этнологии и языка. И хотя на это обращение откликнулись отдельные авторы статей по истории и этнологии немецких колоний, языковые отношения в них стали изучаться лишь через несколько десятилетий после этих призывов, в первые десятилетия XX в.

Из архивных материалов и различных справочных свидетельств известно, что профессор Марбургского университета Ф. Вреде, руководивший в то время работой над немецким атласом, обратился к германистам Саратовского университета с просьбой распространить среди колонистов анкеты со ставшими позднее знаменитыми в немецкой диалектологии 40 предложениями Венкера, которые надлежало заполнить в изложении средствами местного немецкого диалекта. Преподаватель Саратовского университета А. Лонзингер и учитель из с. Ягодная Поляна (в Поволжье) Й. Кромм разослали в 1913 г. анкеты с этими предложениями в школы немецких поселений на Волге, на Украине, на Кавказе, в Крыму и на Урале. Однако начавшаяся первая мировая война помешала реализации этого исследовательского начинания. В одной из своих публикаций Г. Дингес, ставший в 20-е годы первым крупнейшим германистом из числа российских немцев, в 1925 году вспоминал, что в период с 1913 по 1914 гг. на имя Лонзингера и Кромма поступили ответы из 87 немецких поселений [Дингес 1925]. Стало известно, что поступившие анкеты были отправлены ими в адрес Марбургского университета, а в архиве Дингеса — Дульзона в филиале Саратовского областного архива в г. Энгельсе сохранились копии этих материалов, переданных в 1922 г. Й. Кроммом Г. Дингесу, образовавшему к этому времени Саратовский центр по изучению немецких диалектов [Berend, Jedig: 22—23].

По существу первая научная публикация о немецких диалектах в России принадлежит перу профессора Грейфсвальдского университета В. фон Унверта. В период первой мировой войны в германских лагерях для военнопленных оказались российские пленные из числа этнических немцев-россиян. Они находились в специальном лагере в г. Хольтхаузен (Вестфалия). Унверт получил в период между мартом и июнем 1917 г. возможность заполнить там анкеты с упомянутыми 40 предложениями Венкера, что позволило ему собрать данные о различных немецких диалектах России, т.к. среди пленных российских немцев были выходцы из немецких колоний на Украине и, в особенности, из Поволжья. Собранный Унвертом языковой материал позволил ему разработать первую схему классификации немецких диалектов в России, а также провести их идентификацию, определить их историческое происхождение на географической карте Германии. Правда, эта попытка не была полностью успешной, т.к. за 100—150 лет своего бытования в России немецкие диалекты претерпели заметные изменения и стали иметь в определенной мере смешанный характер, в особенности, когда речь шла об этнических российских немцах, выходцах из так называемых дочерних колоний, представлявших собой, как правило, смешанные коллективы, собранные из выходцев различных (и по диалектам) материнских колоний. Результаты своих полевых исследований Унверт опубликовал в трудах Прусской академии наук в 1918 году [Unwerth 1919]. В это же время Кро и Митцка предприняли попытку сделать лингвистические записи в лагере для военнопленных в Ветцларе и под Марбургом, где находились пленные этнические немцы — носители нижнемецких диалектов. Эти материалы не были опубликованы, но в 1928 г. в Мюнхене вышла в свет книга Я. Квиринга, в которой при описании истории переселения меннонитов в Россию были использованы и упомянутые языковые материалы, свидетельствующие о характере фонетического и грамматического строя диалекта колонии Хортица на Юге России. В заключительной главе своей книги Квиринг исследует результаты лексического влияния на диалект со стороны славянских языков (русского, украинского, польского) и составляет тематические списки заимствованных слов [Quiring 1928].

В России широкое исследование немецких диалектов приходится на период после Октября 1917 г. В начале 20-х гг. в Саратове под руководством Г. Дингеса, в Ленинграде — под руководством В.М. Жирмунского и в Одессе, главным образом, благодаря деятельности А. Штрема, ученика и помощника В.М. Жирмунского, переехавшего по его совету на Украину, были созданы диалектологические группы, ставшие центрами по исследованию немецких диалектов в нашей стране. Особая заслуга в этом отношении принадлежит Г. Дингес, роль которого высоко ценил В.М. Жирмунский [Жирмунский 1929]. Их знакомство состоялось в Саратовском университете, где Г. Дингес стал преподавать с конца 1918 г. на кафедре романогерманской филологии, которой руководил в ту пору В.М. Жирмунский. Общий интерес к немецким диалектам Поволжья (В.М. Жирмунский в тот период проводил записи диалекта села Гуссенбах) сблизил их, и установившиеся дружеские отношения сохранялись и после возвращения В.М. Жирмунского в Петроград, где он к своим обширным научным интересам в области филологии прибавил занятия немецкими диалектами в нашей стране, начав с наблюдений над языком немецких поселенцев под Петроградом.

Приступив к описанию немецких диалектов Поволжья, Г. Дингес понимал, что их классификация может быть успешной, если привлечь для сравнения данные диалектов из мест их происхождения в Германии. В этих целях он в 1924 г. выехал на два месяца в научную командировку в Марбург, где он познакомился и лично с Ф. Вреде, который, как отмечалось, еще в довоенное время (1913 г.) присылал диалектологические анкеты ("предложения Венкера") в Саратов, где ныне работал Г. Дингес. В то время власти всячески поддерживали установление научных контактов с зарубежными научными центрами. В период 20-х — начала 30-х гг. Г. Дингес опубликовал целую серию работ на русском и немецком языках в СССР и в Германии, в центре внимания

которых были диалекты немцев Поволжья [Berend, Jedig: 28—71]. С самого начала в работе группы Дингеса принимал активное участие А. Дульзон (Andreas Dulson), который после ареста Дингеса в январе 1930 г. продолжил его работу и взял на себя ответственность за сохранение архива Г. Дингеса. В период 20-х — 30-х гг. Дульзон опубликовал большое количество научных статей, написал кандидатскую и докторскую диссертации, посвященные немецким диалектам Поволжья (последняя публикация относится к 1941 году), но после войны навсегда оставил свои занятия немецкой диалектологией и целиком посвятил себя изучению неизвестных еще науке языков малых народов Сибири (кетский язык), хотя и продолжал оказывать научную помощь своим ученикам, которые на его кафедре в Томске, где он оказался в период войны, в послевоенные годы возобновили исследования немецких диалектов, расположенных в Сибири и на Алтае. Большой вклад в изучение языка немцев Поволжья внес также Ф. Шиллер, который написал интересный труд о социологических процессах в развитии лексики немецких диалектов Поволжья, но был арестован в 1938 г., просидел в лагерях до 1947 г. и умер в 1955 г. от туберкулеза в Красноярской области.

Диалектологический центр в Ленинграде, созданный В.М. Жирмунским, начал свою исследовательскую работу с изучения немецких диалектов на Неве. Как об этом он писал позднее [Schirmunski 1929 : 7], для этих штудий он привлек своего ученика и помощника А. Штрема еще в 1921 г., который, будучи выходцем из балтийских немцев, увлекся этой работой настолько, что через 3 года представил целый труд, в котором описал строй немецких диалектов данного региона, взяв за основу диалекты трех материнских колоний под Ленинградом. С 1925 г. В.М. Жирмунский приступил к обследованию диалектов Южной Украины, Крыма, Закавказья, имея в виду, что Г. Дингес руководил подобной работой в Поволжье. В экспедициях на Украину в этот период (1927—1929 гг.) принимали участие, помимо упоминавшегося А. Штрема, Э. Иогансон, Т.В. Сокольская, Л.Р. Зиндер, В.П. Погорельская, а в 30-е гг. к исследованию немецких диалектов подключился Н.Н. Берников, написавший в 1939 г. кандидатскую диссертацию об изменениях в лексике диалектов немцев Поволжья, что перекликается с проблематикой работ под руководством Г. Дингеса в Саратове в 20-е гг., а также С.А. Миронов, изучавший диалекты немцев Закавказья, хотя сам В.М. Жирмунский в этот период по известным политическим причинам вынужден был прекратить свои занятия изучением языка немецких поселений в СССР, целиком перейдя к исследованию проблем общей диалектологии, теории языкознания и литературоведения.

Одесский диалектологический центр был создан в 1926 г. и работал в рамках немецкой секции по инициативе местной Комиссии по страноведению при Академии наук Украины. С самого начала В.М. Жирмунский установил тесный научный контакт с этой группой, которой рекомендовал пригласить для работы из Ленинграда своего ученика А. Штрема, получившего между тем достаточную научную подготовку. Переехав на Украину, А. Штрем уже в 1926 г. побывал в колониях на р. Молочная, где сделал необходимые языковые записи, а в 1927 г. в этих же целях он ездил в селения под Мариуполем, где проживали колонисты, приехавшие в свое время из поселений под Петербургом, язык которых он изучал в невских колониях. В 1928 г. он совершил вместе с В.М. Жирмунским поездку в немецкие поселения на Кавказе, язык которых в то время никем практически еще не изучался. Одновременно он также изучал язык немецких поселенцев в районе Запорожья.

Подготовленная А. Штремом к 1936 г. кандидатская диссертация о немецких диалектах Украины так и не была защищена, т.к. примерно в это время он был арестован и все подготовленные им материалы и собранные диалектологические записи с тех пор исчезли бесследно [Berend, Jedig, 1991 : 165—166].

В послевоенное время, с конца 50-х гг., постепенно стали возрождаться исследования немецких диалектов в их новых условиях бытования, когда все они практически оказались в азиатской части России, в Казастане и в республиках Средней Азии. Одним из первых центров стал Томский пединститут, где работал проф.

А. Дульзон. Именно он поручил своим аспирантам (А.И. Кузьмина, Г. Едиг, И.Я. Андреев) приступить к описанию немецких диалектов, сложившихся в XX в. в Западной Сибири и на Алтае. В частности, были исследованы диалекты 48 деревень под Славгородом (Алтай), поскольку здесь встречались как ниже-, так и средне-немецкие говоры. Однако основная исследовательская работа стала складываться лишь в 60-е гг. в Омске, где работал в этот период Г. Едиг. Именно с этого времени можно говорить о восстановлении у нас традиции изучения диалектов немцев нашей страны. Под его руководством были разработаны и успешно защищены 12 кандидатских диссертаций, в которых исследуются лексические, семантические, фонетические, морфологические и синтаксические черты современных немецких диалектов Сибири, Алтая, Казахстана и других регионов страны. В конце 80-х гг. эта проблема была восстановлена в рамках научных программ в Ленинградском отделении Института языкознания АН СССР (ныне — Институт лингвистических исследований РАН), где состоялась научная конференция, посвященная 100-летию со дня рождения В.М. Жирмунского, в рамках которой работала научная секция, посвященная исследованию немецких диалектов в нашей стране. Необходимость возрождения этого исследовательского направления в немецкой диалектологии стала особенно актуальной в настоящее время, т.к. после переезда Г. Едига на постоянное жительство в Германию, где он вскоре и умер, в 1991 г., распался и Омская диалектологическая школа. С этого времени, с конца 80-х — начала 90-х гг., "островная" немецкая диалектология в нашей стране возрождается вновь в Санкт-Петербурге на основе новой реальности, резко изменившей судьбу и ход развития всего нашего отечества.

Говоря об изучении диалектов немецких поселенцев на Неве, еще раз напомним, что эта работа была начата по инициативе В.М. Жирмунского в Петрограде его учеником А. Штремом, которого он пригласил с собой, когда в 1921 г. впервые отправился в немецкие поселения на Неве, расположенные у самой городской черты. Упоминание об этом он делает позднее, когда в 1926 г. выступает в Одессе с научным докладом [Berend, Jedig : 114]. Об этом он говорит в своем отчете о научно-исследовательской работе за 1924—1925 учебный год и в связи со своей поездкой в Германию, в котором, в частности, отмечает, что в этот период его ученик А. Штрем завершил описание немецких диалектов трех местных материнских колоний [Жирмунский, рукопись]. В течение целых трех лет после этого посещения А. Штрем работал над изучением всех немецких диалектов, распространенных в 31 деревне этого района. На первых порах предстояло исследовать вопрос о том, в какой степени различаются между собой эти диалекты, а далее следовало изложить средствами данного диалекта все сорок предложений Венкера. За этот период А. Штрем с помощью местных жителей-немцев осуществил перевод упомянутых предложений в диалектную "ипостась", собрал большое количество лексического материала и речевых оборотов, записал тексты и народные песни, известные в этих деревнях. На основе собранного фактического языкового материала ему удалось установить, что отдельные деревенские диалекты не содержали заметных отличий друг от друга, что позволило ему сконцентрировать свое внимание на анализе языка трех старейших материнских колоний ("поселений-метрополий" — В.М. Жирмунский) — Новая Саратовка (или 60-я колония), Средняя Рогатка (или 22-я колония) и Колпино/Ижора (28-я колония). За основу описания А. Штрем взял диалект Новой Саратовки, однако он учитывал отдельные отклонения от этого диалекта в других деревнях (Средняя Рогатка и Колпино). В 1926 г. этот труд А. Штрема был опубликован в немецком журнале "Teuthonista", в котором основное внимание было сосредоточено на звуковом и морфологическом составе немецких диалектов на Неве, однако во вступительной части работы нашел отражение и материал языкового изложения данных анкет Венкера [Ström 1926—1927]. В поле зрения А. Штрема попали и другие диалекты немцев ленинградской области, которые были удачно интерпретированы В.М. Жирмунским в его общей теоретической работе, посвященной переселенческой ("колониальной") диалектологии [Жирмунский 1929]. Так, исследуя диалект ямбургских

поселений, А. Штрем обнаружил семью, старшие представители которой сохранили верхнегессенский говор, утраченный большинством их односельчан, а господствовавший к тому времени в ябургских поселениях восточнофальцский говор совпадал по основным своим признакам со среднемецкими говорами других поселений данной области. Он, как подчеркивал В.М. Жирмунский, резко отличался от старого говора данной местности. Все эти неизбежные в процессе флуктуации немецких переселенцев выравнивания и смешения диалектов находят убедительные подтверждения на примере судьбы упомянутых ябургских говоров, история которых в России могла быть наглядно показана на протяжении более чем 160 лет их российского бытования. Так, большая часть жителей ябургского поселения, основанного при Екатерине II в 1765 г., недолговольная условиями жизни, в 1793 г. переселилась на Украину, основав там поселок Ямбург на Днепре (около Екатеринослава). На месте ушедших водворились выходцы из других поселений покинутого района, которые, в свою очередь, через 50 лет с небольшим, в 1849 г., на этот раз из-за недостатка земельных угодий, переселились вновь на Юг, под Мариуполь, что на Азовском море, основав там поселок Ней-Ямбург. А. Штрем побывал в 1927 г. в 27 новых ябургских колониях, что позволило ему собрать языковой материал, отражающий состояние этих трансплантированных в середине XIX в. из ябургских колоний под Петербургом диалектов. Таким образом, благодаря происходившему в разное время обособлению переселенцев от материнской колонии оказались засвидетельствованными три последовательные ступени развития ябургских говоров в изменяющихся условиях и традициях их бытования. Следует в заключение подчеркнуть, что в целом пионерские исследования А. Штрема оказались уникальным научным трудом. Опубликованная в известном германском филологическом журнале, эта работа стала практически единственным документальным свидетельством состояния диалектов невских немцев, поскольку аналогичными публикациями, относящимися к этому периоду, мы более не располагаем.

Однако вся эта чрезвычайно важная для целей немецкой диалектологии исследовательская работа, начатая в Ленинграде под руководством В.М. Жирмунского, в 30-е гг. была фактически прервана, поскольку стала рассматриваться властями как враждебная деятельность: в самом начале 1930 г. в Саратове был арестован Г. Дингес, который после двух лет, проведенных в стенах печально известной московской Бутырки, был сослан в сибирскую ссылку, где и умер в результате болезни в 1932 г. На протяжении 30-х гг. и в начале 40-х гг. В.М. Жирмунский неоднократно подвергался аресту в Ленинграде, в 1938 г. в Москве был арестован и сослан в лагерь на Колыму известный филолог Ф. Шиллер, а на Украине примерно в это же время был арестован и А. Штрем, о трагической судьбе которого почти ничего не известно. Фактически было разрушено целое направление в отечественной германистике, получившей с того времени широкое признание в мировой науке. И хотя отдельные германисты (А. Дульзон, С.А. Миронов) в 30-е гг. еще смогли подготовить свои кандидатские и докторские диссертации, а также опубликовать еще в 1941 г. последние статьи, посвященные описанию поселенческих немецких говоров в СССР, они уже выступали как отдельные авторы, а не как представители своих лингвистических школ. Что касается носителей немецких диалектов на Неве, ставших объектом научного интереса германистов, то в начале войны они были депортированы, как и все остальные немцы европейских регионов СССР, в отдаленные районы за Урал, в Сибирь, Казахстан и в республики Средней Азии.

Занимаясь проблемой невских немцев в настоящее время, Л.Э. Найдич смогла установить, что лишь некоторым из них в разное время различными путями удавалось возвратиться в эти места, однако, как правило, они не имели возможности поселиться в их прежних колониях и ныне проживают разрозненно в городе или его окрестностях. Представители старшего поколения еще обнаруживают знание родного диалекта, который они используют во внутрисемейном общении, другие же пользуются только русским языком [Naiditsch 1994]. Некоторые этнические немцы, проживающие в

Петербурге, могут не всегда достаточно умело и уверенно пользоваться литературным немецким языком, но совершенно не знают диалекта. Впрочем, часть таких немцев, очевидно, относилась и ранее к городским жителям и не имели отношения к диалектным поселениям вокруг города.

В самое последнее время, в особенности в связи с настойчивым желанием многих этнических немцев выехать из азиатских республик и Казахстана в европейскую часть России и на Украину (поскольку они неожиданно оказались отрезанными новыми политическими границами от Европы и от России, куда их далекие предки в свое время и переселялись), стал наблюдаться приток новых переселенцев и в различные районы ленинградской области, что вселяет некоторую надежду на постепенное возрождение немецких поселений не только на Волге, где это происходит еще также крайне медленно и не без различных организационных трудностей, но и на Неве, и, вопреки прогнозам, согласно которым в ближайшие годы число возвращенцев на историческую родину, в Германию, еще более возрастет [Rosenberg, Weydt 1992 : 217], не прервется историческая традиция бытования немцев в России, куда их далекие предки приехали в поисках лучшей доли. За столетия жизни в нашей стране немецкие поселенцы проявили себя хорошими земледельцами и ремесленниками, квалифицированными специалистами во всех областях жизни общества, внесли свой вклад в развитие России, ставшей для них, глядя на вещи исторически, второй родиной.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Дингес Г.* 1925 — К изучению говоров Поволжских немцев (Результаты, задачи, методы) // Уч. зап. Саратовского Гос. ун-та. Т. IV, вып. 3. Саратов, 1925.
- Жирмунский В.М.* 1929 — Проблемы колониальной диалектологии // Язык и литература. Т. III. Л., 1929.
- Жирмунский В.М.* архив — О диалектах немецких колоний в Советском Союзе. Доклад и заметки к нему, прочитанные в Берлине, Лейпциге и Марбурге во время командировки в Германию // Архив Академии Наук СССР. Ленинградское отделение. Ф. 1001, оп. 1, д. № 4, л. 71.
- Юхлева Н.В.* 1984 — Этнический состав и этносоциальная структура населения Петербурга. Л., 1984.
- Berend N., Jedig H.* 1991 — Deutsche Mundarten in der Sowjetunion. Geschichte der Forschung und Bibliographie. Marburg, 1991.
- Hutterer C.J.* 1982 — Sprachinselforschung als Prüfstand für dialektologische Arbeitsdisziplinen // Dialektologie. Ein Handbuch zur deutschen und allgemeinen Dialektforschung. Erster Halbband. B.; N.Y., 1982.
- Naiditsch L.* 1994 — Wortentlehnung — Gedeemischung — Kodewechsel. Sprachinterferenzen in den Mundarten der deutschen Kolonisten bei Petersburg-Leningrad // Sprachinselforschung. Eine Gedenkschrift für Hugo Jedig. Frankfurt-am-Main, 1994.
- Peters V.* 1992 — Chortitza und Molotschna. Mennonitensiedlungen in Russland // Jahrbuch für ostdeutsche Volkskunde. Bd 35. Marburg, 1992.
- Protze H.* 1969 — Die Bedeutung von Mundart, Umgangssprache und Hochsprache in deutschen Sprachinseln unter Berücksichtigung sprachlicher Interferenz // Wissenschaftliche Zeitschrift der Universität Rostock. Gesellschafts- und sprachwissenschaftliche Reihe, Hf. 6—7. 1969.
- Quiring J.* 1928 — Die Mundart von Chortitza in Südrussland. München, 1928.
- Rosenberg P., Weydt H.* 1992 — Sprache und Identität. Neues zur Sprachentwicklung der Deutschen in der Sowjetunion // Die Russlanddeutschen — Gestern und heute. Köln, 1992.
- Schirmunski V.* 1928 — Die deutschen Kolonien in der Ukraine. Geschichte, Mundarten, Volkslied, Volkskunde. Moskau, 1928.
- Schirmunski V.* 1929 — Volkskundliche Arbeit in den deutschen Kolonien der Ukraine // Вісник Одеської комісії краєзнавства при Української Академії наук. Ч. 4—5. Секція німецька. Вып. 1, Одесса, 1929.
- Ström A.* 1926—1927 — Deutsche Mundarten an der Nawa. I. Die Mundarten der drei ältesten Mutterkolonien im Nawa-Gebiete // Teuthonista. Jg. 3. Halle / Saale, 1926—1927.
- Unwerth W. von* 1918 — Proben deutschrussischer Mundarten aus den Wolgakolonien und dem Gouvernement Cherson // Abhandlungen der Preussischen Akademie der Wissenschaften. Jg. 1918, philosophisch-historische Klasse, N 11, B. 1918.
- Wiesinger P.* 1983 — Deutsche Dialektgebiete ausserhalb des deutschen Sprachgebiets: Mittel-Südost und Osteuropa (mit einem Anhang von Heinz Kloss) // Dialektologie. Ein Handbuch zur deutschen und allgemeinen Dialektforschung. Zweiter Halbband. B.; N.Y., 1983.

© 1996 г. Т.И. ВЕНДИНА

**ЛЕКСИЧЕСКИЙ АТЛАС РУССКИХ НАРОДНЫХ ГОВОРОВ
И ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ГНОСЕОЛОГИЯ**

Актуализация в последнее десятилетие идей В. Гумбольдта о "языке как деятельности народного духа" способствовала интенсивному развитию так называемой антропологической лингвистики, имеющей своей целью изучение языка в тесной связи с человеком, его сознанием, мышлением и культурой. Об интересе к антропологической лингвистике свидетельствует интенсивное развитие таких ее направлений, как этнолингвистика, лингвистическая культурология и лингвистическая гносеология. В рамках лингвогносеологии, изучающей когнитивную функцию языка, в последнее время активно разрабатывается проблема языковой и концептуальной картины мира.

В этой связи чрезвычайно отрадным фактом является работа над Лексическим атласом русских народных говоров (ЛАРНГ), задача которого – представить в пространственной проекции основные звенья лексико-семантической системы русских народных говоров. Построенный на принципиально иных началах, нежели ДАРЯ, ориентированный прежде всего на системный подход в изучении диалектной лексики, ЛАРНГ явится одним из важнейших источников лингвистической гносеологии и аксиологии.

Известно, что в существующей в каждом языке системе номинаций (как системе представлений человека об окружающей его действительности) отражены результаты его познавательной и классифицирующей деятельности. В лексических единицах языка содержится богатейшая информация о системе ценностей того или иного народа, раскрывающая особенности видения мира и являющаяся своеобразным ориентиром в его освоении. Поскольку любой язык стремится не только к объективации миропонимания народа, но и консервации его духовно-практической деятельности, карты ЛАРНГ дадут возможность проникнуть в механизм сложного процесса познания и интерпретации мира человеком. Материалы ЛАРНГ представляют особую ценность еще и потому, что именно лексический уровень языка более всего подвержен "давлению действительности", в связи с чем он ярче всего передает своеобразие семантического облика модели мира. Атлас, таким образом, позволит увидеть пространственную и реальную классификацию человеческого опыта.

Создание Программы ЛАРНГ [Программа 1994], а также публикация самостоятельной Программы по изучению русского диалектного словообразования [Диалектные различия русского языка 1991–1993] открывает широкие перспективы в изучении диалектной лексики в семасиологическом и ономасиологическом (в том числе и деривационном) аспектах. Обе программы объединяет методика системного анализа лексики, основанная на принципе выделения интегральных и дифференциальных сем, формирующих то или иное семантическое пространство (лексико-семантическую группу, тематическую группу, семантическое поле и т.д.). Это дает возможность учесть, с одной стороны, взаимосвязанные природные и социальные явления, характеризующие их интегральные признаки и процессы, а с другой – разнообразие дифференциальные признаки. Отказ от прежнего атомистического (в том числе диф-

ференциального) подхода к изучению диалектной лексики, ориентация на системность делает реальной возможность по-новому взглянуть на ономазиологическое и словообразовательное устройство отдельных участков лексической системы языка и проникнуть в тайны языковой картины мира русского народа. Материалы атласа позволяют полностью представить структуру диалектного различия, делая возможным изучение системных связей слов не только в рамках одной ЛСГ, но и одного ареала, причем без разграничения диалектного и так называемого общенародного (см., например [Кале, Факторович 1994]).

Как известно, в любом языке предметы и явления внешнего мира могут быть интерпретированы изнутри (через внутреннюю форму слова, в которой как бы просвечивает семантическая мотивированность) и извне (через определение, синтаксическую сочетаемость, дефиниции и ассоциации). При этом "сознание не просто дублирует с помощью знаковых средств отражаемую реальность, а выделяет в ней значимые для субъекта признаки и свойства, конструирует их в идеальные обобщенные модели действительности" [Петренко 1988: 12]. В этом смысле чрезвычайно важную роль играет словообразование, которое дает возможность эксплицировать свойства и качества денотатов, их связи и отношения, функциональную нагрузку, а главное – их значимость для носителей языка. Именно словообразование позволяет выявить способы оценки внеязыковой действительности, рассмотреть ее сквозь призму шкалы соответствий определенной системе ценностей, определить, какие ее элементы словообразовательно маркируются и почему, и тем самым выяснить, что в языковом сознании того или иного народа является жизненно и социально важным. Не случайно при реконструкции праславянского лексического фонда или системы славянских ценностей в качестве одного из главных диагностических средств используются словообразовательные (см. [Топоров 1993; Трубачев 1985; Журавлев 1995] и др.).

Представления человека об окружающем его мире, и в частности о природе, формируют глубинную основу его системы ценностей. Отношение русского народа к "вещающей и кормящей" природе отразилось в чрезвычайно богатом и детализированном словаре, характеризующемся плюрализмом в наименовании одних и тех же реалий, различающихся способами семантического и словообразовательного маркирования. Попытаемся проиллюстрировать это на материале первого раздела Программы ЛАРНГ "Природа".

Знакомство с тематическим разделом "Природа" показало, что в этой чрезвычайно раздробленной семантической сфере существует своя "шкала ценностей", которая, однако, поддается реконструкции только при системном подходе к материалу.

Об аксиологических принципах организации этой семантической сферы говорит прежде всего словообразование, в частности тот факт, что одни ее номинативные участки оказываются закрытыми для актов словообразования, тогда как другие, наоборот, широко открытыми. Так, например, практически закрыты для словообразования названия животных (особенно домашних), рыб, деревьев (особенно плодовых), овощей, названия водоемов (рек, озер, прудов), небесных светил и т.д.

Системный подход к изучению диалектной лексики позволил выявить следующую особенность в ее организации: ключевые слова каждого номинативного участка семантической сферы "Природа" (например, *небо*, *звезда*, *солнце*, *земля*, *гора*, *река*, *вода*, *лес*, *дерево* и др.) являются, как правило, неприводными с синхронной точки зрения, что объясняется не только древностью этих слов, но и их функцией в лексической системе языка как слов идентифицирующих, призванных служить адекватному восприятию, являющихся системообразующим звеном этого фрагмента лексикона. Словообразовательная неприводность их нередко компенсируется лексической многозначностью (ср., например, значения слова *гора*, среди которых 'берег или часть берега', 'правый берег или возвышенный берег', 'суша или ее часть', 'кладбище' и др. или значения слова *лес*: 'отдельное дерево', 'дубовое дерево', 'ствол', 'ветка', 'верхушка дерева' и т.д.). В то же время за каждым из них лежит

широкое поле творческой фантазии народа, создающего свою картину мира. Так, например, в наименовании неба или небесных тел как классифицирующих названий словообразовательные средства практически не используются (ср. единичные *небесье* 'небесный свод', *зорька* 'звезда'). Ситуация, однако, меняется, когда подключаются характеризующие и прагматические моменты, имеющие значение в жизни человека. Использование словообразовательных средств наблюдается, в частности, тогда, когда необходимо обозначить не просто небо, а пасмурное небо, облачность (ср.: *наволока, наволочь, поволочь*), не просто луну, а ее фазы (ср., *молодик, намолодик, новик, новец, подновок, нарожденец* 'молодой месяц', *ветошь, наукидень* 'луна на ущербе'), не просто звезду, а ее определенный вид (ср.: *Косари* 'созвездие Млечного Пути', *Волосожары* 'созвездие Большой Медведицы', *Грудки* 'Стожары') или время появления на небе (ср.: *вечерница* 'вечерняя звезда', *зарянка* 'утренняя звезда'), а также количество (как правило, нерасчлененное: *звездач, звездун, звездье*) и т.д.

Другой пример – из области растительного мира. Семантический участок "Лес" широко открыт для актов словообразования, хотя само название леса как совокупности произрастающих в нем деревьев является непроемким (единичные образования типа *лесняк, лесье, дубрава* выполняют лишь идентифицирующую функцию). Благодаря использованию словообразовательных средств это семантическое пространство обладает высокой степенью расчлененности. С помощью словообразовательных аффиксов актуализируются, в частности, такие признаки, как: в е л и ч и н а л е с а (ср.: *лесик, улесок, боровинка, малолесье* // *лесина, лесище*) его г у с т о т а (ср.: *густарник, густель, глушник, глухота, матерняк, труппобник, частыня* // *жидняк, редень, поредье, редколесье*), в о з р а с т (особенно при обозначении молодого леса, ср.: *молодник, молодежник, маляг, мелкач, поросняк, росляк*, в том числе молодого леса по произрастающим в нем породам деревьев, ср.: *березнюшек, дубня, ельняжек* и др. // *старник, матерняк*), м е с т о п о л о ж е н и е (ср.: *боровик, гривняк* 'лес, растущий на высоком месте' *бор, грива* 'возвышенное место'), *болотняк, моховик* 'лес, растущий на низком, болотистом месте' или *бережина, бережняг, прибрежник* 'лес, растущий по берегу реки'), преобладающие п о р о д ы деревьев (ср.: *листвак, листвяник* 'лиственный лес', *борина, борняк, игольник, хвойник, хвойняк* 'хвойный лес', в том числе и видовых названий деревьев, ср.: *березовник, елань, дубник, ольшняк, боровица, сосенник* и т.д.), при этом актуализируется не только видовой признак, но и оценочный, указывающий на к а ч е с т в о растущих в лесу деревьев (ср.: *гнилужина, дровняк* 'лес с больной древесиной', *жарник, сахарник, сушник, суховершник, подстой* 'высыхающий на корню лес', *гарник, горелец, выгарь, паленина* 'горелый лес', *вываль, выломок, ветробой, ветровал, лежаток, буреломник* 'поваленный бурей, ветром лес'), причем словообразовательные средства используются прежде всего для маркирования отрицательного признака, о чем свидетельствует не только количество и состав производных, но и отсутствие таковых при обозначении положительного признака (ср.: единичное *зеленик* 'зеленый лес, в отличие от горелого'), факт, который во многом объясняется прагматической направленностью словообразования: маркируются, как правило, названия деревьев, которые не могут быть использованы в хозяйстве; эту аксиологическую ориентированность словообразования подтверждает и актуализация ф у н к ц и о н а л ь н о г о признака в названиях леса (ср.: *бревенник, бревняк, избняк* 'лес, идущий на строительство дома', *мостовильник, мостовняг, мостовинник* 'лес, употребляемый на настил мостов' и т.д.).

Небезынтересно в связи с этим отметить, что большинство названий деревьев, составляющих принадлежность русского леса, являются непроемкими с синхронной точки зрения (ср.: *береза, ель, дуб, сосна, вяз, осина, ива* и др.). Встречающиеся в

диалектах производные от этих наименований с тем же значением (типа *березина, вербава, вязина, цвка, ольховина, елица* и др.) являются, по сути дела, субстанциальными образованиями, имеющими лишь идентифицирующее значение и нулевую мотивационную маркированность, поскольку так же, как и их мотивирующие, они "скрывают" свою внутреннюю форму. Появление их в языке во многом объясняется давлением языковой системы, а именно существующей в диалектах тенденций к мотивированности слова (по этой модели – непроизводная основа родового названия дерева + аффиксальный расширитель – образуются производные, семантически тождественные их мотивирующим). Ситуация, однако, меняется, когда необходимо обозначить вид того или иного дерева, указать на его возраст, место произрастания, функциональное назначение и другие признаки, имеющие то или иное значение для человека (ср.: *глушина, глушница* 'береза бородавчатая', *борина, боринка* 'сосна, растущая в бору', *елшина* 'молодая ель', *дубец* 'молодой дуб', *мочальник* 'мелколистная липа, кора которой идет на изготовление мочал' и т.д.).

Системный подход к изучению диалектной лексики, возможность рассмотреть ее в рамках отдельных микросистем (каждый том ЛАРНГ будет посвящен определенной тематической группе) позволит эксплицировать и различия в принципах номинации семантических групп, принадлежащих одному семантическому полю. Если сравнить, например, мотивационные признаки, лежащие в основе названий деревьев и трав, то наряду с определенным сходством [ср. общий для обеих групп локативный признак (место произрастания растения) или функциональный (характер его использования)] обнаруживаются и существенные различия: в названиях трав, в частности, в отличие от названий деревьев, актуализируется такой признак, как в р е м я появления или цветения травы, а также издаваемого ею запаха: *веснянка, майник, вечерница*; ф о р м а ее листьев или цветка: *звездчатка, лапотник, лепешник*; з а п а х: *вонек, пахучка*; в к у с: *горечавка, кислика, медовка*; способ р а с п р о с т р а н е н и я травы или семян: *повилика, катунь, летун*; д е й с т в и е, оказываемое травой: *резика, жальница, свербига, прицепник*; п о д о б и е (этот признак является особенно интересным в названиях трав, поскольку он лучше всего позволяет увидеть, образность, поэтичность восприятия природы): *сосенка* 'хвоц', *огонек* 'одуванчик' *волчек* 'репейник', *березка* 'повилика', причем в названиях растений нередко отражаются не столько их реальные свойства и качества, сколько ирреальные, которые им приписывает человек (например, *курослепник, зверьбой, коновальник* и др.).

Другой пример из семантической сферы "Животный мир". Если сравнить набор мотивационных признаков, актуализируемых в акте словообразования в названиях диких и домашних животных, то среди них можно выделить принципиально различные, говорящие о разных подходах к наименованию этих животных. В названиях д о м а ш н и х животных актуализируются прежде всего такие признаки, которые имеют хозяйственно важное значение, например, дойность коровы: *доена, дойка, доилица, молочница* 'дойная корова', *ведерница, ведраница* 'корова, дающая много молока'; сила, выносливость лошади: *доброха, доброход* 'сильная, быстроходная лошадь'; функциональное назначение животного: *заячница, медвежатница, овчарук, волкогон, гончарка* 'в названиях крестьянских собак'; нередким является и оценочный, причем в основном отрицательный признак: *изморыш, недокормок, тощак, падеренок* 'тощее, заморенное животное' или *кожевина, одирок, падерятина* 'худая, заморенная лошадь'. В названиях же диких животных актуализируются признаки, указывающие на место обитания (*лесник, боровик* 'медведь', *дуплянка* 'белка', *степняк* 'заяц-русак'), способ существования животного (*бродень* 'медведь, который не спит в берлоге'), особенности его шкуры, в том числе ее окраса (*мохнашка* 'соболь', *русак, серяк, нестряк* 'заяц-русак'), в названиях же домашних животных этот признак

реализуется лишь в их кличках (*Гнедко, Буланчик, Сивка, Белка*), особенности какой-либо части тела (*ушан, ушкан 'заяц', хвостуха 'лиса'*), вид потребляемой пищи (*овсяник, стервятник, муравейник 'в названиях медведя', конятник, кобылятник 'медведь, нападающий на лошадей'*), а иногда и запах животного (*бэдюх 'хорь'*), т.е. совершенно очевидно, что обе группы имен при всем их несомненном сходстве представляют собой разноаспектные номинации.

Еще ярче эта разнонаправленность мотивационных признаков, актуализирующих в акте словообразования, проявляется в названиях животных и растений. Специфика форм существования животных повлияла, в частности, на объективацию таких признаков, как характер издаваемых звуков, особенности поведения, способ добывания пищи и ее вид, способ обитания и т.д., которых нет в названиях растений.

Системный подход к изучению диалектной лексики, заложенный в Программу ЛАРНГ, позволит выявить репертуар мотивационных признаков, характерных для разных номинативных участков той или иной семантической сферы. Каждая из групп будет, несомненно, иметь свой набор мотивационных признаков, реализуемых в акте словообразования: например, в семантическом пространстве "Небо и небесные тела" чаще всего будет, по-видимому, актуализироваться э к з и с т е н ц и а л ь н ы й признак (при обозначении состояний неба – пасмурного, облачного или безоблачного), т е м п о р а л ь н ы й (при образовании названий, указывающих на фазы луны или время появления звезд) и к в а н т и т а т и в н ы й (при обозначении совокупного множества звезд); в номинативном участке "Погода", "Атмосферные и климатические явления" – р е л я ц и о н н ы й признак (с оценочной оппозицией положительный/отрицательный, хороший/плохой, в которой актуализируется в основном второй член оппозиции), т е м п о р а л ь н ы й (с актуализацией семы длительности, продолжительности дождя), а к ц и о н а л ь н ы й (в названиях ветра или дождя), л о к а т и в н ы й (в названиях метели и ветра) и др.

Выявление репертуара мотивационных признаков и словообразовательных средств в каждой семантической сфере (а число их, как представляется, не является бесконечным) создаст основу для изучения типологии диалектной номинации. Материал, собранный для первых томов ЛАРНГ, делает возможной попытку уже сейчас представить набор характеризующих признаков семантической сферы "Природа", являющихся, по сути дела, гносеологическими параметрами концептуальной модели семантических отношений в этой сфере. Среди них:

1. К а ч е с т в е н н ы й признак, указывающий на физические свойства предметов или явлений внешнего мира, а именно:

– характерные особенности окраски листьев деревьев (*белолистка 'тополь'*), травы (*чернобыльник 'попынь'*), цветка (*желтушка 'одуванчик'*), ягоды (*черника*), шляпки гриба (*рыжик*), шкуры животного (*озневка 'лиса'*), оперения птицы (*лазоревка 'синица'*), чешуи рыбы (*серебрянка 'горбуша'*) и т.д.;

– особенности формы цветка, травы (*звездчатка, зубчатка*), гриба (*зубатка 'волнушка'*), рыбы (*облуха 'плотва'*), поляны (*долгуша*), острова (*круговина*) и т.д.;

– особенности структуры почвы (*иловина 'илистая почва'*), дна реки (*каменка*), плода ягоды (*костяника*), травы (*молоканка 'одуванчик'*) и т.д.;

– запах травы (*пахучка 'вереск'*), гриба (*вонючка 'мелкий летний гриб'*), животного (*бэдюх 'хорь'*) и т.д.;

– характерные особенности строения животного (*ушкан 'заяц'*), птицы (*хохлатка*), рыбы (*носарь 'ерш'*), насекомого (*рогач 'жук'*) и т.д.;

– звуки, издаваемые птицей (*кукуля*), насекомым (*журжалка 'муха'*), земноводным (*квакушка*), рыбой (*пискун*), грибом или травой при их разрыве (*скрипун 'хвоц'*, *скрипшица 'подгрудок'*) и т.д.;

- – вид потребляемой животным пищи (*овсяник* ‘медведь’), птицей (*жабник* ‘журавль’), насекомым (*мухан-паук*), рыбой (*мошкарь* ‘сиг’) и т.д.;
- – температура ветра (*тепляк* ‘теплый южный ветер’, *холодик* ‘холодный северный ветер’) и т.д.;
- особенности поверхности горы (*леснина* ‘лесистая гора’), болота (*моховник* ‘болото, поросшее мхом’), оврага (*заростель* ‘заросший овраг’), шляпки гриба (*слизун*, *масляй* ‘масленок’) и т.д.
- 2. Л о к а т и в н ы е признаки, актуализирующие сему ‘место’ и ‘направление’:
 - место обитания животного (*дулянка* ‘белка’), птицы (*береговушка* ‘ласточка’), рыбы (*подкаменик* ‘бычок’), насекомого (*навозник* ‘жук’), земноводного (*земляник* ‘червь’) и т.д.;
 - место произрастания дерева (*лесника* ‘лесная яблоня’), травы (*придорожник* ‘подорожник’), ягоды (*поземка* ‘земляника’), гриба (*опеньши*) и т.д.;
 - местоположение оврага (*припрок* ‘овраг, соседствующий с другим оврагом’), болота (*озерина* ‘болото на месте высохшего озера’), поляны (*облесье*, *улесье*, *закраек*) и т.д.;
 - направление и характер ветра (*низовец* ‘ветер с низовьев реки’, *поземница* ‘низовая метель’), течения реки (*перебой* ‘встречное течение’), дороги (*круговеня* ‘дорога в объезд’) и т.д.
- 3. Э к з и с т е н ц и а л ь н ы й признак, указывающий на:
 - состояние погоды (*помрачь*, *нахмура*, *наносица* ‘плохая погода’), неба (*наволочь* ‘облачное небо’), реки (*розливень* ‘разлив реки’), ключа (*живец* ‘незамерзающий ключ’), дороги (*катень*, *наездок*, *затоп* ‘хорошая торная дорога’) и т.д.;
 - способ обитания животного (*бродень* ‘медведь’), птицы (*дремлюга* ‘сова’), рыбы (*лежень* ‘налим’) и т.д.;
 - способ передвижения в пространстве насекомых (*порхунок* ‘мотылек’), земноводных (*выползень* ‘червяк’), а также распространения в пространстве, в основном в названиях травы (*катунь*, *летун*, *обвойник*) и т.д.;
 - способ добывания пищи представителями фауны (*дерун* ‘медведь’, *долбун* ‘дятел’, *мухолов* ‘сиг’) и т.д.;
 - особенности поведения представителей фауны (*выторопень* ‘заяц’, *вертунок* ‘кулик’, *щипарь* ‘окунь’, *боясница* ‘ящерица’, *трусуик* ‘кролик’, *лягуша* ‘лягливая лошадь’, *бодуля* ‘бодливое животное’) и т.д.;
 - способ использования трав (*примочник*, *растиральник* ‘в названиях трав’), грибов (*отваруха*, *моченик* ‘в названиях грибов’) и т.д.
- 4. Т е м п о р а л ь н ы й признак, указывающий на:
 - время появления звезды на небе (*вечерница*), снега (*зазимок* ‘первый снег’), травы или цветка (*майноцветка*), птицы (*зимородок*), детеныша животного (*летник*, *колосовик* ‘детеныш, родившийся летом’) и т.д.;
 - время посева растений промышленного значения (*озимка*, *ярица*, *веснянка* ‘озимая и яровая пшеница’);
 - время (и срок) созревания сельскохозяйственных культур (*скороспелка*, *сорокодневка* ‘в названиях картофеля’);
 - время метания рыбой икры (*вербович* ‘лещ, который мечет икру во время цветения вербы’);
 - время лова рыбы (*летовичок* ‘сиг’, *вешняк* ‘снеток’);
 - время стрижки шерсти овец (*весника*, *вешнига* ‘овечья шерсть весенней стрижки’);
 - возраст леса (*старник*, *молодник* ‘в названиях леса’), дерева (*дубчик*, *дубечек* ‘молодой дуб’), русла реки (*старица* ‘старое русло реки’), домашних животных и птиц

(матуха 'взрослая свинья', *молодаяжка*, *подростыш* 'молодое животное', *молодуха*, *молодка* 'молодая, не несшая яиц курица') и т.д.;

– фазы луны (*новец*, *нарожденец* 'молодой месяц').

5. К в а н т и т а т и в н ы й признак, актуализирующий сему 'мера':

– величина водоема (*уречище* 'небольшая река'), горы (*горовина* 'небольшая гора'), оврага (*крутойяр* 'глубокий овраг'), возвышенности (*угорье* 'небольшая возвышенность'), болота (*болотовина* 'небольшое болото'), леса (*улесок* 'небольшой лес'), деревья (*деревле* 'большое дерево'), насекомого (*букакайка*, *жукавка* 'мелкое насекомое'), рыбы (*малявка*, *маляшка* 'мелкая рыба') и т.д. оппозиция большой/маленький, крупный/мелкий, глубокий/мелкий с актуализацией чаще всего второго члена оппозиции;

– сила ветра (*забойник* 'сильный, порывистый ветер'), дождя (*проливняк* 'ливень'), мороза (*трескун*, *пекун* 'сильный мороз');

– нерасчлененное множество, *nomina collectiva*: звезды (*звездач*), деревья (*сосняк*), кустарники (*малинник*), ягоды (*черничник*), овощи (*картофье*), животные (*белочье*), птицы (*воронье*, *гусота*), рыбы (*лещье*, *окунье*), насекомые (*мухотва*, *блохота*) и т.д.;

– единичность, *nomina singulariva*: деревья (*лесница* 'одно лесное дерево'), ягоды (*черничина*), овощи (*морковина*), рыбы (*рыбина*) и т.д.

6. Ф у н к ц и о н а л ь н ы й признак, указывающий на:

– назначение леса (*избняк* 'лес, идущий на строительство дома', *заборник*, *тычинник* 'лес, годный для изгородей), дерева (*мочальник* 'мелколистная липа, кора которой идет на изготовление мочал'), травы (*чистец* 'чистотел'), грибов (*соленик* 'гриб, идущий на засолку'), домашнего животного (*откормыш* 'животное, оставленное на откорм', *волкогон*, *волкодав* 'в названиях собак') или птицы (*паруха*, *седунья* 'курица, которая высиживает цыплят') и т.д.

7. А к ц и о н а л ь н ы й признак, указывающий на:

– действие, оказываемое ветром (*отгон* 'ветер, сгоняющий воду'), дождем (*сеногной*), болотом (*затяжина*, *засос*), травой (*порезник*, *болиголов*), грибом (*ухотравка* 'мухомор'), насекомым (*жигалка* 'оса') и т.д.

8. Р е л я ц и о н н ы й признак, указывающий на отношения:

– родства: детеныши животных (*бельчонок*, *медвежонок*), птиц (*ластушонок*, *гусенок*), пресмыкающихся (*змееныш*, *ужонок*) и т.д.;

– половой противоположности: самки диких животных (*медвежиха*, *волчица*), птиц (*воробка*, *соловуха*), реже самцы (*лисун*, *лисовин* 'самец лисы'), иногда этот признак актуализируется и в названиях растений (ср.: *бранец* 'мужская особь конопля', *бранка* 'женская');

– классификационной соотнесенности: в названиях видов плодовых деревьев (*владимирка*, *шубинка*, *калужанка* 'сорта вишни'), сельскохозяйственных культур (*американка*, *балканец*, 'сорта картофеля', *булгарка*, *бухарка* 'сорта пшеницы');

– принадлежности: шкуры и мяса в названиях диких и домашних животных (*векшина* 'шкура белки', *волчура* 'шкура волка', *зайчина* 'зайчатина', *медведятина* 'медвежатина', *жеребятина* 'шкура жеребенка', *конюшина* 'шкура лошади', *коровина*, *бычатина* 'говядина'), мяса в названиях домашних птиц (*курушатина*, *цыплатина*); плодов деревьев и кустарников (*вишина*, *сливина*, *облепихина*); сока, коры, веток, листьев лесных деревьев (*березовка* 'березовый сок', *липник* 'липовая кора', *дубняк* 'дубовая ветка', *дубовина* 'дубовые листья'), бревна, палки, дубины определенной породы деревьев (*дубинина*, *березина*, *вязовина*);

– пространственной смежности: поле по засеянной или убранной сельскохозяйственной культуре (*пшеничище*, *овсянище*, *гороховище*); сад (огород) по произрастающим в нем деревьям (овощам): *яблочник*, *вишарник*, *огуречник*, *картофище* и т.д.;

– подобия (сходства) в названиях птиц (*сертик* 'стриж'), насекомых (*коник* 'кузнечик'), трав (*овсюг*, *ржанец* 'сорные травы'), цветов (*колоколец*, *кувшинка*), грибов (*свинарь* 'свинушка', *петушки* 'лисичка');

– оценки с актуализацией чаще всего второго члена оппозиции положительный/отрицательный в названиях погоды (*беспогода*, *неведрие* 'плохая погода'), леса (*сухарник*, *жарник* 'высыхающий на корню лес'), дерева (*подсохлина*, *сушина* 'засыхающее дерево'), травы (*дурнина*, *дурнига* 'сорная трава'), ягоды (*зеленика*, *зеленец* 'незрелая ягода'), гриба (*поганец*, *поганьш* 'несъедобный гриб'), дороги (*неторник* 'плохая ухабистая дорога'), болота (*бездонник*, *утопь* 'топкое, непроходимое болото'), домашних животных (*падина*, *одирок* 'худая, заморенная лошадь') и т.д., а также эмоционально-экспрессивной оценки в названиях практически всех реалий, принадлежащих к семантической сфере "Природа".

9. П а р т и т в н ы й признак, актуализирующий значение части (или составляющих частей):

– части дерева (*верховец*, *вершинье* 'верхушка дерева'), горы (*обвершь* 'вершина горы'), *подгор* 'подножие горы'), оврага (*вывершек*, *развершь* 'начало оврага'), *отвершек*, *развил* 'отрог оврага'), реки (*отвилок*, *приголовок* 'приток реки', *загибина*, *излога* 'излучина') и т.д.;

– кусок дерева (*деревяга*, *деревинка*), коры (*берестина*) и т.д.

Даже это, во многом еще предварительное, описание принципов номинации явлений природы свидетельствует о том, что язык является своеобразной моделью природных и мыслительных процессов. Это не пассивная объективация внешнего мира, а сознательное и целенаправленное словотворчество. Именно поэтому в языке как духовной "памяти народа" семантически и словообразовательно маркируется то, что имеет практическую ценность в его повседневной жизни. В этой словообразовательной отмеченности мотивационных признаков прослеживается отчетливая избирательность, что позволяет, с одной стороны, увидеть своеобразие языковой картины мира русского народа, а с другой – выявить систему его ценностей и ориентиров в этом мире.

Уже сам набор типологических признаков, представленных в семантическом пространстве "Природа", проливает свет на "привычки сознания" и систему выбора представлений. Даже при беглом знакомстве с этими признаками бросается в глаза их прагматическая направленность. С помощью словообразовательных средств маркируется, как правило, то, что имеет ценность в духовно-практической деятельности человека, что несет в себе опасность или угрозу его существованию, а также то, что позволяет ему ориентироваться в окружающем его мире.

Инвентаризация этих признаков, выявление их в полном объеме при феноменологическом подходе к материалу прольет свет на особенности восприятия и репрезентации семантического облика модели мира. При этом следует, по-видимому, признать бесплодными поиски универсальных признаков, актуализируемых на всех участках одной семантической сферы: даже принимая во внимание типологическую значимость такого признака, как экспрессивно-оценочный, надо отметить, что он практически не актуализируется в названиях пресмыкающихся, отрицательная коннотация которых просвечивает в самом их наименовании.

Работа над ЛАРНГ, публикация его карт позволит во многом расширить наши представления о системной организации диалектной лексики и подойти к созданию русской диалектной лексикологии. Свежий, достоверный материал, рассмотренный в гносеологическом и лингвогеографическом аспектах даст возможность по-новому взглянуть на природу диалектных номинаций. Сопряженность теории номинации и теории лингвогеографии открывает широкие перспективы для комплексного изучения процессов языкового означивания. Сопоставимость Программы ЛАРНГ с программами других славянских лексических атласов (и прежде всего украинского и белорусского)

создает предпосылки для построения славянской лексико-семантической типологии, имеющей своей целью изучение способов репрезентации языковыми средствами внеязыковой действительности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Диалектные различия 1991–1993 – Диалектные различия русского языка. Словообразование. Вып. 1–2. Кемерово, 1991–1993.
- Журавлев А.Ф. 1995 – Древнеславянская фундаментальная аксиология в зеркале праславянской лексики // Славянское и балканское языкознание. М., 1995 (в печати).
- Кале Т.Х., Факторович А.Л. 1994 – О семантических отношениях в названиях животных в русских кубанских говорах // Лексический атлас русских народных говоров. Материалы и исследования 1992. СПб., 1994.
- Петренко В.Ф. 1988 – Психосемантика сознания. М., 1988.
- Программа 1994 – Программа собрания сведений для Лексического атласа русских народных говоров. Ч. 1–2. СПб., 1994.
- Топоров В.Н. 1993 – Праславянская культура в зеркале собственных имен // История, культура, этнография и фольклор славянских народов. XI Международный съезд славистов. Братислава, сентябрь 1993 г. Доклады российской делегации. М., 1993.
- Трубачев О.Н. 1985 – Праславянская ономастика в этимологическом словаре славянских языков // Этимология 1985. М., 1988.

© 1995 г. И.Б. ЛЕВОНТИНА

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ БЕЗ ЦЕЛИ*

Человек, вероятно, может вынести
все, кроме отсутствия целей.

Л.Я. Гинзбург

1. Прототипические и несобственно-целевые употребления целевых слов.

В современной лингвистике давно стало общепризнанным представление о цели как атрибуте человека и, соответственно, о том, что целевые слова всегда включают представление о целесообразном субъекте см. [Grochowski 1980]. Ср., например, известные толкования А.К. Жолковского и Ю.Д. Апресяна: "P – цель лица A, если A считает (=исходит из того), что есть один или несколько "путей" (=способов) к P, полностью состоящих из тех предметов и действий (=ресурсов), которые зависят от (=которыми располагает) A; если один из них (=план) A предпочитает остальным и если A предпочитает расстаться с составляющими его ресурсами, нежели не достичь P; к этому добавляется формулировка принципов целесообразного поведения [Жолковский 1964: 69]; "цель – это то, что некто хочет (содержание чье-л. желания) и считает, что может каузировать (результат каузации) с помощью имеющихся в его распоряжении ресурсов" [Апресян 1974: 129].

Это, конечно, совершенно верно. Однако эти толкования естественным образом ориентированы на прототипические для смысла "цель" контексты. А при описании конкретных целевых слов лингвисты довольно часто сталкиваются с такими употреблениями, к которым весьма трудно буквально применить некоторые элементы толкования [см., например, Крейдлин 1992, Кобозева, Лауфер 1991]. Недостаточно было бы сказать, что подобные употребления являются несобственно-целевыми; существенно, что имеется круг смыслов, отличных от смысла "цель", который систематически обслуживается в естественном языке целевыми словами.

По-видимому, мы имеем дело с некоторой особенностью наивной телеологии, отличающей ее от современного рационального представления о целеполагании (я рассматриваю проблему на русском материале, однако очевидно, что она не является национально специфичной). Я надеюсь показать, что смысл "цель" может интерпретироваться в языке расширительного, причем это размывание возможно в двух основных направлениях. Во-первых, прототипическое понятие цели ослабляется за счет постановки разного рода потенциальных и условных целей (это характерно почти исключительно для слов *для* и *чтобы* в контексте предикатов со значением необходимости (*нужно* и т.п.), а также в контексте таких предикатов, как *достаточно*, *слишком* и т.п. – и для самих слов типа *нужен*, *слишком*). Таким модальным разновидностям цели посвящен второй раздел настоящей статьи.

* Работа выполнена при финансовой поддержке Центрально-Европейского университета (Research Support Scheme of the Central European University grant № 247/94). Я благодарю за помощь и критические замечания Ю.Д. Апресяна, а также О.Ю. Богуславскую, Е.В. Урысон и участников семинара Ю.Д. Апресяна в ИППИ, на котором эта работа была доложена.

Во-вторых, возможен отход от прототипического понимания цели в смысле интерпретации фигуры субъекта: он может быть обобщенным, провиденциальным, или вообще речь может идти скорее о квази-субъекте, субъект может раздваиваться и быть неопределенным. Естественно, что в этом случае особым образом понимаются многие составляющие смысла "цель", в центральных случаях ориентированные на отдельного конкретного человека: такие как "субъект хочет <считает, предпочитает>". В третьем и последующих разделах речь пойдет преимущественно об этом втором типе ослабленного понимания цели.

Разного рода несобственно-целевые употребления характерны для большинства целевых слов¹. Причём практически внутри любой группы единицы противопоставлены с точки зрения степени возможности таких употреблений. Источник этого семантического противопоставления коренится в самой структуре смысла "цель". Ср. приведенное в начале статьи толкование Ю.Д. Апресяна: цель – это, с одной стороны, содержание чьего-то желания, а с другой – предполагаемый результат. И смысловой акцент может приходиться на каждую из этих частей.

Естественно, что несобственно-целевые употребления менее возможны для слов, у которых на первом плане индивидуальные побуждения, желания субъекта, и более – для слов, ориентированных в первую очередь на идею достижения результата. Так противопоставлены *ради* и *для*, *дабы* и *чтобы*, *задача* и *цель*, *к чему* и *зачем*, *намеренно* и *специально*, *назначение* и *функция*, *намерение* и *замысел* и др. Например, предлог *ради* имеет очень высокий "личностный накал": для него чрезвычайно существенны индивидуальные побуждения субъекта, его предпочтения и представление о ценностях, его личный выбор. Слово же *функция*, напротив, максимально обезличено.

2. Модусы целеполагания.

В прототипическом случае цель является актуальной, т.е., говоря о цели, мы подразумеваем, что субъект действительно хочет, чтобы какая-то ситуация начала иметь место; ср. *Чтобы разжечь огонь, мне нужны спички*. Актуальная цель не всегда конкретизируется: она может быть самоочевидной (чтобы было хорошо, вкусно, приятно, чтобы все в мире шло своим чередом и т.п.). Ср., например, фразы типа *Нужно открыть окно <добавить сахару>*. Можно назвать такую неконкретизируемую цель тривиальной целью, она выводится из особенностей текущей ситуации или из аксиом действительности.

Однако в некоторых случаях идея целеполагания заключается в сложную модальную рамку, которая несколько видоизменяет и сам смысл "цель". Это явление связано с контекстами практической необходимости или, в терминологии Г.Х. фон Вригта, "технического долженствования" [Вригт 1986: 324]. В языке соответствующие предикаты регулярно управляют целевыми выражениями – это могут быть именные группы с предлогом *для* или придаточные предложения, вводимые союзом *чтобы*, (*для этого <чтобы сделать это>, нужно...*), а также слово *зачем*. Цель, которая фигурирует в этих контекстах, может быть ирреальной: потенциальной или конвенциональной (условной).

2.1. Потенциальная цель.

Наиболее типичная разновидность ирреальной цели – это потенциальная цель. В отличие от обычной, актуальной цели, которая предполагает, что субъект действительно хочет чего-либо, потенциальная цель вводит в рассмотрение предполагаемый результат, о котором не утверждается, что он является желательным. Он просто рассматривается как такой, которого можно и естественно желать.

Потенциальная цель имеет место в контекстах типа следующего: *Чтобы доехать отсюда до работы, мне нужно полчаса, а чтобы доехать до дома – час, так что*

¹ Почти все рассмотренные здесь целевые слова были предварительно описаны в статьях, составленных мною для Нового объяснительного словаря синонимов русского языка (научный руководитель Ю.Д. Апресян). О концепции словаря см. [Апресян 1992].

поеду лучше на работу. Говоря так, человек не имеет в виду, что у него две цели – поехать на работу и поехать домой. Он только указывает на то, что в случае, если он поставит перед собой эти цели, то сможет их достичь при тех или иных условиях.

Ср. следующий пример, который построен на противопоставлении потенциальной и актуальной цели в составе предиката практической необходимости – любимая фраза З. Гиппиус (зафиксированная мемуаристами): "Если надо объяснять, то не надо объяснять". Первое *надо* предполагает потенциальную цель (если хотеть, чтобы понял). Второе *надо* предполагает актуальную цель (хочу, чтобы понял). В первом случае *не надо* понималось бы в смысле "и так поймет" (цель будет достигнута в любом случае), во втором *не надо* означает – "пусть и не понимает" (нет такой цели, потому что если человек глуп, нечего с ним иметь дело).

Можно предложить следующее толкование для понятия потенциальной цели: "Оценивая возможность предполагаемого результата Р, который рассматривается как такой, которого можно и естественно хотеть, человек считает, что Р не будет иметь места, если не будет использован ресурс Х". Как видно из этого толкования, основные составляющие смысла 'цель' в этом случае сохраняются, однако происходит подрыв характерного для прототипической цели свойства: спаянности смыслов "хотеть" и "считать возможным", которая в значительной степени определяет специфику целеполагания.

2.2. Конвенциональная (условная) цель.

Компонент "результат Р рассматривается как такой, которого можно и естественно хотеть" объясняет, почему вне специфического полемического контекста странно звучат фразы типа *Чтобы уничтожить все живое, нужно в сто миллионов раз больше этого вещества*.

В полемике они, однако, возможны: здесь имеет место совершенно особое явление – конвенциональная (условная) цель (ср. также *Чтобы простудиться, мне нужно два часа стоять на морозе; Чтобы пересолить, нужно добавить еще две ложки соли*). Естественные контексты для таких высказываний – контексты типа: *Да не бойся, я не простужусь, если выскочу на минутку на улицу; Да нет, суп вовсе не слишком соленый*. Здесь не предполагается в действительности, что субъект имеет или может поставить перед собой такую цель (простудиться, пересолить или уничтожить все живое). Цель постулируется лишь в качестве допущения для удобства рассуждения, желательность соответствующего результата даже не обсуждается.

Условная цель всегда конкретизируется, тогда как актуальная и даже потенциальная – не всегда (см. пример выше).

В случае условной цели значение высказываний с предикатами долженствования почти сводится к условным отношениям, ср. "если не буду два часа стоять на морозе, то не простужусь". Однако целевое допущение позволяет человеку начать рассуждение с предполагаемого результата, а к нему подвергать условия, причины и т.п. Поэтому подобные рассуждения и встречаются обычно в контексте полемики: они позволяют человеку опровергнуть, например, неправильный прогноз или утверждение общего характера. Так, фраза *Чтобы уничтожить все живое, нужно в сто миллионов раз больше этого вещества* естественна как аргумент, опровергающий утверждение, что производство соответствующего количества некоторого вещества угрожает гибелью всему живому.

Предлагается следующее толкование для понятия условной цели: "Оценивая возможность предполагаемого результата Р, как если бы кто-то хотел (имел целью) его достигнуть, говорящий считает, что Р не будет иметь места, если не будет реализовано условие Х". Из этого толкования видно, что смысл "цель" привлекается в рассматриваемых употреблениях по аналогии, в риторических целях.

Понятие конвенциональной цели представляет собой источник развития разного рода аналитических, эпистемических и т.п. значений предикатов долженствования; ср.

Нужно очень любить студентов, чтобы столько с ними возиться; см. [Кобозева, Лауфер 1991]. Здесь собственно целевое содержание целевых слов полностью выхолащивается, место цели занимает гипотеза, а место средства – аргумент в ее пользу.

2.3. "Овеществленная" цель.

По-особому предстает идея цели в ситуации, когда обсуждаются не люди и их действия, а предметы и их бытование в мире людей. В этом случае мы видим цель воплощенной в вещи. Так в театре марионеток мы смотрим на движения кукол и судим по этим движениям о замысле невидимого нам художника. Речь идет прежде всего о словах типа *назначение* (*предназначение*, *функция*, *миссия*, *роль*); см. [Левонтина 1995; Крейдлин 1992]. Толкование важнейшей общей части смысла, лежащего в основе этих слов, можно сформулировать так: "то, для чего объект нужен". В это толкование, в конечном счете, входит компонент "цель", т.к. он входит в толкование самого слова *нужен* [Кобозева, Лауфер 1991].

Однако перечисленные слова очень сильно отличаются друг от друга с точки зрения интерпретации этой овеществленной цели. Они распадаются на две группы. В словах *назначение* и *предназначение* подразумевается прежде всего цель, ради которой данный объект был создан, при этом неизвестно, как он реально используется, между тем в словах *функция*, *миссия* и *роль* на первом плане то, какие конкретные действия должен выполнять данный объект, или какие действия должны выполняться с его участием, т.е. то, как он используется для достижения некоторой цели в конкретной ситуации. Рассмотрим это противопоставление на примере семантических различий между синонимами *назначение* и *функция*.

Слово *назначение* (в основном круге употреблений) указывает на то, для чего данный предмет обычно нужен. *Назначение* реализуется чаще всего регулярно, причем не только данным конкретным предметом, но и всем классом предметов, созданным людьми специально для совершения некоторого полезного действия. Ср. "В нижние комнаты, где было просторнее, он [гардероб] не годился по несоответствию назначения, а наверху не помещался вследствие тесноты" (Б. Пастернак. Доктор Живаго); *Они изобрели несколько устройств, работающих на том же принципе, но несколько иного назначения. Одно из этих изобретений – индикатор отрицательных температур.*

По указанной причине *назначением* обладают большинство артефактов: инструменты, механизмы, вместилища и иные объекты, которые создаются специально ради определенного свойства. Ср. *Что общего у магнитофона и солнечной батареи, гидролокатора и поляризационного микроскопа? Несмотря на разное назначение, эти устройства имеют общую особенность – в каждом работают кристаллы.* Применительно к таким объектам, используемым в утилитарных целях, *назначение* оказывается одним из свойств-параметров, наряду с весом, размером и т.п. Поэтому *назначение* – единственное из слов данного ряда – может употребляться в типичной для параметрических существительных конструкций *X такого-то назначения* с обязательным определением (ср. *X такого-то веса <размера, роста>*). Ср. «...я тоже видел, как он переезжал. Для наших географических условий зрелище впечатляющее. Масса каких-то предметов неизвестного назначения, каждый обернут фольгой и на каждом крупными буквами "IVANKO"» (В. Войнович, Иванькиада).

Уникальная особенность данного слова проявляется и в выражении *использовать что-л. по назначению*, где *назначение* – свойство самой вещи. *Не по назначению* значит "не так, как предусмотрено создателями вещи". *Назначение* сохраняется у предмета даже в том случае, если он никогда не был использован в соответствии с ним. Ср. также полутавтологическое выражение *прямое назначение*. *Назначение* может быть только прямым: *по прямому назначению* как раз и значит "строго по назначению".

Во многих употреблениях *функция* очень близка к *назначению*. Но если *назначение* – свойство предмета (или во всяком случае представляется как таковое), то *функция* – это его деятельность, работа в составе какого-то целого, например, детали в составе механизма, института в составе государства и т.п.; ср. «Всего только первый год, первый шаг славного пути был пройден ВЧК, а уже, как не совсем внятно пишет Крыленко, возник "спор между судом и его функциями – и внесудебными функциями ЧК..."» (А. Солженицын. Архипелаг ГУЛаг).

Назначение присуще предмету, как таковому, а *функция* определена во времени; *назначение* потенциально, а *функция* актуальна или узуальна; *назначение* статично, а *функция* динамична. *Функции* объекта могут меняться, и их может быть много, т.к. один и тот же объект может входить в разные целые. В этом смысле *функция* концептуализируется не как свойство, а скорее как состояние; ср. в какой-л. *функции*.

Назначение характеризует в основном артефакты, а *функции* могут быть практически у любых объектов: *функции внутренних органов*, *функции суда* <начальника отдела>, *функция этой детали* <этого упражнения> и т.д.

В случае, если речь идет о предмете, для которого данная *функция* – главное, *функция* сближается с *назначением* и они становятся полностью или частично взаимозаменяемыми; ср.: Экскурсовод показывал первобытные орудия и объяснял их назначение <их функции>. "Хотя иногда угадывалось назначение комнаты – столовая, салон, возможно, детская, – в общем их роднило отсутствие понятных функций" (И. Бродский. *Fondamenta degli incurabili*).

Назначение, таким образом – это стандартная, типовая *функция* предмета – *функция*, которая лежала в основе замысла и которую он выполняет в норме.

Очень похоже устроено противопоставление между словами *предназначение* и *миссия*; см. [Левонтина 1995].

Аналогичное значение ("то, для чего объект нужен") систематически выражается в русском языке предлогом *для*, а также другими предлогами – *на*, *под*, *к*. Ср. следующие контексты, в которых различаются целевое *для* и *для*, указывающее на назначение. *Для стрижки овец он купил новые ножницы* [цель] и *Он купил новые ножницы для стрижки овец* [назначение]. Аналогично ведет себя предлог *на*. Так, фраза *Он потратил все деньги на дом* двузначна. Если имеется в виду, что он купил дом, то *на* выражает здесь идею цели. Если же говорящий хочет сказать, что субъект не купил дома, а растратил отложенную сумму, то *на* указывает на назначение².

Ясно, что *ножницы для ногтей* остаются таковыми и в том случае, если никогда не были использованы по назначению. Точно так же и в следующем примере указание на назначение не мешает объяснять, как нужно использовать предмет совершенно иным способом: «А еще прекраснее вот что (записывайте): Пиво жигулевское – 100 г. Шампунь "Садко – богатый гость" – 30 г. Резоль для очистки волос от перхоти – 70 г. Клей БФ – 12 г. Тормозная жидкость – 35 г. Дезинсекталь для уничтожения мелких насекомых – 20 г. Все это неделю настаивается на табаке сигарных сортов – и подается к столу..."» (Вен. Ерофеев. Москва–Петушки).

3. Расширительные интерпретации субъекта целеполагания.

Каноническим субъектом целеполагания является отдельный человек, причем рассматриваемый как личность, а не просто как живое существо. Это связано с такими

² Во многих случаях выражаемые предлогами смыслы "цель" и "назначение" плохо отделимы один от другого, что само по себе демонстрирует близость этих смыслов; ср. несколько примеров: "Не домой, / не на суп, / а к любимой / в гости / две / морковинки / нес / за зеленый хвостик" (В. Маяковский. *Хорошо!*). "Каждый выбирает по себе / Слово для любви и молитвы, / Шагу для дуэли, меч для битвы" (Ю. Левитанский. *Каждый выбирает для себя*). "Пару соток под застройку, / под огурцы отвели" (А. Цветков. *Каждый злак земли подо мной*). "А сыруч к чайку или ливерной – / Тут – двугривенный, там – двугривенный... / А где ж их взять?" (А. Галич. *Фарс-гильюль*). "Жареный лук я не Бог весть как люблю, разве что приправой к картошке" (Ф. Горенштейн. *Койко-место*).

входящими в состав смысла цель компонентами, как "хотеть", "считать", "предпочитать" и др. Как и другие слова, описывающие человека как личность, многие целевые слова применимы, помимо этого (иногда с большей или меньшей долей метафоричности), к двум несколько неканоническим типам субъектов: это, с одной стороны, группы людей и организации, а с другой – животные и маленькие дети.

Однако особенность целевых слов состоит в том, что при них представление о субъекте может подвергаться дальнейшему размыванию. Можно выделить три основных типа непрототипических субъектов целеполагания: провиденциальный субъект (высшая сила), обобщенный субъект (люди вообще или некоторый обобщенный представитель человеческого рода, носитель "аксиом действительности") и квази-субъект. Под квази-субъектом здесь понимается субъект, которому не приписывается никаких свойств, кроме свойства быть субъектом целеполагания. Нужно только оговориться, что эта классификация несколько условна, т.к. явление непрототипического субъекта возникает в ситуации, когда сама фигура субъекта целеполагания теряет определенные очертания.

Тип субъекта не находится в прямой зависимости от модуса целеполагания, хотя имеются наиболее характерные сочетания этих двух признаков. Субъектом актуальной цели чаще всего бывает конкретный человек, но это не обязательно. Так, в высказывании *Нужно, чтобы искусство служило людям* субъект понимается как обобщенный (люди вообще) или провиденциальный (высшая сила), однако имеется в виду актуальная цель, т.е. для субъекта, как бы его ни интерпретировать, соответствующее положение дел является желательным. Надо, впрочем, отметить, что говорить о желаниях применительно к кому-либо, кроме отдельного человека, можно лишь расширительно.

Подобные рассуждения о "практической необходимости" часто встречаются и по отношению к природе; ср. *Для образования хлорофилла <чтобы происходил процесс фотосинтеза,> нужен солнечный свет*. Здесь вряд ли уместным был бы вопрос "Кому нужен?", то есть имеет место явление квази-субъекта. Однако и в этом случае помимо смысла "если не будет света, то не будет и хлорофилла" есть еще нечто: ведь само по себе условное отношение безразлично к каким-либо предпочтениям, а здесь явно в каком-то виде присутствует что-то вроде желания (актуальной цели), чтобы процесс фотосинтеза шел. Ср. также *Для чего нужны мухи?; Вошки тоже нужны – они очищают лес от больных и слабых животных*. Подобные высказывания предлагается толковать следующим образом: "Рассматривая природный процесс как нечто сходное с деятельностью, направленной на достижение некоторой цели Р, говорящий считает, что субъект этой деятельности, кто бы он ни был, не сможет достичь своей цели иначе, как используя ресурс X".

Если не учитывать данный – хотя и трудноуловимый – компонент смысла, то невозможно объяснить, почему без специфического полемического контекста выглядят странно фразы типа *Для гибели всего живого нужно...*

Потенциальная цель также часто связана с конкретным субъектом, как в приведенном выше примере с поездкой домой или на работу. Однако более типична ситуация, когда сочетаются потенциальная цель и обобщенный субъект (все и каждый); ср. *Чтобы разжечь огонь, нужны спички*.

3.1. Неканонический субъект о вещественной цели.

Неканонические интерпретации субъекта целеполагания очень характерны, в частности, для слов со значением "то, для чего объект нужен", сама смысловая структура которых такова, что предопределяет определенную слабость позиции субъекта и возможность различного его понимания.

Специфика этих слов состоит в том, что не указывается, чья цель имеется в виду, и субъектной валентности у них нет. При этом сам смысл "цель" предполагает наличие субъекта. Эта парадоксальная ситуация создает возможности для семантического варьирования и семантической неопределенности.

В словах *назначение, предназначение, функция, миссия* фигура субъекта целенаправленности находится, таким образом, как бы за кадром, так как эти слова служат для описания предметов, не надёленных собственной волей или не рассматриваемых в качестве действующих самостоятельно. Некоторые семантические противопоставления между этими словами связаны, тем не менее, с разной интерпретацией позиции субъекта.

С этой точки зрения различаются синонимы *назначение* и *предназначение*. Если *назначение* указывает прежде всего на то, для чего данный объект нужен людям, то *предназначение* ассоциируется скорее с высшей волей, высшим разумом. Лишь иногда речь может идти о человеческой воле. Поэтому обычно говорят о *предназначении* сущностей высокого порядка – людей и других объектов (народ, искусство, труд и т.п.), которые мыслятся как носители разума, души, причем им приписывается фундаментальное значение. В соответствии с этим, когда говорят о *назначении поэзии*, имеют в виду прежде всего ее пользу: *Назначение поэзии – пробуждать в людях добрые чувства*. Если же говорят о *предназначении поэзии*, то имеют в виду скорее ее красоту безотносительно к пользе или даже ее божественный замысел. В этом отношении слово *предназначение* близко к таким словам, как *судьба, участь, предначертание*, которые изображают происходящие события как определенные заранее и, возможно, кому-то заранее известные.

Миссия, которая по другим признакам противопоставлена *предназначению*, сближается с ним в аспекте источника. В обоих случаях это воля божественная, сверхъестественная или же исходящая от какой-то высшей силы, например государства. Если же она исходит от человека, то лишь от такого, который может полностью распоряжаться другим человеком. Поэтому чаще всего речь идет о чем-то важном.

В слове *функция* вообще нет представления о чьей-то воле, оно основано на идее потребности: объект нужен для успешного осуществления какого-либо действия или правильного течения процесса; ср. *Функция печени – очистка крови*. Если в словах *назначение* и *предназначение* легко примысливается обобщенный или провиденциальный субъект, то слово *функция* не подразумевает столь определенно-го ответа на вопрос "Кому это нужно?". Здесь можно говорить скорее о квази-субъекте, примысливаемом *ad hoc* или допускаемом по аналогии. Цель при этом актуальная: она состоит в том, чтобы процесс протекал успешно или в соответствии с нормой (то, что выше было названо тривиальной целью). *Функция*, в отличие от многих других целевых слов (и подобно, например, слову *нужно*), может описывать не только деятельность людей, но и природные процессы, которые в некоторых случаях язык интерпретирует как нечто сходное с целесообразной деятельностью.

Это хорошо видно при сопоставлении слова *функция* со словом *роль*, которое является его близким синонимом и может заменять его во многих контекстах. *Роль* при этом не является целевым словом, характеризует лишь место объекта в ситуации и сближаясь по смыслу с такими словами, как *место, значение* и т.п.

Функция описывает то, что является нормой, осуществляется регулярно и, следовательно, как бы запланировано на будущее. Если же говорится об отклонении от нормы, о разовом нестандартном событии, то можно употребить только слово *роль*; ср. *Сгусток крови играет роль <*выполняет функцию> пробки, закупоривающей сосуд*.

Поскольку слова ряда *назначение, предназначение* и т.п. указывают на свойства объекта, вовлекаемого активным субъектом в его целенаправленную деятельность, естественно предположить, что они могут различаться с точки зрения того, предполагается ли у носителя соответствующего свойства активность и сознательность при осуществлении деятельности. Вообще возможность раздвоения субъекта целе-

направленной деятельности предопределена двойственностью этой позиции: он является субъектом целеполагания и субъектом деятельности. Эта коллизия характерна для различных целевых слов.

С этой точки зрения наиболее отчетливо противопоставлены синонимы *предназначение* и *миссия*. В *миссии* больше самостоятельности, чем в *предназначении*. Предназначение может осуществляться и активно, и пассивно, *миссия* же осуществляется обычно активно и в большей степени сознательно. Ср. невозможное **Его миссия – стать жертвой...* при нормальном *Его предназначение – стать жертвой...* Однако сколь бы ни был самостоятелен носитель *миссии*, за ним всегда стоит верховный каузатор. В этом одно из ее отличий от *задачи*, которую человек сам может поставить перед собой, а не только воспринять извне.

Рассмотренные выше предлоги, вводящие указание на функцию или назначение, тоже могут подразумевать различную интерпретацию неназванного субъекта целеполагания. Так, например, такие сочетания, как *ножницы для ногтей*, *соус к мясу*, предполагают скорее всего обобщенный субъект целеполагания, а *ткань на платье*, *банка под огурцы* – конкретный субъект.

3.2. Псевдосубъект и раздвоение субъекта целеполагания.

Для многих других целевых слов также можно привести контексты, в которых указание на субъекта отсутствует или смещено, так что цель приписывается псевдосубъекту, в то время как настоящий субъект оставлен за кадром. Ср. *Зачем тут лежит эта ручка? Вода специально течет?* В работе [Рахилина 1989] отмечается, что *зачем лежит* понимается как *зачем положили*. Вообще применение целевых слов к объектам, которые не рассматриваются как наделенные волей субъекты целеполагания, легко интерпретируется в смысле наличия другого целесообразного субъекта; ср. "Что это за музыка? – Тайный советник. Это в ресторане, принцесса. – Принцесса. Зачем у нас в ресторане всегда играет музыка? – Тайный советник. Чтобы не слышно было, как жуют, принцесса" (Е. Шварц. Тень). "Зачем он у вас такой закутанный? – спросила служащая женщины. – Ему тяжело" (Л. Гинзбург. Заблуждение воли).

В последнем примере подразумевается совершенно конкретный субъект (вы). В следующем примере восстановить, о чьей воле идет речь, можно из исторического контекста: "Сейчас домоуправления с большим или меньшим успехом обслуживают свои дома и в них живущих. В 30-х годах они существовали с совсем другой целью, им самим, может быть, не вполне ясной. Не только для слежки за обитателями дома; еще более для того, чтобы напоминать ежедневно этому обитателю, что все, чем он располагает, даже в частном быту, можно прекратить, отобрать, запретить" (Л. Гинзбург. Оцепенение).

Однако подобные построения всегда чреватые тем, что возникнет иллюзия самостоятельности псевдосубъекта: он действует как бы сам по себе. Ср. следующий пример: «Смысл шахматной игры для любителей шахмат заключен в двух словах – радость общения... А в чем смысл игры для шахматных фигур? У них своя цель – взять в плен короля чужой армии. ...Черная ладья по линии "d" не имеет видимых целей» (Д. Бронштейн. Самоучитель шахматной игры). Если сказать, что *цель ладьи* – это то же, что цель игрока, поставившего ладью на данное место, это будет не совсем верно. Возможно, он раньше не думал об этой ладье, а теперь обдумывает сложившуюся позицию и возможности ладьи. Возможно, говорящий доигрывает партию за другого и вообще не ставил ладью на линию "d". А может быть (это и имеет место в данном случае), он просто анализирует позицию, известную из истории шахмат. Конечно, здесь не имеется в виду, что субъект – это какой-либо конкретный шахматист. Здесь вводится некий квази-субъект, неважно – даже, человек это или сама шахматная фигура, и делается попытка угадать, какие цели он мог бы преследовать, действуя соответствующим образом. В действительности речь идет не о целях, а о

возможностях использования ладьи. Но обсуждаются они в терминах целеполагания. От настоящего целеполагания это отличается специфическим модусом "как если бы".

3.3. Рассуждение о целях по аналогии при отсутствии субъекта целеполагания.

В следующем примере хорошо видно, как работает оператор "как если бы" применительно к целевым словам: "Сегодня, устраивая новую комнату, я размышляла над пустотой своего письменного стола: кроме книг и бумаг – чернильница, перо, два карандаша (краденых), коробочка с кнопками, которая могла бы лежать и в ящике, но лежит наверху, очевидно для полноты картины" (Л. Гинзбург. Записи). Для полноты картины не может пониматься здесь ни как указание на то, что коробочка с кнопками обладает собственной волей, ни как указание на цель человека, положившего ее, – самой Л.Я. Гинзбург (об этом говорит слово *очевидно*: человек не может не знать своей цели). Размышляя над тем, что в том, как выглядит ее письменный стол, отразились особенности ее личности, образа жизни и т.п., Гинзбург описывает это так, как если бы кто-то целенаправленно составлял эту композицию, желая достичь максимального эффекта. При этом ясно, что никакое реальное участие посторонней воли не имеется в виду.

Таким образом, происходит следующее. Целеполагание присуще человеку. В свою целенаправленную деятельность человек вовлекает различные предметы. В вещах, используемых человеком, создаваемых им и т.п., отражаются и проявляются его цели, как бы застывают его замыслы. Но коль скоро замыслы явлены в вещах, они могут абстрагироваться от человека. А раз так, то, рассуждая о целях разных вещей, не всегда обязательно вспоминать о человеке. Но если рассуждение о вещах в терминах целеполагания возможно, то не обязательно ограничивать его только обсуждением таких положений дел, которые зависят от человека.

В случаях, когда целенаправленность приписана явно не истинному субъекту, возникает возможность бесконечных вариантов смысла, которые возникают за счет разных пониманий неназванного субъекта, помноженных на разную степень солидарности с ним псевдосубъекта.

3.4. Неоднозначность высказываний с неназванным субъектом целеполагания.

Если высказывание о цели не содержит указания на субъекта целеполагания, возникает возможность различных интерпретаций. Часто понять, какого рода субъект подразумевается в данном случае, невозможно без обращения к широкому мировоззренческому контексту. Рассмотрим три высказывания, очень похожие по структуре. Во всех примерах представлено сочетание *зачем* с предикатом существования или близкими предикатами и при этом субъектом целеполагания не является поверхностный субъект, как это имеет место, например, во фразах типа *Зачем ты живешь?* в смысле "Что ты хочешь добиться в жизни?"

Возглас Ивана Карамазова "Зачем живет такой человек?" обращен, скорее всего, непосредственно к Богу. В нем, конечно, не предполагается, что Федор Карамазов имеет какую-то цель в жизни, которую он сам себе поставил. Это высказывание построено так же, как высказывание *Зачем здесь лежит эта ручка?*, т.е., оно подразумевает, что имеется конкретный субъект, совершивший некое целенаправленное действие – положивший ручку или, как у Достоевского, устроивший так, чтобы такой плохой человек жил и его нельзя было убить. Сведение счетов с Богом – лейтмотив Ивана Карамазова. Его не устраивают цели и средства, он вступает с Творцом в дискуссию, возвращает ему билет и т.п.³

³ Вопросы о цели, обращенные непосредственно к Богу, очень характерны для поэзии, ср. строки современного поэта А. Цветкова: "Это небо мне не по плечу. / Господи! Зачем оно такое"; ср. также стихотворение И. Бунина: "Зачем в лесу звенит овсянка, / Грибы растут, цветы цветут / И травы яркие, как медянка? – – / "Ах, Боже мой! Ах, Боже мой!"

Несколько по-иному устроено стихотворение Батюшкова: "Ты знаешь, что изрек, / Прощаясь с жизнью, седой Мельхиседек? / Рабом родится человек, / Рабом в могилу ляжет, / И смерть ему едва ли скажет, / Зачем он шел долиной чудной слез, / Страдал, рыдал, терпел, исчез". *Зачем* относится одновременно к пяти глаголам не только не одного и того же вида, но еще и предполагающих разную степень участия человека: идти можно только самостоятельно, рыдает человек тоже сам, хотя, возможно, и произвольно, а исчезает абсолютно независимо от своей воли. Поэтому *зачем шел* понимается скорее как вопрос, обращенный к самому себе, а *зачем исчез* – только к провиденциальной воле. А в сочетании со всем списком глаголов вопрос *Зачем?* выглядит как попытка найти ответ хоть где-нибудь. Здесь нет претензии к Богу, здесь мы видим скорее отчаяние человека, не знающего, к кому обратиться с вопросом о цели.

И, наконец, третий смысл имеет следующее высказывание: "Но если твердо знать, что тоска пройдет, как твердо знаешь, что заживет порезанный палец... Раз это пройдет, то зачем ему быть? – не имеет смысла" (Л. Гинзбург. Записи). Здесь вообще никоим образом не подразумевается наличие провиденциального субъекта. Представление о цели вносится в мир, чтобы удобнее было его структурировать. В этом смысле спросить, *зачем* существует какое-то явление – значит выяснить его место в общей картине мироустройства, определить его положение в иерархии связей и ценностей.

3.5. *Зачем и почему*

Сказанное позволяет обратиться еще раз к уже обсуждавшемуся в лингвистике вопросу о разнице между целью и причиной. В работе [Рахилина 1989: 51] говорится, что *зачем* и *почему*, в сущности, (квази)синонимы и различаются только исходным предположением вопроса: "... вопрос со словом *зачем* может задаваться говорящим, только если он считает, что ситуация, о которой задается вопрос, – управляема. Если это не так, то должен быть задан вопрос со словом *почему*. Сказанное означает, что если (при условии, что к данному предикату возможны оба типа вопросов) задан вопрос со словом *зачем*, то слушающий понимает, что ситуация представляется говорящему управляемой. Напротив, если при тех же условиях из двух вариантов вопроса об оправдании выбран вариант с *почему*, то слушающий понимает, что говорящий оценивает ситуацию как неуправляемую (ср. противопоставления типа: *Почему вы смеетесь? – Зачем вы смеетесь?; Почему вы так громко говорите? – Зачем вы так громко говорите?*)".

Такая интерпретация не объясняет, однако, противопоставлений типа: *Почему ты так поступил? – Зачем ты так поступил?* Они явным образом не могут различаться представлением об управляемости: *поступить* не может указывать на неконтролируемое действие. Просто спрашивающего интересуют в этих случаях разные вещи. В случае с *почему* ожидается ретроспективное объяснение, так сказать, историческое: из каких составляющих сложилась эта ситуация, какие этапы к ней привели – неважно, в какой степени субъект контролировал ситуацию на каждом этапе пути. А в случае с *зачем* ожидается проспективное и идеальное объяснение: поступок сам рассматривается как часть пути к какой-то предвосхищаемой ситуации, и спрашивающий хочет установить его место.

Следующий контекст целиком построен на противопоставлении причин и целей одного и того же сознательного выбора: "Я всегда понимала, почему я изучаю русскую литературу XIX века, ... я изучаю литературу потому, что люблю ее, и потому, что мне в высшей степени свойственно рационалистическое отношение к своим привязанностям..."

Наряду с этим существует вопрос, зачем мы занимаемся своей наукой. Здесь речь идет уже не о происхождении деятельности, а об оправдании индивидуально-практическом или этическом и социальном.

Оправдания бывают разные... Оправдание тем, что изучение литературы не хуже,

чем всякое другое, улучшает наше познание. Оправдание специфическим моментом сохранения культуры и даже попросту сохранения литературных произведений, которые перестают существовать, когда о них перестают говорить" (Л. Гинзбург. Записи).

Как мы видим, ответ на вопрос *Зачем?* по отношению к деятельности состоит здесь в сознании концептуального контекста, в рамках которого эта деятельность обретает ценность. Исходное предположение *зачем-вопроса* состоит не только и, может быть, не столько в том, что данная ситуация контролируется субъектом, но и в том, что данное действие, деятельность и т.п. не самодостаточны, не замкнуты в себе, а занимают какое-то место в иерархии, и значит, их существование оправдано (ощущение человека можно передать чем-то вроде "все в порядке"). Поэтому становится понятным стремление человека распространить сферу *зачем-вопросов* и на мироздание: сама их возможность действует успокаивающе.

4. Расширительные употребления целевых слов и наивная телеология.

В работе [Арутюнова 1992] показано, что так же как для природы характерна категория причины, для человека характерна категория цели, но с тем различием, что причина ассоциируется с ненормативными явлениями и отрицательной оценкой, а цели – с положительными событиями и позитивной оценкой" (с. 14). При этом "причина может быть транспонирована во внутренний мир человека, и тогда она идентифицируется с мотивом действия, приобретает свойственную ему субъективную модальность и входит в контакт с целью действия" (с. 15). Как видно из приведенных выше примеров, не только причина может захватить сферу человека, но и цель в естественном языке осваивает внешний по отношению к человеку мир.

4.1. Телеологизация мироздания как способ апологии.

Интересный материал такого рода приведен в работе [Крейдлин 1992] (в ней предлагается интерпретация этого материала при помощи введения параллельного концепту цели концепта предназначения, при этом смысл "предназначение" не считается производным от смысла "цель"). В частности, проанализирована яркая конструкция русского малого синтаксиса *На то и X, чтобы P (На то и щука в море, чтобы карась не дремал)*. В грамматиках эта конструкция квалифицируется как целевая; при этом вряд ли можно усмотреть здесь какого-либо субъекта целеполагания. В основе этой конструкции лежит представление людей о том, что все вещи имеют свое место в структуре мироздания, как если бы их кто-то целенаправленно расставил по местам. Представление о реальном агенте присутствует здесь не в большей мере, чем, например, в безличных предложениях типа *Вечереет; Меня знобит* и т.п.

В той же работе справедливо отмечается, что несколько другую семантику данная (или омонимичная) конструкция имеет в примерах типа *На то и учитель, чтобы учить; На то и свекровь, чтобы злиться*; ср. также пример из РГ-80, т. 2, с. 595: "Художник на то и художник, чтобы уметь поставить в себя вместо своего я – чужое" (Гаршин). Здесь имеется в виду "соответствие некоторого признака P его носителю X" (с. 28). В обоих случаях конструкция *на то и X, чтобы P* основана на "выделении существенных свойств" объекта. В этой связи уместно сравнить ее с другой характерной для русского языка конструкцией, также осмысляемой за счет представления о существенных свойствах объекта, – биноминативной тавтологической конструкцией *X есть X*; см. [Шмелев 1990].

В некоторых случаях эти два вида тавтологий могут употребляться сходным образом. Ср. два возможных ответа на жалобу, что дети шумят: *Дети есть дети; На то они и дети*. Между этими ответами, однако, есть разница. Если высказывания типа *Дети есть дети* выражают "примирение с действительностью" [Николина 1984, Шмелев 1990] (= "и ничего тут не поделаешь"), то в высказываниях типа *На то они и*

дети можно увидеть скорее апологию действительности (\approx "так и надо"). Если в первом случае предлагается принять отрицательно оцениваемое свойство как неизбежное, то во втором оно представляется как положительное за счет постулирования *ad hoc* данного свойства как (квази) назначения.

Субъект целеполагания здесь, как и во многих рассмотренных выше случаях, может быть реконструирован: в некоторых примерах как обобщенный, особенно если речь идет об артефактах (*На то и скальпель, чтобы быть острым*), в других скорее как провиденциальный (*На то и солнце, чтобы светить*).

4.2. Целесообразность и цель.

Как уже говорилось, различные целевые слова имеют разные возможности несобственных употреблений. Очень показательны с точки зрения дрейфа в сторону от центра к периферии поля "цель" слово *целесообразный* (*целесообразно, целесообразность*). Здесь, по-видимому, идея аналогии входит непосредственно в лексическое значение.

В современном языке, если отвлечься от научной речи, в которой *целесообразный* часто употребляется в значении "имеющий цель" (например, *целесообразный субъект, целесообразная деятельность*, как это имеет место, в частности, в тексте настоящей статьи), это слово используется в значении, близком к \approx "разумный, рациональный" (сами эти слова, впрочем, тоже употребляются по-разному). Ср. следующие примеры: *Ехать туда сейчас нецелесообразно*; "Ни премьер-министр, ни министр топлива и энергетики, ни министр внешнеэкономических связей не осмелились бы в открытую ратовать за возврат к кватированию, даже если бы кто-нибудь из них засомневался в целесообразности либерализации экспорта" (Сегодня. 27 дек. 1994).

Иначе говоря, *целесообразно* – это такая разновидность "хорошо". И это хорошо, потому что входит в кратчайший "путь" (по Жолковскому) к достижению цели. При этом *целесообразно* предпочитает тривиальные, самоочевидные в определенном контексте (идеологическом, историческом, тематическом и т.п.) цели, заполнение целевой валентности у него крайне затруднено. Подразумеваемой целью может быть экономическое процветание или торжество диктатуры пролетариата, как в следующих примерах: "Каковы бы ни были индивидуальные качества [подсудимого], к нему может быть применен только один метод оценки: это – оценка с точки зрения классовой целесообразности. ... В нашем революционном суде мы руководствуемся не статьями и не степенью смягчающих обстоятельств: в Трибунале мы должны исходить из соображений целесообразности" (А. Солженицын. Архипелаг ГУЛар).

Суть такой *целесообразности*, в отличие, например, от идеи полезности, пользы, состоит в том, что *целесообразным* признается не то, что прямо и непосредственно достигает цели, а скорее то, что интуитивно ощущается как ведущее к ней каким-то неочевидным образом.

Размытость и принципиальная затененность формулировки цели делает это слово пригодным для разного рода демагогических построений. Всем памятны советские формулировки типа *считать нецелесообразным*. Вряд ли кто-нибудь мог бы объяснить, почему, например, безбидная туристическая поездка того или иного человека препятствует достижению какой-то цели, в чем состоит эта цель и кто является субъектом целеполагания. Однако такая формулировка была призвана создавать иллюзию мотивированности при отсутствии мотивировок.

Очень часто цель, которая может быть реконструирована, имеет еще более отвлеченный характер (что-то вроде "чтобы все было правильно"); ср. "Какой моралист укажет целесообразную границу человеческой тоске, границу выносимого, за которой тоска уже уничтожает человека. Какой моралист скажет: страдайте от сих пор до сих пор и постарайтесь вовремя остановиться. ... Благо людям, уверенным в

том, что они успеют остановиться у границы благоразумной тоски" (Л. Гинзбург. Записи). Не случайно слово *целесообразный* поставлено здесь в ряд со словом *благоразумный*. Однако и в таких контекстах они различаются: *благоразумный* – такой, чтобы сделать хорошо себе самому: *целесообразный* – скорее соответствующий некоторому метафизическому замыслу устройства мира.

Поэтому естественно, что это слово вполне свободно применяется не только по отношению к деятельности людей: ср. употребление типа *Как целесообразно устроены птицы! Кости у них полые, чтобы они могли летать!*; *Целесообразность природы удивительна*. Для данного слова эти контексты вполне нормальны и даже не маргинальны. В таких употреблениях не ощущается образность, перенос или идея провиденциального субъекта; это слово совершенно не имеет мистической подоплеки (в отличие от слов типа *судьба*). По-видимому, сам смысл слова *целесообразный* включает не только идею "≈ такой, который соответствует цели", но и дизъюнктивно присоединенную часть "≈ или такой, как если бы его целенаправленно создали или использовали для достижения цели".

5. Заключение. Языковая телеология и гуманитарная мысль.

Прежде чем перейти к общегуманитарной интерпретации полученных лингвистических данных, отметим, что из них можно сделать ряд лексикографических выводов.

5.1. Лексикографическое представление несобственно-целевых употреблений.

При описании целевых слов мы систематически сталкиваемся с употреблениями, в которых отсутствуют ключевые компоненты смысла "цель": представление о целесообразном субъекте, его желании, его деятельности и т.п. Два наиболее простых выхода из этой ситуации таковы: можно внести изменения в толкование этого смысла и можно считать, что в данном случае соответствующие слова употребляются в другом – нецелевом – значении.

Анализ показывает, что во многих случаях наиболее естественный способ описания таких несобственных употреблений, тем не менее, предполагает привлечение смысла "цель" с последующим указанием на отклонения от него. Это связано с тем, что ситуация целенаправленной деятельности иногда используется как аналогия для описания ситуаций иного рода. Нужно ли в толкования отдельных слов вводить компоненты типа "как если бы", чтобы учесть возможные ослабленные смыслы? Это, несомненно, так, например, для слова *целесообразный*; отдельные интерес представляют слова типа *назначение* и *функция*. Однако для большинства целевых слов (таких как *зачем*, *цель* и т.п.), по-видимому, эти компоненты слишком периферийны и в толкованиях были бы вряд ли уместны.

При этом в системном лексикографическом описании необходимо учесть общую тенденцию расширительного употребления и типовые направления сдвигов (псевдо- или квази-субъект, провиденциальный или обобщенный субъект; потенциальная и условная цель). Для каждого такого слова необходимо очертить индивидуальные границы.

5.2. Философские аналогии языковой концепции цели.

Наивная, языковая телеология – это явление другого рода, чем, например, наивная анатомия, которая создает мифологизированную, можно даже сказать мистифицированную картину мира [ср. Урысон 1994]. Языковая телеология в главных своих чертах очень точно соответствует рациональным представлениям. Интересно, что те ее положения, которые входят в противоречие со стандартными рационалистическими представлениями, парадоксальным образом находят подтверждение в некоторых научных концепциях.

Рассмотренный аспект наивной телеологии перекликается с философской телеологией, начиная с Сократа, Платона и Аристотеля (и даже раньше). Телеологию в ее метафизическом аспекте традиционно интересовал не человек (человеческое целепо-

лагание трактовалось скорее в контексте этики – проблема цели и средств и т.п.), а устройство мироздания⁴.

Понятия причинности недостаточно, чтобы объяснить гармоничность мира, соотносительность частей с целым, рациональность (полые кости у птиц и т.п.) – для этого вводились понятия потенциальной цели, провиденциальной цели, целепричины и т.п. [Трубников 1968]. Современная философия науки также не отказалась от телеологической (квазителеологической, телеономической) модели объяснения в естественных науках; см. подробный анализ проблемы в работе Г.Х. фон Вригта "Объяснение и понимание" [Вригт 1986]. В этой работе, в частности, развитие научной мысли рассматривается как борьба двух традиций: "аристотелевской" (телеологической) и "галилеевской" (каузалистской).

Наиболее близка языковая концепция цели, как мне представляется, к телеологии Канта. Вернее, наоборот: в своей телеологии Кант невероятно точно воспроизвел устройство нашего мышления. В "Критике способности суждения" он писал о целесообразности природы: "...природа посредством этого понятия представляется так, как если бы (выделено мной) некий рассудок содержал в себе основание единства многообразного содержания ее эмпирических законов. Целесообразность природы есть, следовательно, особое априорное понятие, которое имеет свое происхождение исключительно в рефлектирующей способности суждения. В самом деле, продуктам природы нельзя приписывать отношение природы в них к целям; этим понятием можно пользоваться только для того, чтобы рефлектировать о них, имея в виду ту связь явлений в природе, которая дана по эмпирическим законам. Это понятие совершенно отличается также от практической целесообразности (человеческого искусства или же нравственности), хотя оно мыслится *по аналогии* (выделено мной) с ней" [Кант 1966: 179].

Кант, собственно, и выводит свою телеологию из понятий о рассудке. Человеческий рассудок, по Канту, дискурсивный, он мыслит предмет посредством понятия. Можно (теоретически) представить себе интуитивный рассудок, который бы созерцал предметы, для него целое существует раньше своих частей, а части происходят из целого. Для дискурсивного же рассудка целое механически складывается из частей, и мыслить целое как причину, порождающую свои части (например, применительно к происхождению организмов), наш рассудок может только посредством понятия естественной цели, то есть телеологически.

Ставшая объектом многочисленных упреков в умозрительности и субъективизме, эвристическая телеология Канта необычайно реальна и, как видно из приведенного материала, имеет опору в закрепленной в языке структуре человеческого сознания.

С другой стороны, идеи Канта и их сопоставление с наивной телеологией позволяют снять с языковой картины мира обвинения в дезориентирующем современном человека первобытном анимизме.

Этот упрек бросает "нашему отравленному языку", например, Хайек: «Как наивное или неразвитое сознание склонно одушевлять все, что движется, точно так же оно предполагает деятельность разума или духа везде, где, по его представлениям, присутствует цель. Ситуация осложняется тем, что, по-видимому, эволюция рода человеческого всякий раз до некоторой степени повторяется на ранних стадиях

⁴ Ср. в этой связи известное "пятое доказательство" Фомы Аквинского: "Пятый путь принимается из управления вещами. Ибо видим, что тела природы, лишенные тем или иным образом сознания, действуют по причине цели: это явствует из того, что они всегда или большей частью действуют одним и тем же способом, чтобы достичь того, что является наилучшим. Отсюда становится очевидным, что они приходят к цели не случайно, а стремятся к ней. Те же, которые не обладают сознанием, не иначе стремятся к цели, как будучи направляемы неким познающим и разумным, как стрела – стрелком. Следовательно, есть некий разум, который упорядочивает все природные вещи в направлении цели, которую мы называем Богом".

развития индивидуального сознания". Хайек приводит слова Ж. Пиаже о том, что ребенок начинает с того, что везде усматривает цели. "И лишь позднее сознание начинает замечать различие между целями самих вещей (анимизм) и целями тех, кто их создает (артифициализм). Анимистические коннотации тянутся за многими ключевыми словами, особенно за теми, что описывают случаи возникновения порядка». Подобные слова (Хайек упоминает, в частности, слова типа *факт, порядок, заставлять, предпочитать*), "без которых нельзя обойтись при описании безличных процессов, все еще вызывают во многих умах представление о некоем одушевленном действующем лице". Хайек даже на этом основании возлагает на язык часть ответственности за пагубную живучесть социалистических идей, поскольку "социализм с его понятием "общества" представляет собой позднейшую форму анимистических интерпретаций порядка" [Хайек 1992: 186–187].

Однако, как видно из приведенных примеров словоупотреблений, языковая телеология слишком сложна и изощрена, чтобы можно было говорить о том, что она возвращает сознание людей к первобытному состоянию.

5.3. Наивная телеология и антропоцентричность языка

В рассмотренном свойстве языка можно увидеть одно из многочисленных проявлений его антропоцентричности: желая рассуждать о мире не как о хаосе, а как об упорядоченном, гармоничном и прогнозируемом, "оформленном" космосе, человек делает это в терминах целеполагания, потому что собственная целенаправленная деятельность – наиболее естественная и понятная модель для него.

Существенно при этом, что в основе наивной телеологии лежит не просто антропоцентрическая модель, но модель, ориентированная на деятельность. И если в телеологизации мироздания в языке можно увидеть сходство с классической метафизической философией, то лежащее в ее основании представление о человеке действующем созвучно более современным философским, социологическим и психологическим концепциям. Как показано в психологии, наличие цели оценивается чрезвычайно положительно, так как цель организует существование человека и придает ему осмысленность [Леонтьев 1971: 13–28].

Положение о ценностной нагруженности представления о цели иллюстрирует также следующее рассуждение, которым хочется завершить настоящую статью: "Человек ходит без дела по улицам, и ему кажется, что он теряет время. Ему кажется, что он теряет время, если он зашел поболтать к знакомым. Ему больше не кажется, что он теряет время, если он может сказать: я воспользовался вечерней прогулкой, чтобы зайти к NN, или – я воспользовался визитом к NN, чтобы наконец вечером прогуляться. Из сочетания двух ненужных дел возникает иллюзия одного нужного" (Л. Гинзбург. Записи)⁵.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Апресян Ю.Д. 1974 – Лексическая семантика. М., 1974.
Апресян Ю.Д. 1992 – О новом словаре синонимов русского языка // ИАН. СЛЯ. 1992. Т. 1.
Арутюнова Н.Д. 1992 – Язык цели // Логический анализ языка. Модели действия. М., 1992.
Вриет Г.Х. фон 1986 – Логико-философские исследования. М., 1986.
Жолковский А.К. 1964 – Лексика целесообразной деятельности // Машинный перевод и прикладная лингвистика. 8. М., 1964.
Кант И. 1966 – Сочинения в шести томах. Т. 5. М., 1966.

⁵ Интересно, что если в наивной метафизике цель представляет собой ценность, то в наивной этике наличие цели часто связывается с чем-то отрицательным, ср. соответственно обвинительные и оправдательные коннотации у слов *нарочно* и *нечаянно*.

- Кобозева И.М., Лауфер Н.И.* 1991 – Семантика модальных предикатов долженствования // Логический анализ языка. Культурные концепты. М., 1991.
- Крейдлин Г.Е.* 1992 – К проблеме языкового анализа концептов "цель" vs. "предназначение" // Логический анализ языка. Модели действия. М., 1992.
- Левонтина И.Б.* 1995 – Апресян Ю.Д., Богуславская О.Ю., Левонтина И.Б., Урысон Е.В. Новый объяснительный словарь синонимов русского языка. Проспект. // Отв. ред. Ю.Д. Апресян. М., 1995.
- Леонтьев А.Н.* 1971 – Потребности, мотивы и эмоции. М., 1971.
- Николина Н.А.* 1984 – Структурно-семантические особенности предложений типа "Жизнь есть жизнь" // Предложение как многоаспектная единица языка. М., 1984.
- Рахилина Е.В.* 1989 – Отношение причины и цели в русском языке // ВЯ. 1989. № 6.
- РГ-80* 1982 – Русская грамматика. Т. 2. М., 1982.
- Трубников Н.Н.* 1968 – О категориях "цель", "средство", "результат". М., 1968.
- Урысон Е.В.* 1994 – Душа, сердце и ум в языковой картине мира // Путь. 1994. Т. 6.
- Хайек Ф.А.* 1992 – Пагубная самонадеянность. Ошибки социализма. М., 1992.
- Шмелев А.Д.* 1990 – Парадоксы идентификации // Тождество и подобие. Сравнение и идентификация. М., 1990.
- Grochowski M.* Pojęcie celu. Studia semantyczne, Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk, 1980.

© 1996 г. Т.З. ЧЕРДАНЦЕВА

ИДИОМАТИКА И КУЛЬТУРА

(Постановка вопроса)

Фразеология любого языка — это ценнейшее лингвистическое наследие, в котором отражается видение мира, национальная культура, обычаи и верования, фантазия и история говорящего на нем народа.

Устойчивые стереотипические словосочетания и фразы часто представляют собой структуры, отражающие определенные периоды состояния и развития каждого конкретного языка, его историю. Жизнь этих языковых единиц в речи позволяет наблюдать формирование и рождение новых знаков, благодаря использованию собственных ресурсов, накопившихся в языке, а также проливает некоторый свет на роль символизации в процессе образования новых значений и даже новых слов.

Благодаря фразеологии, а особенно идиоматике, можно проникнуть в далекое прошлое не только языка, но и истории и культуры его носителей. Говоря о "прошлом", мы подразумеваем известный факт сохранения в составе фразеологии слов и словосочетаний, вышедших из употребления, и синтаксических структур, не встречающихся в современном свободном синтаксисе. Однако фразеология важна и для изучения процессов, происходящих в языке постоянно, сейчас. В данном случае речь идет о семантических процессах, связанных с развитием системы значений слов, рождением новых знаков и новых фразеологизмов, о процессах, способствующих проверке и совершенствованию нашей компетенции при изучении функционирования языка. Все это свидетельствует о важности и необходимости изучения этой части лексикона и наблюдения за всеми процессами, происходящими в нем.

В современной лингвистике в состав фразеологии включаются достаточно разные единицы, которые, однако, имеют ряд признаков, присущих только этим знакам. Они состоят из компонентов, утративших частично или полностью значение слов, лежащих в их основе, а значение их не складывается из суммы значений слов — компонентов их составляющих. Они устойчивы, т.е. имеют замкнутую структуру. Необходимо подчеркнуть, что фразеологическое значение отличается от лексического значения, но однажды возникнув, фразеологическое значение включается в систему и подчиняется тем же законам, что и значение слова.

В данной статье наше внимание будет сосредоточено главным образом на идиоматике, т.е. на той части фразеологии, где особенно часто проявляется полный отрыв слов-компонентов от их первоначального (словарного) значения [Добровольский 1990]. Исследуя идиоматику, мы пришли к выводу, что идиомы, да и все фразеологические единицы, вторичны по отношению к слову и, именно поэтому, в основе их лежит образная или комбинаторная мотивированность. Мотивированность этих знаков может быть как эксплицитной, так и имплицитной. Идиоматика более непосредственно соотносится с фольклорными текстами и, в силу этого, именно она более тесно связана с наивными представлениями о мире, национальной культурой, духовной жизнью и фантазией носителей языка.

Мотивированность фразеологических единиц тесно связана с понятием языкового символа. Ш. Балли в одном из своих мало известных в России исследований [Bally 1940] высказывает весьма интересные мысли, проливающие свет на эту проблему. Стремясь разъяснить и отчасти углубить идеи Ф. де Соссюра, изложенные в его теории языкового знака, и ответить на некоторые возражения критиков этой теории, Ш. Балли пишет, что несмотря на утверждения де Соссюра об отсутствии связи между означаемым и означающим до того момента, пока они не стали знаками, он признавал мотивированными такие слова, как *dix-neuf*, *petit-fils*, *vif-argent* и т.п. Что же касается причин, которые лежат в основе произвольности языковых знаков в теории Соссюра, то они, как считает Балли, связаны с почти неограниченным множеством возможностей соединения изолированных знаков друг с другом.

Ш. Балли между тем утверждает, что определенные связи между означаемым и означающим все же существуют, о чем говорят и примеры, приводимые Соссюром, хотя он и называл их только частично мотивированными. Будучи убежденным сторонником теории Соссюра о существовании двух типов знаков, Балли стремится внести разъяснения и добавления в эту теорию. По его мнению мотивированность может быть связана не только с означаемым, но и с означающим, хотя Соссюр не признавал возможности мотивированности по означающему. Ш. Балли объясняет это тем, что, занимаясь междометиями, основанными на ономатопеях, Соссюр, видимо ошибочно, считал их элементами, чуждыми языковой системе. Сам же Балли, напротив, считает возможным существование определенной символической связи между выражением лица говорящего (движениями мускулов, губ, челюсти) и его сообщением, обращенным к адресату. Он утверждает, что наши органы речи, хотим мы того, или нет, повторяют те же символические движения, что и наши руки, кисти рук и т.д. Мы раздвигаем руки, указывая на что-то большое, сжимаем их, желая указать на малый размер. Мы сильно открываем рот, желая произнести *vaste*, *large*, *grand* и т.п. (ср. "широкий", "обширный", "большой") мы вытягиваем губы, произнося *long*, *profond* (ср. "длинный", "глубокий").

Ш. Балли придает большое значение ударению, которое может способствовать приобретению символического или, иначе говоря, мотивированного значения: *Mais ttais-toi donc*; *C'est ssi amusant!* По мнению Балли, все бранные слова можно считать мотивированными, поскольку они произносятся обычно с сильным приступом. Эти идеи Балли о проявлении признаков мотивированности даже у отдельных слов при выражении экспрессии, не могут остаться незамеченными теми, кто занимается фразеологией. Совершенно справедливыми представляются и мысли Балли об особой роли интонации, которая в романских языках способна приобрести в речи синтаксически-обусловленный модалный характер даже в тех случаях, когда модалность не выражена никакими другими грамматическими средствами, однако, мотивирующий характер интонация приобретает только при актуализации устойчивых сочетаний типа: *Que voulez-vous!* (ср. Что поделаешь!). С этим положением Балли трудно не согласиться.

Мотивированность, по мнению Балли, может быть и имплицитной. В частности, она свойственна словам как бы содержащим синтагму: *jument* = "femelle de cheval" (ср. *жеребец* = "самец лошади, достигший половой зрелости"), а также таким словом как *blond*, *chatain*. На наш взгляд, весьма важно и то, что один из видов мотивированности Балли считает тропы.

Изложенные здесь мысли Балли в определенной мере созвучны некоторым взглядам Соссюра, содержащимся в его "Тетрадах", в частности, в заметках по поводу германского эпоса, опубликованных благодаря известному итальянскому лингвисту Авалле д'Арко Сильвио [Avallé 1972]. Ф. де Соссюр пишет о символах, возни-

кающих на основе мифов, сравнивая символ и языковой знак и проводя между ними аналогию:

— Каждый миф содержит символы, которые надо определить.

— Эти символы подвержены тем же перипетиям, что и все остальные знаки, например, такие знаки, как слова, все они подчиняются тем же законам.

— Они являются составной частью ономазиологии.

— Нет никаких данных ни за то, что символы должны оставаться неизменными, ни за то, что они должны изменяться. Вероятно, они могут варьироваться, оставаясь в определенных границах.

— Сущность символа не может оставаться неизменной и тотчас же после того, как он начинает употребляться, нельзя определить его сущность. Так символ ведет себя внутри мифа. Любкой персонаж мифа — символ, но он может меняться (может измениться его имя, его отношения с другими персонажами мифа, его характер, его поведение).

— Отличительная черта символа и языкового знака состоит в том, что оба они вынуждены использовать только те элементы, которые находятся рядом, а смысл может быть любой. Они соединяют эти элементы и извлекают из них новый смысл.

Далее Соссюр говорит о том, что символы не появляются по чьему-либо желанию, они являются результатом естественных ошибок при передаче содержания мифа. Символ, в отличие от языкового знака, нельзя выдумать, он не возникает вдруг. Как в мифе, так и в родственном ему предмете — языке, все перипетии мысли связаны с недостаточным пониманием того, о какой сущности идет речь. Если предмета не существует, а существует лишь слово, то мифологический персонаж или буква алфавита являются всего лишь разными формами знака в философском смысле этого слова.

Приведенные здесь высказывания Ф. де Соссюра о близости символа и языкового знака и о невозможности выдумать символ, т.е. произвольно его выбрать, позволяют, как нам представляется, сделать некоторые выводы, с учетом идей Ш. Балли о мотивированности языкового знака: символ всегда мотивирован; языковой символ может стать мотивацией синтагмы и, при определенных условиях, даже аффективно употребленного слова.

Учитывая, что идиомы представляют собой синтагмы, элементы которых обозначают обычно образную ситуацию и могут считаться означающим идиомы, можно сделать вывод, что идиомы мотивированы по означаемому.

Весьма близкую точку зрения высказывает В.Л. Чейф [Chafe 1971, 1977]. Он подчеркивает, что идиомы не имеют собственной прямой символизации, они используют символизацию других языковых знаков. Очевидно, что под символизацией Чейф подразумевает означающее идиомы, мотивирующее ее означаемое.

Размышления разных ученых о мотивированности вообще и о мотивированности идиом в частности, позволяют, как нам кажется, говорить о двух видах мотивированности: простой и комбинаторной, к которой относится и образная мотивированность [Черданцева 1977]. Под комбинаторной мотивированностью следует понимать такую комбинацию уже существующих в языке знаков, мотивированных и произвольных, которые, образуя синтагму, обладают способностью приобретать новый смысл, обозначая новую объективную реальность. Таким образом, комбинаторная мотивированность связана не только с семасиологией, но и с ономазиологией, именно последняя лежит в основе образования символьных языковых знаков, возникших в результате пересечения семантических и семасиологических процессов.

Комбинаторная мотивированность, в отличие от тропов, редко бывает прозрачной. Значение вновь образованного знака в известной мере может быть произвольным, оно зависит от того содержания, которое в него вкладывает тот носитель языка, кто первым или одним из первых пустил его в оборот. Важно еще и то, что новая единица языка может стать мотивирующей для других, новых знаков. При этом, определить ее связь с идиомой или другой фразеологической единицей становится несколько не

проще, чем определить этимологию того или иного слова. Отметим, что между мотивированностью и этимологией слова имеет место весьма существенная разница.

Определение этимологии, как известно, состоит в том, чтобы с помощью исторических розысканий, реконструкций и, наконец, интуиции определить этимон. Что касается просто мотивированности, то она может быть либо достаточно прозрачной, либо она может совпасть с этимологией, наконец, она может вообще отсутствовать. В тех же случаях, когда значение того или иного слова, зарегистрированного в словаре, не связано ни логически, ни образно с системой значений, приведенных в словарной статье, можно быть уверенными в том, что такое слово мотивировано. Его мотивированность можно скорее всего найти, анализируя комбинаторно-мотивированные знаки, а также фольклорные тексты разной протяженности. Подобного рода разыскания могут дать возможность сделать ряд "маленьких открытий", связанных с определением закономерностей выбора одного из членов синтагмы, который может превратиться в "пустую" форму, способную вобрать в себя новое содержание, или даже образовать новое слово. Так, например, итальянская идиома *essere il gallo della Checca* (букв. "быть петухом из Кекки") восходит к поговорке, которую приводит в своем словаре К. Лапуччи: *egli e' il gallo della Checca tutte vede e tutte becca* (букв. "он просто петух из Кекки": "ни одной не пропустит, каждую клонет"). Очевидно, что поговорка со временем редуцировалась до идиомы, сохранив ее значение: "обладать повышенной сексуальностью" (ср. "гоняться за каждой юбкой"). Дальнейшее развитие семантического процесса привело к появлению нового слова, рожденного на символической основе, *gallismo* со значением: "мужское тщеславие", "сексуальность".

ИДИОМАТИКА И НАИВНАЯ КАРТИНА МИРА

Рассмотрение идиом с компонентами, обозначающими неотторжимые части тела, позволяет констатировать, что в их основе нередко лежат жесты, мимика, телодвижения, связанные с реакциями человека на поведение других людей и на окружающий человека мир. Эти физические реакции несомненно сходны у людей, принадлежащих к разным языковым коллективам, в отличие от обычаев, ритуалов, символизации явлений природы и различных реалий, которые представляют собой факторы культуры, отраженной в языке. Вопрос о том, как реакции человеческого организма могут быть выражены словесно, зависит от носителей языка и, разумеется, от возможностей самого языка, а часто это может быть и случайным. В силу этого, при передаче физических реакций в ответ на поведение других людей, на различного рода стихийные явления и неадекватные ситуации, посредством речи, вербализованные ситуации очень часто фразеологизируются. Это происходит потому, что до тех пор пока описание той или иной ситуации не превратилось в знак, оно не может быть понято однозначно всеми членами языкового коллектива, не говоря уже о носителях другого языка. Переданное с помощью слов ощущение только тогда может стать понятным всем членам языкового коллектива, когда будет найдена такая формула, как идиома. Идиома способна передать ситуацию с помощью слов-компонентов, утративших связь со своими первичными означаемыми не только с помощью образа, но она как бы символизирует ситуации, которые могут быть выражены только с помощью синтагмы, превратившейся в языковой знак.

Рассмотрим несколько идиом, мотивированно связанных с внутренними реакциями человеческого организма, его отдельных органов, на события, имеющие непосредственное отношение к человеку, состояние самого человека, когда он оказывается в трудных или даже экстремальных ситуациях. Все знают, что когда ребенок болен, он может жаловаться на головку в то время, когда у него болит ушко, или на сердце, когда у него болит животик. Ребенок не знает, где у него расположены те или иные органы, но он, ощущая определенный внутренний дискомфорт, пытается его локализовать и верит в то, что говорит. Средний взрослый носитель языка

способен более точно передать свои ощущения локализации боли, тошноты и т.п. Однако, когда речь заходит о переживаниях, человек, рассказывая собеседнику об этих переживаниях, очень часто пользуется известными ему идиомами, в которых как раз отражается самое наивное представление об устройстве человеческого организма и о реакции его органов на соответствующие раздражители. Тем не менее, в данном случае для носителей языка не имеет значения истинность или ложность того, какой именно орган реагирует на внешние раздражители. Они пользуются идиомой как знаком, который может быть понят однозначно в языковом социуме, поскольку его цель состоит отнюдь не в том, чтобы локализовать то или иное ощущение, а косвенно передать истинные эмоции, вызвавшие какую-то реакцию в организме говорящих.

Сравнивая значения слов, обозначающих внутренние органы в нескольких наиболее известных итальянских диалектах: римском, миланском, неаполитанском, диалектах Калабрии и Кампании, мы прежде всего констатируем несовпадение объема протяженности значений, близких по звучанию и значению слов [Гак 1983]. Так, например, в римском диалекте слово *ciarvello* ("мозг") соответствует слову *cervello* в литературном итальянском. Однако для обозначения этого органа в римском диалекте есть и другие слова: *cranio*, *muscolo*, *fritto bianco*, с ними образуются следующие идиомы: *perde' er fritto bianco*; *da' da vorta ar muscolo*. Этим идиомам в литературном итальянском соответствуют идиомы, аналогичные по смыслу: *dar la volta al cervello*, *perdere il cervello* и ряд других. Слово *cranio* существует в итальянском и означает "череп". Слова *muscolo* и *fritto bianco* в итальянском означает, соответственно, "мускул", "мышца" и "жареное". Добавим, что такие слова как *muscolo* и *fritto bianco* в римском диалекте означает также "печень" и "желудок", а в переносном смысле и "храбрость". Слово *cranio* в римском диалекте означает также любой жизненно важный орган.

В неаполитанском диалекте итальянское слово *cervello* имеет несколько эквивалентов: *cellevriello*, *cerefisculo*, *cerviello*, однако идиом с этими словами неаполитанские словари не приводят. Словарь калабрийских диалектов Г. Рольфса фиксирует такие эквиваленты слова *cerviello*: *cerviellu*, *medulla*, *mijicocalu* и др. В миланском диалекте итальянскому *cervello* соответствуют три слова: *cervell*, *zinivei*, *scinivella*. Первые два представлены в идиомах миланского диалекта и имеют аналоги в итальянском языке: *Gli fa' schizzar le cervella*; *El g'a a' faa i zinivei (gli ha dato di volta il cervello* "он потерял разум"). В миланском диалекте имеются и другие идиомы со словом *cervell*: *avegh el cervell sora el capel* (итальянский эквивалент *avere il cervello sopra la berretta* "иметь мозг выше шапки", "быть рассеянным"); *Mett el cervell a partiv* (ит. *mettere la testa a partito*, "смириться", "успокоиться"), букв. "поставить голову на место"); миланская идиома: *cervell de gatt o de polaster* (букв. "мозг кошки, курицы"), итальянский эквивалент: *avere un cervello di gallina, di acciuga*, букв. "иметь мозг курицы, анчоуса", значение — "иметь куриные мозги"). Наконец, *Vess alt de cervel* (букв. "иметь высокий мозг", ит. эквивалент: *avere la fronte alta*, букв. "иметь высокий лоб"). Очевидно, что слова, обозначающие мозг в диалектных идиомах, имеют в итальянских идиомах эквиваленты: "разум", "голова", "шапка", "лоб".

Слово *fegato* "печень" в неаполитанском диалекте звучит как *fecato*, *fecatiello*. Автор неаполитанского словаря отмечает, кроме прямого значения, символическое значение "храбрость", а уменьшительное и "нежность". В калабрийских диалектах имеется несколько слов для обозначения печени. Выделим одно: *ficatu*, оно имеет два значения — "печень откормленного животного" и заимствованное из греческого "храбрость". В миланском диалекте со словом *fidegh* "печень" имеется несколько идиом: *Avegh guat el fidegh* (букв. "иметь испорченную печень"); *scaldarse el fidegh* (букв. "разогревать себе печень", значение: "злиться, портить себе кровь"); *Vess dolz el fidegh* (букв. "иметь сладкую печень", значение: "быть добрым, сердечным"); *Aveghel in del fidegh un* (букв. "иметь кого-либо в печени", значение: "очень любить кого-

либо"): *Avegh el fidegh* (букв. "иметь печень", значение: "быть храбрым"). Отметим, что идиома со словом *pечень* в значении: "быть храбрым" имеется во всех диалектах, рассмотренных нами.

В итальянском языке слово *fegato* "печень" встречается в ряде идиом: *Fegato santo* (букв. "святая печень", "смелый, отважный человек"); *di fegato* (бук. "с печенью", значение — "храбрый"); *Gettare il proprio fegato oltre un ostacolo* (букв. "выбросить печень туда, где есть препятствие", значение — "лезть на рожон"); (S) *Mangiarsi il fegato (un'ala di fegato ulu di cuore)* (букв. "ест свою печень (сердце)", значение "злиться"); *Marcirsi il fegato* (букв. "сгноить печень", значение — "исстрадаться"); *Sentirsi cuocere il fegato* (букв. "чувствовать, что собственная печень варится", значение — "кипятиться, испытывать крайнее раздражение); *Che mi sia fritto il fegato* (букв. "пусть у меня изжарится печень", ср. "пусть у меня язык отсохнет" и проч.).

Слово *fegato*, как мы видели, во всех диалектах используется в идиомах с присущим ему символическим значением "храбрость". В миланском диалекте со словом *печень* ассоциируется не только идея храбрости, но и такие качества как зависть с одной стороны, нежность и любовь с другой. В итальянском со словом *печень* оказались лишь те идиомы, где они ассоциируются с храбростью и злостью, последнее, очевидно, связано со свойствами поведения желчи в человеческом организме. Все добрые чувства в итальянском языке выражаются, в основном в идиомах, центральным компонентом которых являются такие слова, как *сердце* и *душа*.

Приведенный материал показывает, что итальянцы, говорящие на разных диалектах, имеют весьма близкое представление о мире, о чем свидетельствуют идиомы, различающиеся по компонентному составу, но весьма часто совпадающие по смыслу. Тем не менее, выбор стереотипа (малой или большой величины, локализации дискомфорта, ощущаемого внутренними органами в определенных ситуациях) не совпадает даже в этом случае. Совпадение стереотипа возможно, если слово-компонент идиомы представляет собой символичный языковой знак, каким является, например, слово *печень* в итальянском языке и в его диалектах. Этот факт, как нам представляется, свидетельствует о жизнеспособности фразеологии, с помощью которой становится возможной вербализация жестов, внутренних реакций организма в ответ на внешние события и поведение других людей, а также упорядочение стереотипов, что весьма важно для обеспечения коммуникативной функции языка.

Жесты или гримасы, отражающие определенные реакции людей, очень часто получают словесное выражение. Словесное выражение становится знаком, в составе которого используются слова-компоненты, лишённые, в большинстве случаев, своего собственного семного состава. С помощью этих слов-компонентов кодируется новый смысл и целое — идиома получает новое означаемое. Идиомы и все фразеологизмы такого рода обычно легко понимаются как носителями языка, так и взрослыми людьми, владеющими языком, как иностранным. Это объясняется тем, что, обладая жизненным опытом, они приблизительно могут догадаться, какие эмоции и чувства выражают те или иные жесты, но найти им правильный вербальный эквивалент они могут лишь в словаре. Приведем только один пример, русскому фразеологизму *бровью (глазом, ухом, усом, носом) не повел* в итальянском соответствует эквивалент: *non batter ciglio (palpebra)* (букв. "не моргнуть ресницей (веком)". В этих двух языках описание гримасы совпадает только отчасти, но дефиниция у них общая: "не прореагировать внешне на что-либо".

Реальный смысл идиом, отражающий так называемую "фразеологическую картину мир" [Роль... 1987], чрезвычайно разнообразен. Идиомы, как языковые знаки, обозначая лицо или предметы реального мира, аксиологически значимы: *голова садовая, сумасшедший дом, чучело гороховое, ни богу свечка, ни черту кочерга* и т.п. Царство идиом тесно связано с бытом, религиозными отправлениями, материальной и духовной национальной культурой, правилами общежития и обычаями языкового

социума. Однако попытки "разгадать" значение той или иной идиомы не могут быть успешными, если исходить только из логики познания, логического анализа формирования их значения.

Обогащение языка за счет собственных средств, благодаря заложенной в самой языковой системе способности творить новые знаки на основании уже существующих, было замечено многими учеными [Гумбольдт 1985; Florenski, 1989; Амосова 1964]. Особенно важно в этом плане не возводить барьеров между знаками разной природы и разных уровней. Исследования паремиологов и фразеологов показали, что фольклорные произведения, устные и письменные, как и авторские тексты, являются постоянным источником обогащения языка. Так, многочисленные пословицы и поговорки, возникающие чаще всего в недрах фольклора, порождают идиомы, которые, в свою очередь, становятся источниками возникновения новых слов, мотивированных на образной и символической основе в ходе когнитивной языковой деятельности членов языкового коллектива. Именно эта деятельность отражает определенный уровень и особенности материальной и духовной культуры, познание которой нам может дать изучение языка, говорящего на нем народа [Милюков 1993; Лакофф 1988; Alinei 1984].

Одним из примеров обогащения языка за счет собственных средств могут служить идиомы, восходящие к пословицам. В пословице, как известно, сохраняется логика высказывания, в идиоме ее чаще всего не бывает, при этом, идиома далеко не всегда сохраняет значение пословицы, а со временем значение идиомы может измениться в соответствии с семантическими законами языка. Мотивированность таких идиом хранится в памяти большинства носителей языка до тех пор, пока пословица не выходит из употребления. Таким образом, для того, чтобы связать значение идиомы с ее компонентным составом, необходимы этимологические разыскания. Однако, если идиома, восходящая к пословице, образно мотивирована, достаточно исследовать ее компонентный состав: как известно, образ формируется на основе первичных значений слов, которые входят в состав идиомы, и только затем эти слова переосмысляются, оставляя в образе свое значение.

Итак, приведем только несколько примеров итальянских идиом, восходящих к пословицам:

1. Пословица: *Quando non si può battere un cavallo si batte le sella* (букв. "когда нельзя бить лошадь — бьют седло") идиома: *battere la sella invece del cavallo* (вариант: *battere il basto invece dell'asino*) дефиниция: "срывать зло на ком-либо".

2. Пословица: *Sull'arena* (уст. вариант слова *rena*) *semina chi sue speranze pone in cuor di femmina* (букв. "тот сеет на песке, кто связывает свои надежды с сердцем женщины"). Идиома: *seminare sulla rena* (букв. "сеять на песке", дефиниция: "не добиться желаемого результата из-за неудачно выбранного места").

3. Пословица: *Non si può aver le viti legate con le salsicce* (букв. "нельзя виноградную лозу перевязывать колбасой") Идиома: *legare la vigna (le viti) con le salsicce* (букв. "перевязывать виноградник колбасой", дефиниция: "напрасно тратить средства, не достигая желаемого результата". Ср. *Овчинка выделки не стоит*).

4. Пословица: *È brutto navigar contro corrente* (букв. "плохо плыть против течения"). Идиома: *navigare contro corrente* (букв. "плыть против течения", дефиниция: "напрасно затрачивать усилия").

5. Пословица: *non essere né carne, né pesce come i ranocchi* (букв. "быть ни мясом, ни рыбой, как лягушки"); идиома: *né carne né pesce* (букв. "ни рыба, ни мясо", дефиниция: "ни то, ни се").

6. Пословица: *L'acqua cheta rovina i ponti* (букв. "тихая вода мосты разрушает") (ср. "в тихом омуте черти водятся"). Идиома: *(essere) un'acqua cheta* (букв. "быть тихой водой", эквивалент: "действовать исподтишка").

7. Пословица: *Tanto è ladro chi ruba che chi tiene il sacco* (букв. "и тот вор, кто крадет, и тот, кто мешок держит"); идиома: *reggere (tenere, parare) il sacco* (букв.

"держат мешок", идиома имеет два значения: "помогать вору"; "быть сообщником преступления").

8. Пословица: *Chi vuol fare l'altrui mestiere fa la zuppa nel panier* (букв. "кто хочет заниматься чужим ремеслом — тот варит суп в корзине"), (ср. "беда, коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги тачать пирожник"); идиома: *fare la zuppa nel panier* (букв. "варить суп в корзине", дефиниция: "браться за дело негодными средствами").

9. Пословица: *L'aia non è luogo per i cani da caccia* (букв. "ток не место для охотничьих собак") идиома: *menare il can per l'aia* (букв. "гонять собаку по току", значение: "тянуть время; ходить вокруг да около").

10. Пословица: *Fare come l'asino che prima mangia e poi dà calci alla greppia* (букв. "делать как осел, который сначала поест, а потом ногой пинает кормушку") идиома: *dar calci alla greppia* (вариант: *dare il calcio dell'asino*) (букв. "пинать кормушку, дать пинок осла") дефиниция: "быть неблагодарным").

11. Пословица: *La luna non cura l'abbaiare dei cani* (букв. "луна не обращает внимания на лай собак"), (ср. "собака лает — ветер носит"), идиома: *abbaiare alla luna* (букв. "лаять на луну") значение: "напрасно стараться".

В примере 1 в идиоме *battere la sella invece del cavallo* ни один компонент не связан с прежним означающим слова, лежащего в его основе. Значение "срывать зло на ком-либо" вытекает из приведенной поговорки, в которой смысл выражен иносказательно, но достаточно прозрачно, в то время как в идиоме он затемнен.

В примере 2 в идиоме *seminare sulla rena* мы наблюдаем ту же картину, однако смысл "зря стараться" может быть передан рядом идиом: *fare un buco nell'acqua* (букв. "делать дыру в воде"); *andare per acqua col vaglio* (букв. "пойти по воду с дуршлагом"); *insaccar (imbottar) nebbia* (букв. "собирать туман"); *pestare l'acqua nel mortaio* (букв. "толочь воду в ступе") и др. Список идиом с таким значением может быть продолжен. Хотелось бы заметить, что хотя смысл у этих идиом совпадает, их дефиниции содержат дополнительную информацию: делать дыру в воде, как и сеять на песке имеют дефиницию, уточняющую, что желаемый результат не может быть достигнут из-за неудачно выбранного места. Идиома *пойти по воду с дуршлагом* указывает, что желаемый результат недостижим из-за неудачно выбранного средства. Такие уточнения весьма существенны, поскольку они отражают свойственные языковому социуму стереотипы, а также позволяют, при переводе идиом с одного языка на другой, выбрать более точный эквивалент [Черданцева 1990].

В примере 5 в идиоме *non essere né cotto né crudo* смысл выражен довольно прозрачно, эта идиома имеет ряд синонимов: *essere come il pipistrello (mezzo topo e mezzo uccello)*, букв. "быть как летучая мышь" (наполовину мышь, наполовину птица). Как и в примере 2 здесь разные стереотипы, отражающие представление о мире говорящих на данном языке.

Из приведенных здесь примеров становится ясно, что поговорки являются наиболее доступным и ярким материалом, в котором в поэтической форме отражаются быт и нравы, отношения между людьми и отношение людей к миру, природе, религии, животным, поведение людей и многое другое. Однако следует подчеркнуть, что идиомы, не менее, чем поговорки, создают представление о той наивной картине мира, которая сложилась у носителей языка.

Семантика идиом всегда была в центре внимания фразеологов, однако в настоящее время появились новые подходы к проблеме толкования фразеологического значения, в том числе и связанные с возможностью подготовки машинного фонда русской фразеологии [Телия и др. 1991]. Это заставляет искать новые критерии и параметры наиболее точной передачи особенностей каждой зоны фразеологического значения идиом. Особенно интересны в этом плане идиомы, связанные с национальной материальной и духовной культурой, правилами общежития и обычаями языкового социума.

Связь между языком и культурой, говорящего на нем народа, широко известна. Когда же мы обращаемся к идиоматике, то прежде всего бросается в глаза особенность этих знаков: они рождаются в результате осмысления необходимости найти знаковое выражение для определенных событий, ощущений и ситуаций, которые тесно связаны с самим человеком, с поведением людей в обществе, с отношениями между людьми.

Таким образом, идиоматика, в отличие от слов, прямо отражает когнитивную деятельность членов языкового коллектива, основанную на наивном представлении о мире носителей языка, на их отношении друг к другу, к тому, что происходит с ними в этом мире. Однако, все это возможно только потому, что сама языковая система содержит механизм, обеспечивающий эту деятельность. Как уже было отмечено, немалую роль в непосредственном обогащении языка играют пословицы и поговорки, отражающие фантазию народа, его способность к образному мышлению и к обобщениям. Даже поверхностный взгляд на идиоматику в разных языках позволяет сделать вывод об общности многих "сюжетов", т.е., актов и ситуаций, нашедших свое выражение в идиомах, и о способности каждого языка найти только свои языковые средства для обозначения этих актов и ситуаций. Между тем, эти средства связаны не только с языком. Они тесно связаны с окружающим миром: природой, климатом, образом жизни. Связь между объективными условиями жизни и конкретными материальными, социальными и моральными сторонами этой жизни неизбежно находит свое выражение в языке и в частности в идиоматике. Благодаря своим особенностям эти знаки способны не только обозначить некую ситуацию, но содержат и оценку. Однако, передавая оценку, они, в отличие от кратких фольклорных текстов не содержат морали, как это свойственно, например, пословицам, а сближаются с оценочной лексикой. Это их свойство подтверждает их статус языкового знака.

В качестве примера сравним, как в языке отражаются некоторые представления его носителей о человеческих отношениях в разных языковых социумах. В русском языке в идиомах, связанных с отношениями детей и родителей, на первом месте оказывается мать, а в итальянском — отец: Маменькин сынок в русском имеет итальянский эквивалент *Figlio di papà* (букв. "папенькин сынок"). То же самое мы наблюдаем и в таком примере: *Babbo e mamma non campan sempre* (букв. "папа и мама не всегда будут живы").

Идиомы со словом *Бог* в итальянском языке свидетельствуют о гораздо большей роли религии в жизни итальянского народа по сравнению с русским. Бог в итальянских идиомах встречается, как правило, с положительной оценкой. Из пятидесяти фразеологизмов с этим словом в итальянско-русском фразеологическом словаре есть только один пример неуважительного отношения к Богу: *Per amor di Dio* (букв. "из любви к богу"), *Per amor di dio nessuno dà niente*, что означает: "за так (за спасибо) никто ничего не дает". Напротив, идиомы со словом *diavolo* ("черт, дьявол") весьма многочисленны, их значительно более ста. С дьяволом итальянский народ обращается вполне вольно. Так, наряду с фразеологизмами, где дьявол предстает как альтернатива добру, например, *Fuggire (Scappare) come il diavolo dall'acqua santa* (букв. "бежать, как черт от святой воды", ср. "как черт от ладана"), есть и такие идиомы: *povero diavolo* ("бедняга"), *buon diavolo* ("добрый малый"), *avere il diavolo dalla sua* (букв. "иметь дьявола на своей стороне — быть счастливчиком"). С дьяволом ассоциируются такие качества, как злость, неприятности, лицемерие, шум, беспорядок и проч. Следует отметить, что в Фразеологическом словаре русского языка под редакцией Молоткова приводится 19 фразеологизмов со словом *черт*, в то время как в итальянско-русском фразеологическом словаре приводится 119 итальянских единиц с этим словом.

Крестьянский труд, крестьяне в итальянском и русском языках с точки зрения психологической характеристики имеют общие черты: *Fine come la suola d'un contadino*

(букв. "тонкий, как подошва у крестьянина"); *discrezione dei contadini* (букв. "деликатность крестьянина", значение — "отсутствие деликатности"); *Fare come quel contadino che portò il cacio al padrone* (букв. "сделать, как тот крестьянин, который давал сыр хозяину", означает — "одной рукой давать, а другой забирать"); *contadini e montanini scarpe grosse cervelli fini* (букв. "у крестьян и у горцев сапоги грубые, а ум тонкий").

Управляющий имением предстает в итальянских идиомах и пословицах прежде всего как человек вороватый: *Più ladro del fattore maremmano* (букв. "еще больший вор, чем управляющий имением в Маремме". Маремма когда-то была наиболее глухой и лесистой частью Италии); *Fammi fattore un anno se sarò povero mio danno* (букв. "сделай меня управляющим имением на год, если я останусь бедняком — моя вина"); *Fattore nuovo tre di buono* (букв. "новый управляющий имением только три дня добрый").

Итальянский священник, впрочем, как и русский поп, часто становится мишенью для критики: *Fare come i preti che dicono sempre a me e mai agli altri* (*a me* — игра слов мне и аминь — *amen*; букв. "поступать как священники, которые всегда говорят мне и никогда другим"); Жадность отмечается и в другой фразеологической единице: *Date da vere al prete che il chierico (il sagrestano) ha sete* (букв. "дайте выпить священнику, у дякона жажда"). Священнику приписывается также любовь сладко поест: *Boccone (Bocconcino) da prete* (букв. "кусочек для священника", значение — "лакомый кусочек").

Известно, что в Италии издавна были популярными профессии врача и юриста. Однако идиоматика свидетельствует о том, что иногда квалификация врача вызывала сомнение. Например, *Medico dei miei stivali (dei miei corbelli, dell'acqua dolce)* (букв. "врач моих сапог, моих корзин, пресной воды", значение — "горе-врач"); *Medico, cura te stesso* (букв. "доктор, излечись сам"); *Medico giovine fa la gobba al cimitero* (букв. "из-за молодых врачей растут горбы на кладбище") и ряд других. Что касается юристов, то к ним относились более почтительно: *Parlare come un avvocato* (букв. "говорить как адвокат", значение — "говорить красиво").

ОТРАЖЕНИЕ В СЛОВАРЕ КУЛЬТУРНОЙ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ИДИОМАХ

При работе над словарем часто возникает вопрос, следует ли записывать информацию, которую могут дать идиомы, в связи с отражением в них культуры быта и общения, иерархий ценностей и человеческих отношений. Ответ на этот вопрос не может быть однозначным, так как он зависит от объема словаря и от того, для кого он предназначен, кто будет им пользоваться. Однако разработка такого параметра представляет несомненный интерес, поскольку эти сведения могут не только расширить представления пользователя об идиоматике того или иного языка, но и внести определенный вклад в изучение цивилизации и культуры народов, отраженной в языке. Одним из вариантов отражения во фразеологическом словаре культурного компонента может служить введение этой информации в макет словарной статьи, предложенный разработчиками автоматического толково-идеографического словаря идиом (АТИСИ) под руководством В.Н. Телия [Телия и др. 1991].

Как нам представляется, основная информация, связанная с культурным компонентом значения, содержится во внутренней форме идиомы [Гак 1988] и тесно связана с параметром денотации [Телия 1991]. Понятие внутренней формы, введенное А.А. Потемной [Потемня 1892], получило затем свое развитие в конце двадцатых и в тридцатых годах нашего века в работах филологов, занимавшихся поэтической речью [Ларин 1927; Винокур 1990]. Работа Г.О. Винокура была написана в тридцатые годы, но впервые опубликована после его смерти, только в 1990 году. Винокур писал: «Основная особенность поэтического языка как особой языковой функции как раз в

том и заключается, что это "более широкое" или "более далекое" содержание не имеет своей собственной раздельной звуковой формы, а пользуется вместо нее формой другого, более буквально понимаемого содержания. Таким образом формой здесь служит содержание. Одно содержание, выражающееся в звуковой форме, служит формой другого содержания, не имеющего особого звукового выражения. Вот почему такую форму часто называют внутренней формой» [Винокур 1990: 143]. Шапир в комментариях к цитированной книге Г.О. Винокура пишет: "... внутренняя форма есть отношение трех одновременно актуальных семиотических систем: денотативной (прямое значение), коннотативной (поэтическое значение) и метаязыковой (рефлективное значение)" [Винокур 1990: 327].

Разумеется, не все фразеологизмы, особенно находящиеся на переломе истории, обладают мотивированной внутренней формой и не всякая внутренняя форма позволяет делать выводы об отдельных особенностях материальной или духовной культуры того или иного языкового коллектива. Однако анализ информации, содержащейся как на более абстрактном, так и на конкретном уровне, помогает понять наивное представление о мире народа, говорящего на данном языке, и некоторые черты его национального характера.

Рассмотрим достаточно широко известные в русском языке идиомы с дефиницией "умереть" 1) *закрывать глаза (навеки)*; 2) *уснуть вечным сном*; 3) *уйти в мир иной*; 4) *уйти на тот свет*; 5) *приказать долго жить*; 6) *откинуть копыта*; 7) *сыграть в ящик*; 8) *дать дуба*; 9) *протянуть ноги*; 10) *отправиться кормить червей* и др. Все перечисленные идиомы дают некоторое культурно-национальное представление о смерти и об отношении к ней в различных кругах русского социума. Идиома 1, 6, 9 указывают на внешние признаки смерти, но маркированно-стилистически. Сам факт употребления слова *копыта* указывает на неуважение к покойному со стороны говорящего. Примеры 3 и 4 свидетельствуют о наивной вере в загробную жизнь или о знакомстве с христианской доктриной. Примеры 2 и 5 основаны на эвфемизмах [Galli de' Paratesi 1969]. Пример 5, кроме того, имеет определенную социально-стилистическую окраску. Примеры 7, 8 и 9 маркированы стилистически, они несут стилистическую помету "груб." и указывают на равнодушное или даже недоброжелательное отношение к покойному со стороны говорящего. Что касается последнего примера (10), то здесь еще есть упоминание о погребении в землю.

Если сравнить русские идиомы с дефиницией "умереть" с итальянскими с той же дефиницией, то, наряду с некоторым сходством представления о смерти у этих двух языковых коллективов, мы обнаружим информацию, относящуюся только к носителям итальянского языка. Например, *pagare l'obolo a Caronte* (букв. "заплатить дань Харону"); *andare a quel paese* или *andare a (al) casa del diavolo* (букв. "отправиться в ту самую страну или туда, где дьявол живет"). Приведенные идиомы свидетельствуют о знакомстве с Библией, а также о достаточно фамильярных отношениях с дьяволом. Разумеется, приведенные примеры это лишь намек на возможные разыскания в этой области [Черданцева 1988а].

Рассмотрим довольно интересные примеры итальянских идиом с общей дефиницией: подходит один к другому: 1) *essere (capitare, venire) come il cacio sui maccheroni* (букв. "быть как сыр к макаронам"); 2) *cascar l'olive nel paniere* (букв. "оливки сами прыгают в корзину"); 3) *essere come il culo e la sedia* (букв. "быть как зад и стул"); 4) *essere la scarpa per il proprio piede* (букв. "быть туфлем, подходящим к ноге"). Приведенные идиомы дают нам довольно любопытную информацию о выборе стереотипов, о любимых блюдах и т.п. Очевидно, что искать русские эквиваленты следует с помощью общей для любых языков дефиниции, поскольку приведенные здесь идиомы отражают культурно-национальную специфику, которая очень редко может совпасть в разных языках.

Идиомы, основанные на сравнении человека с животным не так часто совпадают в разных языках, как это может показаться на первый взгляд. Приведем только

примеры итальянских идиом со словом *asino* осел, который в русском языковом коллективе воспринимается как символ глупости и упрямства: 1) *far conto cheagli asino* (букв. "обращать внимание на крик осла", дефиниция: "обращать внимание на мелочи, на ничего незначащие вещи" (идиома восходит к пословице: *Il raglio dell' asino non arriva al cielo*, букв. "крик осла не слышат на небе"); 2) *Essere l'asina di Balaam* (букв. "Валаамова ослица", источник — Библия, символ упрямства, сохраняется во многих языках с этим значением); 3) *Lavare la testa all' asino* (букв. "мыть голову ослу", дефиниция — "не достигнуть желаемого результата", она является общей и для другой идиомы: *dere la biada all' asino*, букв. "кормить осла овсом"); 4) *Fare come l' asino che porta vino e beve l' acqua* (букв. "вести себя как осел, который везет вино, а пьет воду", дефиниция: "заботиться больше о других, чем о себе"); 5) *cercare l' asino e esserci sopra* (букв. "искать осла, сидя на нем", дефиниция — "быть рассеянным"); 6) *Dare il calcio dell' asino* ("дать пинок осла", дефиниция — "быть неблагодарным"); 7) *Disputare dell' ombra dell' asino* (букв. "спорить о тени осла", дефиниция — "спорить о пустяках"; 8) *Essere come l' asino alla lira* (букв. "вести себя как осел, слушающий игру на лире", дефиниция — "не понимать в искусстве". Идиома восходит к басне Федра); 9) *Essere come il trotto dell' asino* (букв. "быть как галоп осла", дефиниция — "быть недолговечным"); 10) *Arare col bue e coll' asino* (букв. "пахать и на быке и на осле", дефиниция — "любить всех женщин подряд, быть похотливым"). Прежде всего отметим, что даже несколько приведенных примеров указывают на доскональное знание повадок осла и его характера носителями итальянского языка. Образ осла и его сходство с человеком дополняется цитациями из Библии и из басен. Кроме того, осел почти во всех идиомах предстает как животное ничтожное и сравнение с ним человеку обидно. Осел упрям (пример 2), нерешителен (пример 3), слишком покорен (пример 5) и даже подл (пример 6). Похотливость человека также косвенно связывается с ослом (пример 10). В русском языке сравнений человека с ослом немного, да и они подчас заимствованы из других языков, что несомненно объясняется месторазвитием (термин Милюкова) и климатом.

Приведенные примеры показывают, что внутренняя форма идиомы, которая весьма часто совпадает с суммой значений слов, превратившихся в компоненты идиомы, лежит в основе образа, а, следовательно, и образной мотивированности; возможно они недостаточно убедительны. Однако наличие таких сведений, в большем или меньшем объеме, может представлять интерес для выяснения языковой картины мира и ее видение народом, говорящим на этом языке. Исследованный материал наглядно показывает, что универсальность в идиоматике выражается через дефиницию (дискриптор), особенность, индивидуальность и, конкретно, выбор стереотипов — через образную внутреннюю форму. При этом, и то, и другое полностью, или частично, находит свое отражение в понятии культурная информация*.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Амосова Н.Н. 1963 — Основы английской фразеологии. Л., 1963.
 Винокур Г.О. 1990 — Филологические исследования. М., 1990.
 Гак В.Г. 1988 — Фразеология, образность и культура // Советская лексикография, М., 1988.
 Гак В.Г. 1983 — Сравнительная типология французского и русского языков. М., 1983.
 Гезель Г. 1970 — Кто мыслит абстрактно? // Работы разных лет. М., 1970.
 Добровольский Д.О. 1990 — Типология идиом // Фразеология в машинном фонде русского языка. М., 1990.
 Ларин П.Н. 1927 — Семантические этюды. О лирике как разновидности художественной речи // Русская речь. Новая серия. Вып. 1. Л., 1927.
 Милюков П.Н. 1993 — Очерки по истории русской культуры. Т. I. М., 1993.
 Потебня А.А. 1982 — Мысль и язык. Харьков, 1982.
 Роль... 1987 — Роль человеческого фактора в языке. Язык и картина мира. М., 1987.

*Работа выполнена при поддержке гранта OSI/RSS.

- Телия В.Н.* 1990 — Семантика идиом в функционально-параметрическом отображении // Фразеография в машинном фонде русского языка. М., 1990.
- Телия В.Н.* 1991 — Макет словарной статьи для автоматизированного толково-идеографического словаря идиом (АТИСИ): технология и идеология // Макет словарной статьи для автоматизированного толково-идеографического словаря русских фразеологизмов. Образцы словарных статей. М., 1991.
- Черданцева Т. З.* 1977 — Язык и его образы. М., 1977.
- Черданцева Т. З.* 1988 — Метафора и символ во фразеологических единицах // Метафора в языке и тексте. М., 1988.
- Черданцева Т. З.* 1988а — Внутренняя форма идиом и национально-культурная специфика их мотивированности (сопоставительный аспект описания) // Лексикографическая разработка фразеологизмов для словарей различных типов и для машинного фонда русского языка. М., 1988.
- Черданцева Т. З.* 1990 — Прагматика и семантика идиом // *Res Philologica*. Фразеологические исследования. М., 1990.
- Alinei V.* 1984. *Dal totemismo al cristianesimo popolare. Sviluppi semantici dei dialetti italiani ed europei.* Torino, 1984.
- Avalle D'Arco S.* 1940 — "Note sulle leggende germaniche" raccolte da Avalle d'Arco Silvio. Torino, 1972.
- Bally Ch.* 1940 — Sur la motivation des signes linguistiques // *Bulletin de la Société de linguistique de Paris*. Т. 41, Fas. 1, 21. P., 1940.
- Chafe W.L.* 1971 — *Meaning and the structure of language.* The University of Chicago Press. Chicago; London, 1971.
- Florenskiy Pavel A.* 1989 — *Attualità della parola. La lingua tra scienza e mito.* Milano, 1989.
- Galli de' Paratesi N.* 1969 — *Le brutte parole. Semantica dell'eufemismo.* Milano, 1969.
- Halliday M.A.K.* 1987 — *Il linguaggio come semiotica sociale. Un'interpretazione sociale del linguaggio e del significato.* Bologna, 1987.
- Lacoff G., Jonson M.* 1985 — *Les métaphores dans la vie quotidienne.* P., 1985.
- Saussure F.* 1988 — *Le leggende germaniche. Scritti scelti e annotati a cura di Anna Marinetti e Marcello Meli.* Firenze, 1988.

ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ

- Толковый словарь русского языка / Под ред. проф. Д.Н. Ушакова. М., 1957—1951. Т. 1—4.
- Фразеологический словарь русского языка / Под ред. А.И. Молоткова. М., 1967.
- Черданцева Т.З. Рецкер Я.И., Зорько Г.В.* Итальянско-русский фразеологический словарь. М., 1982.
- Arrighi C.* *Dizionario milanese italiano col repertorio italiano milanese.* Milano, 1970.
- Diadori P.* *Senza parole. 100 gesti degli italiani.* Roma, 1990.
- Giusti G.* *Raccolta di proverbi toscani.* Firenze, 1853.
- Lapucci C.* *Dizionario dei modi di dire della lingua italiana.* Firenze, 1990.

© 1996 г. Д.О. ДОБРОВОЛЬСКИЙ

ОБРАЗНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ В СЕМАНТИКЕ ИДИОМ*

Известно, что концепт небезразличен к своей языковой манифестации. Поэтому, если в языке существует ряд идиом, по-разному выражающих один и тот же концепт (ср., например, такие понятия, как "страх", "гнев/ярость", "радость", "страдание", "смерть", "бедность", имеющие разнообразные формы выражения в идиоматике многих европейских языков), то есть основания считать, что мы всякий раз имеем дело не с тождественным самому себе концептом, а с разными концептуальными вариантами и соответственно с разными семантическими структурами. Так, например, страх, от которого *в жилах стынет кровь*, отличается от страха, от которого *дрожат колени*. Поскольку для идиом в большинстве случаев характерно наличие более или менее живой внутренней формы, то при описании их значения целесообразно наряду с прочими компонентами плана содержания принимать во внимание и образную составляющую.

Ниже приводятся некоторые соображения относительно природы образной составляющей и ее реально наблюдаемых лингвистических следствий.

1. ОБРАЗНОСТЬ ИДИОМ В КОГНИТИВНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ

1.0. Различные точки зрения на природу образности, ее когнитивный статус и роль в понимании идиом, высказываемые в работах, основанных на экспериментально-психологических методах, принципиально сводимы к двум конкурирующим концепциям, первая из которых может быть названа "концептуально-метафорической гипотезой", а вторая – "гипотезой интерференции".

1.1. "Концептуально-метафорическая гипотеза" ассоциируется в первую очередь с работами Р. Гиббса и его коллег [Gibbs, 1990; 1993; Gibbs, O'Brien 1990; Nayak, Gibbs 1990]. Суть этой гипотезы сводится к следующему. Образная мотивация идиом основывается не на конкретных визуальных представлениях, спровоцированных буквальным прочтением соответствующей идиомы, а на достаточно абстрактных способах интерпретации одних сущностей в терминах других, например, СОЗНАНИЕ – ЭТО КОНТЕЙНЕР, ЯРОСТЬ – ЭТО ЖАРА, ЛЮБОВЬ – ЭТО ПУТЕШЕСТВИЕ и т.п. [Lakoff, Johnson 1980; Kövecses 1986; Lakoff 1987; 1993]. Эти способы интерпретации зафиксированы в языке и являются частью мировосприятия данного языкового и культурного сообщества. Р. Гиббс называет их, вслед за Дж. Лакоффом, "концептуальными метафорами" (conceptual metaphors). Более удачным, однако, представляется термин "метафорическая модель" (ср. [Баранов, Караулов 1994]), которым мы и будем пользоваться в дальнейшем изложении.

* Данная работа частично выполнена во время пребывания автора на кафедре проф. Й. Матешича в Мангеймском университете в качестве стипендиата Фонда А. Гумбольдта. Автор благодарит Фонд и проф. Й. Матешича за прекрасные условия работы. Автор выражает глубокую признательность акад. Ю.Д. Апресяну и участникам его семинара, на котором был обсужден доклад, легший в основу этой статьи.

Согласно Р. Гиббсу, английские идиомы *spill the beans* и *let the cat out of the bag* обладают идентичной образной составляющей. Интерпретация и той и другой идиомы основана на одновременной активации двух метафорических моделей: СОЗНАНИЕ – ЭТО КОНТЕЙНЕР и ИДЕИ – ЭТО ФИЗИЧЕСКИЕ СУЩНОСТИ (MINDS IS A CONTAINER and IDEAS ARE PHYSICAL ENTITIES). В пользу подобной интерпретации говорят результаты проведенных экспериментов, основанных на методе прямого опроса, что позволило квалифицировать идиомы типа *spill the beans* и *let the cat out of the bag* как полные синонимы со значением "to reveal a secret" ("раскрыть секрет; сделать известными другим лицам некие факты, которые предполагалось держать в секрете от этих лиц") [Gibbs 1990: 432–433].

При всей кажущейся убедительности экспериментальных данных концепция Гиббса не дает возможности описать некоторые интуитивно ощущаемые семантические различия между близкими по значению идиомами. Являются ли, например идиомы *spill the beans*, *let the cat out of the bag*, *blow the lid off* действительно полными синонимами? С точки зрения "концептуально-метафорической гипотезы" на этот вопрос должен быть дан утвердительный ответ, однако это вступает в противоречие с языковой интуицией, на что указывает сам Р. Гиббс [Gibbs 1990: 421]. *Spill the beans* используется в ситуациях, когда агент раскрывает личные секреты какого-либо другого лица, а *blow the lid off* скорее может использоваться в ситуациях, когда речь идет о разоблачении секретов, связанных, к примеру, с коррупцией. В рамках "концептуально-метафорической гипотезы" эти факты не находят объяснения.

Различия в употреблении данных идиом основываются на специфике образной составляющей их значения. *Blow the lid off* активировывает в сознании представление о кипящем котле, закрытом крышкой. Открывание крышки соответствует по логике взаимодействия области источника и области цели (source domain и target domain по Дж. Лакоффу [Lakoff 1987]) идее намеренного предоставления доступа к секретной информации. Тот, кому удастся заглянуть в котел, получает информацию о процессах и событиях, скрытых от наблюдения в стандартной ситуации. Такая интерпретация поддерживается традиционным сопоставлением не предназначенных для широкой огласки действий (часто носящих вспомогательный, инструментальный характер) с кухней. Ср. *кухня писателя*, *политическая/театральная кухня* и т.п. *Spill the beans*, вызывая в сознании представление о рассыпанной фасоли, соответствует идее случайного, непреднамеренного выбалтывания секретов. В отличие от приоткрывания контейнера, предполагающего активную роль наблюдателя (*blow the lid off*), нечаянное обнаружение содержимого контейнера (*spill the beans*) навязывает участникам ситуации (агенту и адресату) несколько иные роли. Другими словами, эти идиомы активировывают разные исходные фреймы, что влечет за собой различия в результирующих фреймах, т.е. структуры знаний, лежащие в основе семантики этих идиом, неидентичны [Баранов, Добровольский 1990].

1.2. "Гипотеза интерференции" [Cacciari, Glucksberg 1991; Cacciari, Rumiatì, Glucksberg 1992] предлагает иной, во многом противоположный, взгляд на зафиксированные в идиомах образы. Основной постулат этой концепции заключается в следующем: идиомы вызывают в сознании образы, которые базируются исключительно на прямых вызывающих компонентах соответствующих идиоматических выражений (ср. сходные наблюдения в работах [Simpson 1981; Tabossi 1988; Rayner, Frazier 1989]). Эти образы не зависят ни от метафорических моделей, ни от актуального значения идиомы. Более того, они могут вступать в явные противоречия с актуальным значением (отсюда и название "гипотеза интерференции").

В статье К. Каччари, Р.И. Румиати и С. Глаксберга [Cacciari, Rumiatì, Glucksberg 1992] описана серия экспериментов, проведенных с целью верификации этой гипотезы. На первой стадии эксперимента ставилась задача получить идиом, гетерогенные по двум независимым параметрам: (а) по степени употребительности и (б) по степени семантической прозрачности. В соответствии с традиционными пред-

ставлениями о природе образной мотивации можно ожидать, что семантически прозрачные идиомы скорее интерпретируются через прямые значения компонентов, особенно если эти идиомы малоупотребительны и нуждаются в более сознательном осмыслении. С другой стороны, логично предположить, что употребительные семантически непрозрачные идиомы не должны вызывать образов, базирующихся на прямых значениях компонентов, поскольку в этом случае более коротким и когнитивно рациональным способом их понимания является непосредственное обращение к актуальному значению.

В результате опроса испытуемых, проведенного на второй стадии эксперимента, выяснилось, что вопреки этим ожиданиям образы, провоцируемые идиомами, в подавляющем большинстве случаев базируются на прямых значениях компонентов. Причем ни степень семантической прозрачности, ни степень употребительности идиомы не оказывает заметного влияния на характер образных представлений.

При анализе этих результатов с лингвистической точки зрения возникает ряд вопросов, обсуждение которых может оказаться полезным для уточнения характера образной составляющей и ее статуса в плане содержания идиом. Наиболее существенным в связи с этим представляется вопрос, насколько полученные результаты лингвистически релевантны. Не обсуждая здесь адекватность использованных экспериментальных методик, заметим, что полученные результаты свидетельствуют лишь о том, что те или иные конкретные носители языка связывают с определенными идиомами те или иные образные представления. Можно предположить, что образные представления как собственно ментальный феномен являются сугубо индивидуальными и в принципе не подлежат обобщению, а, следовательно, и лингвистической интерпретации. Для лингвистического описания семантики идиом интересны, по-видимому, лишь те элементы ментального образа, которые находят языковое выражение (чаще всего в виде определенных ограничений на сочетаемость и/или ситуативных ограничений).

1.3. Образный потенциал идиомы – это, по-видимому, более комплексный и разносторонний феномен, чем то, что следует понимать под языковым образом или внутренней формой лексической единицы в лингвистических исследованиях. При актуализации идиомы перед мысленным взором говорящих могут возникать квазивизуальные образы, которые в определенных условиях (ср. ситуацию экспериментального опроса) могут ими сознательно описываться и истолковываться и которые, как правило, никак не связаны с актуальным значением соответствующих идиом. Более того, проведенные нами в 1992–1994 гг. фрагментарные опросы носителей немецкого языка показали, что при восприятии определенных идиом в памяти возникает не лежащий в их основе образ, а ситуация, в которой опрошенные впервые услышали данную идиому. Следовательно, вызываемые идиомами квазивизуальные ассоциации могут быть вообще не связаны ни с прямыми значениями компонентов, как утверждает "гипотеза интерференции", ни с метафорическими моделями, как это следует из "концептуально-метафорической гипотезы".

Независимо от этих квазивизуальных представлений в языковой интуиции за каждой мотивированной идиомой закреплено некое знание, выводимое из исходной концептуальной структуры и, как правило, не регистрируемое сознанием (ср. понятие "образно-схематической структуры" в теории метафоры Дж. Лакоффа [Lakoff 1993]). Актуальное значение идиомы, понимание как образовавшаяся в результате метафорического или реже метонимического переноса семантическая структура, наследует и инкорпорирует определенные черты исходного фрейма или сценария. Так, идиома *носить воду решетом* означает не просто 'делать что-либо заведомо впустую, без результата' [ФСРЯ 1986; СФСРЯ 1987], а 'заниматься какой-либо целенаправленной деятельностью, используя совершенно не подходящие для достижения этих целей средства, что с необходимостью приводит к неудаче'. Ср. для контраста идиому *переливать из пустого в порожнее*, к которой это толкование неприменимо. С семантической точки зрения совершенно несущест-

венно, какую воду и какое решето представляют себе при этом те или иные носители русского языка и представляют ли они себе что-либо вообще. Важно общее для всех знание о том, что решето является непригодным для ношения воды инструментом (см. подробнее [Добровольский 1988]). Активируясь идиомой, это знание обеспечивает когнитивную базу для естественного языкового вывода и входит в план содержания данной идиомы. Речь идет, следовательно, не о квазивизуальных представлениях, а об операциях над знанием.

Роль когнитивных следов исходного смысла в плане содержания идиомы может быть различной и зависит от степени ее семантической прозрачности. Наибольший интерес для семантического анализа представляют, по-видимому, те случаи, в которых связь актуального значения с исходным фреймом не является самоочевидной, так что ее отражение в структуре толкования носит нетривиальный характер.

Заметим, что в данной статье не ставится вопрос о способах фиксации образной составляющей в структуре толкования (соответственно представленная выше парафраза имеет чисто рабочий характер). Этот вопрос заслуживает отдельного обсуждения. Его решение зависит в конечном итоге от семантической теории, в рамках которой формулируются толкования, от требований, предъявляемых к метаязыку. Ср. связи с этим сформулированное И.А. Мельчуком и Т. Ройтером толкование немецкой идиомы *etw. (nicht) übers Herz bringen können*, которое содержит экспликацию символического потенциала "сердца" и его семантических следствий [Mel'čuk, Reuther 1984], или предложенный в [Телия 1991] подход к описанию значения ряда русских идиом, который допускает прямую отсылку к внутренней форме, вводимую оператором "представь себе". Не исключено, что для разных типов идиом целесообразно искать разные способы описания образного компонента значения.

Для целей данной статьи важно лишь указать на существенные характеристики образной составляющей: независимо от того, как она фиксируется в структуре толкования и фиксируется ли вообще (ср. представление идиом в традиционных словарях), образная составляющая является частью плана содержания идиомы (как, впрочем, и слов с метафорическим значением)¹. Доказательством этого положения могут служить нетривиальные семантические эффекты, обусловленные спецификой образа. Покажем это на примере. Значение английской идиомы *fall off the back of a lorry* ("выпасть из кузова грузовика") описывается в [Longman 1979] как "to be stolen" ("быть украденным"). Между тем наблюдения за употреблением этой идиомы показывают, что сфера ее функционирования строго ограничена, причем эти ограничения выводимы из образа.

Идиома *fall off the back of a lorry* употребляется в ситуации, когда речь идет о продаваемых (как правило, на улице) товарах, неправдоподобно низкая цена которых вызывает подозрения в том, что они были украдены или закуплены по нелегальным каналам. Ср. пример из [Longman 1979]: *these watches were so cheap I think they fell off the back of a lorry* ("эти часы были настолько дешевы, что я подумал, уж не ворованный ли это товар"). Естественного языкового вывода обеспечивается за счет использования своего рода нестандартной эвфемистической замены. Реализуемый при этом ход рассуждений может быть описан примерно следующим образом. Столь низкая цена может объясняться двумя причинами: либо товар украден, либо он выпал из кузова грузовика при транспортировке, а продавец подобрал его на дороге. Хотя явно имеется в виду первое, ситуация описывается таким образом, как если бы имело место второе, что обеспечивает дополнительный юмористический эффект.

Особенности употребления этой идиомы базируются не на визуальном образе грузовика или выпавшего из его кузова предмета и не на метафорической

¹ На тот факт, что метафорический компонент является частью семантической структуры ряда слов (в частности слов, обозначающих эмоции), указано в [В.Ю. Апресян, Ю.Д. Апресян 1993], где предложены также соответствующие толкования.

модели, увязывающей область источника ("контейнер") с областью цели ("кража"), а на достаточно комплексных операциях над "обыденным" знанием, отправной точкой которых является буквальное прочтение идиомы.

С теоретической точки зрения интересна ставшая очевидной в результате анализа когнитивно-психологических концепций фразеологии возможность рассмотрения и описания ментальных образов на трех различных уровнях:

- (i) на уровне индивидуальных квазивизуальных образных представлений;
- (ii) на уровне (бессознательного) учета следов буквального прочтения идиомы при ее употреблении;
- (iii) на уровне абстрактных отношений между областью источника и областью цели.

Эта трехуровневая модель объясняет, почему в рамках рассмотренных в 1.1. и 1.2. концепций были получены столь различные результаты. "Гипотеза интерференции" ориентирована на уровень (i), а "концептуально-метафорическая гипотеза" – преимущественно на уровень (iii). Интересно, что обе концепции оставили без внимания промежуточный уровень (ii), который представляется базовым с точки зрения лингвистических аспектов образности.

2. СПЕЦИФИКА ОБРАЗА И СЕМАНТИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ

2.0. На основе изложенных в предыдущем разделе соображений могут быть сформулированы некоторые гипотезы относительно природы образной составляющей в значении идиом:

– образная составляющая основана не на квазивизуальных представлениях, а на знании и операциях над ним;

– семантически релевантные особенности образа проявляются на среднем уровне абстракции, ориентированном на "обыденные знания" (ср. популярную в семантике прототипов идею базового уровня категоризации как основы наивной концептуализации мира);

– эти знания служат не только основой формирования актуального значения идиомы, но наследуются им и существуют (часто в виде свернутых концептуальных структур) как его часть, что и позволяет говорить об образной составляющей в значении идиом;

– образная составляющая выполняет функции модификатора соответствующего концепта, позволяя осуществлять семантическую дифференциацию внутри поля по несколько иным основаниям, чем это возможно с помощью слов в прямых значениях (в отличие от однословных метафор, которые в этом отношении не обнаруживают принципиальных отличий от идиом); в этой дифференцирующей функции, по-видимому, следует искать причину существования в языке большого количества близких по значению идиом;

– наличие образной составляющей в плане содержания проявляется в различного рода сочетаемостных и/или ситуативных ограничениях, описание которых может служить диагностическим инструментом: там, где нет различий в употреблении, нет и лингвистически релевантных различий в образной составляющей².

В этом разделе нас будут занимать прежде всего две последние из перечисленных гипотез. Если они верны, то идиомы одного семантического поля с разными образными составляющими должны по-разному вести себя в речи.

Для проверки этого предположения обратимся к идиомам поля "порицание/наказание" и попытаемся на примерах проследить за особенностями их употребления³.

² Заметим, что обратное неверно, так как различия в употреблении могут быть обусловлены и другими причинами.

³ При подготовке статьи использовалась база данных по современной русской идиоматике, разработанная в отделе экспериментальной лексикографии Института русского языка РАН.

2.1. Идиомы "порицания/наказания": образ и актуальное значение

2.1.1. Идиома *вызвать на ковер* употребляется исключительно в ситуациях, когда речь идет о достаточно высоко начальнике, предлагающем подчиненному явиться для получения вербального порицания за ошибки и просчеты в работе. Подчиненный вызывается для этих целей в соответствующую инстанцию (типа министерства, ведомства высокого ранга, дирекции), ср. пример (1–3). Вполне возможной представляется ситуация, в которой статусные различия между агенсом и пациенсом настолько велики, что первый может быть лично не знаком с последним. Важно, что оба участника ситуации принадлежат к одной и той же профессиональной сфере, занимаая определенные места в единой иерархии.

(1) "Допустим, лейтенант КГБ ловит валютную проститутку. А она оказывается капитаном КГБ. И вместо ареста проститутку лейтенанта самого *вызывают на ковер*, где только что давала полковнику (отчет) красивая и злая капитан". [А. Минкин. "Столица"]

(2) "Тут все понеслось, закрутилось, собственное начальство *вызывает на ковер*... а опытные да тертые нашептывают: повинись ..., не то вылетишь на улицу." ["Столица"]

(3) «В начале июня прошлого года генерал Попов объявил личному составу Главного следственного управления МВД СССР, что 12 июня – день выборов президента – в министерстве будет рабочим днем. 12 июня в следственной части не вышли на работу лишь три сотрудника: подполковник Савченко, подполковник Поляков и капитан Герасимов. На следующий день генерал Попов *вызвал* Савченко *"на ковер"*, обвинил его в нарушении присяги, назвал *"антикоммунистом"* и *"психически больным"*» ["Столица"]

Заметим, что не все семантические отличия данной идиомы от других идиом поля *"порицания/наказания"* выводимы из особенностей образа. Так, наличие семантического компонента 'предложить явиться' мотивируется скорее значением глагола *вызвать*, чем образом в целом. С другой стороны, очевидно, что образная составляющая играет определенную роль в спецификации статусных отношений между участниками ситуации. Независимо от этимологии идиомы (которая, как это часто бывает во фразеологии, достаточно спорна) *ковер* прочитывается сегодня как атрибут начальственного кабинета и вызывает ассоциации, накладывающие соответствующие ограничения на употребление.

2.1.2. Идиома *снять голову* вызывает представление о совершенно ином виде порицания/наказания, ср. невозможность ее подстановки ни в один из контекстов (1–3). В ее плане содержания присутствуют следы образа казни. *Снять голову* может только некто, облеченный властью, некто, кому дано право казнить и миловать. В отличие от *вызвать на ковер*, в основе значения этой идиомы лежит не идея вербального порицания, связанного с неприятным для пациента вызовом в кабинет начальника, а идея очень серьезного санкционированного наказания, реализация которого не предполагает обязательный личный контакт агенса и пациенса (т.е. агенс может действовать через посредников-исполнителей), что подтверждается предпочтительностью неопределенно-личных форм типа *С меня за это голову снимут*. Если в *вызове на ковер* присутствует интенция исправить поведение пациенса, то *снятие головы* имеет целью прежде всего наказать его.

(4) "Александр Иванович, не соблазняйте, с меня *голову снимут!*" [Викт. Ерофеев. Трехглавое детище]

(5) "– Но без храпа, – Убей-Папу умоляюще посмотрел на Дьякова, – скажите ему. За храп с меня *голову снимут.*" [Л. Мончинский. Черная свеча]

(6) «"Да с меня же *голову снимут*, условно-досрочное освобождение на носу, все заслуги перечеркнул, – жаловался начальник штаба» [В. Делоне. Портреты в колючей раме]

Примеры, показывают, что наиболее предпочтительным является употребление идиомы в контекстах опасения, а не угрозы, как это утверждается в [ШФСРЯ 1989]. Причем нежелательность употребления идиомы в речевых актах угрозы (ср. ? *Я с тебя голову сниму* при норме *Я тебе голову оторву* – см. 2.1.3.) мотивирована базирующейся на образе идей санкционированности наказания и дистантности личных сфер агенса и пациента. По-видимому, образная составляющая вызывает представление не столь серьезном наказании, что более естественным оказывается употребление идиомы в характерных для контекстов опасения формах гипотетического будущего времени. Эта идиома практически не употребляется в прошедшем времени: ?? *С него сняли голову* (ср., однако, *Его вызвали на ковер*).

2.1.3. Несмотря на кажущуюся близость идиом *снять голову* и *оторвать голову*, между ними обнаруживаются достаточно существенные различия, восходящие к нетождественности образной составляющей. Если понимать образ не как визуальное представление об отделении головы от туловища, а как активацию релевантного фрейма, то становится очевидным, что *отрывание головы* и *снятие головы* должны рассматриваться как элементы разных концептуальных структур. Косвенным подтверждением этого является различие в моделях управления этих идиом: *снять голову с кого - либо* vs. *оторвать голову кому - либо*. Образная составляющая идиомы *оторвать голову* связана не с идеей казни, а с гипертрофированным представлением о нанесении телесных повреждений (не исключающих элементы физической борьбы между участниками ситуации), когда агент наказывает пациента не официально данной ему властью, а по праву сильного и/или старшего.

(7) «"Москвич! За что такая честь! Ты кто – блатной или активист? За что сидишь?" – загудел барак. "Кончай базар, – заорал бугор, – к новичку никаких вопросов. За что надо, за то и сидит. Спите, гады. А ты смотри, помалкивай, не то голову оторву," – отнесся он ко мне» [В. Делоне. Портреты в колючей раме]

Идиома *оторвать голову* оказывается по образному основанию ближе таким выражениям, как *вырвать/выдрать ноги* или *уши оборвать*, чем идиоме *снять голову*. (Все эти идиомы совпадают и по модели управления.) Образ нанесения телесных увечий в целях наказания исключает ситуацию, участники которой находятся в формальных отношениях. Ср. естественность употребления идиомы *уши оборвать* по отношению к детям, а также угрозу, адресуемую мужем своей жене, из известной песни В. Высоцкого:

(8) "С агрономом не гуляй – ноги выдерну / Можешь раза два пройтись с председателем." [В. Высоцкий. Два письма]

В противоположность выражению *снять голову*, для идиом этого типа наиболее предпочтительными оказываются контексты угрозы, что мотивировано неформальными отношениями между участниками ситуации. Если безлично-санкционированное наказание исключает контексты угрозы, в которых могут употребляться идиоматические выражения, то для людей, находящихся в едином "жизненном пространстве", естественно предположить собственно наказанию неформальную, часто шутливую, угрозу.

Интересно, что для этой группы идиом также нехарактерны формы прошедшего времени. ?? *Он оторвал ему голову/оборвал уши/вырвал ноги*. Употребление идиомы в прошедшем времени как бы переводит ее в буквальный план. Уместная в контексте неформальной угрозы сюрреалистичность образа, работающая на усиление идлокуции, оказывается неуместной в описательных контекстах. В пользу этой аргументации говорит также тот факт, что семантически наиболее близкие этим выражениям идиомы с менее ярким образом *задать перцу*, *задать на орехи*, *разделить под орех* допускают употребление в прошедшем времени.

Здесь, как и везде, речь идет лишь о тех значениях анализируемых идиом, которые являются элементами поля "порицания/наказания". Большинство из рассматриваемых

идиом многозначны (в ряде случаев можно даже говорить о регулярной полисемии – ср. идиомы типа *дать жизни, намылить шею* в значении физического и нефизического воздействия) [СФСРЯ 1987]). Так, для идиомы *разделить под орех*, помимо рассматриваемого здесь, на основании имеющихся контекстов употребления могут быть выделены еще по крайней мере следующие значения:

1. 'оказывать на кого-либо целенаправленное физическое воздействие агрессивного характера, проявляя при этом особое усердие и тщательность': "Славную, славную задали вы нам профилактику, милый доктор, уважили, называется, на закате лет: только жилы похрустывали. Вылечить, может быть и не вылечили, но *разделали под орех*. Какое уж тут понарошку, когда по всей форме использовали." [Саша Соколов. Палисандрия]

2. 'участвуя в спортивном состязании и обладая значительным превосходством в умении и/или перевесом сил, нанести противнику сокрушительное поражение': "Была там какая-то волейбольная команда, о ней и не слышал никто, а Пильдин, тут уж ничего не скажешь, играл классно, и в распасовочке и у сетки. Команду сделал – гремела... Но где гремела? В наших кругах. Хоть люди и молодые, еще никому не известные, а как-никак засекаченные, так что приходилось им много играть просто со своими же старшими товарищами с Литейного и с командами воинских организаций. Народ молодой, азартный, и *разделявали* они своих старших товарищей *под орех*." [М. Кураев. Ночной дозор]

Очевидно, что речевые акты предпочтительного употребления могут быть различными для разных значений⁴.

2.1.4. Некоторые отличия от описанных в 2.1.1.–2.1.3. выражений обнаруживает идиома *прописать ижицу* (помимо того, что она менее употребительна и воспринимается как несколько устаревшая).

(9) "Через две недели после этого факта суд состоялся. А нарсудья тоже нервный такой мужчина попался – *прописал ижицу*." [М. Зошенко. Нервные люди]

Отличительные особенности идиомы *прописать ижицу* заключаются в том, что ее субъектная валентность заполняется актантом, обозначающим лицо, которое по статусу облечено властью *распорядиться* о наказании, не будучи одновременно исполнителем этого действия. Эта семантическая особенность восходит, по-видимому, к "письменному" характеру образа. Независимо от того, насколько это соответствует этимологии идиомы *прописать ижицу*, у современного носителя русского языка она вызывает ассоциации с письменным распоряжением (ср. (9)). С этим, по-видимому, связана важная особенность синтаксиса этой идиомы: пациенсная валентность остается, как правило, незаполненной. Опрошенные нами носители русского языка (вопреки данным словарей [ФСРЯ 1986; СФСРЯ 1987]) вообще сомневались в возможности сказать ? *Он прописал е м у ижицу*. Этот факт может найти объяснение, если принять аргументы с позиции образной составляющей: объектом, на который направлено непосредственное действие агенса, является не пациент, а текст. Характерно, что даже в явно авторском употреблении этой идиомы у В. Высоцкого дативная валентность остается незаполненной:

(10) "Ко мне с опаской движутся / Мои собратья прежние, / Двуногие, разумные – / Два плешут – три в уме. / Они *пропишут ижицу*, / Глаза у них не нежные. / Один брезгливо ткнул в меня / И вывел резюме." [В. Высоцкий. Гербарий]

Казалось бы противоречащие контексты употребления типа (11) реализуют другое, устаревшее сегодня значение этой идиомы 'нанести сокрушительное поражение':

(11) "Пускай-ка, пускай их флот сунется к нашим фортам – е м у *пропишут ижицу!*" [С. Сергеев-Ценский. Севастопольская страда]

⁴ Следует отметить, что сфера регулярной полисемии в идиоматике не ограничивается рассматриваемыми здесь выражениями (ср., например, идиомы типа *за плечами, за спиной* в пространственном и временном значении) и должна стать предметом специального исследования.

2.1.5. Идиомы, образная составляющая которых связана с идеей очищения, отмыwania, насильственного приведения в порядок, обозначают не порицание и/или наказание в чистом виде, а своего рода воспитательное воздействие, т.е. порицание с целью исправить пациента, скорректировать его поведение в будущем. Ср. такие идиомы, как *продрать с песочком*, *прополоскать мозги*, *снять стружку*.

Попутно обратим внимание на одно представляющееся бесспорным, хотя и часто оспариваемое традиционной фразеологией положение: образность идиом не имеет качественных отличий от образности слов в метафорическом употреблении, речь идет скорее о количественных отличиях – для большинства идиом образность является конститутивным признаком. Так, идиома *продрать с песочком* в отношении образной составляющей ничем не отличается от глагола *пропесочить*. Это делает возможным обратиться в рамках предпринимаемого описания к следующему примеру:

(12) "Пришла война – моя вина, / И вот за ту вину / Меня *песочит* старшина, / Чтоб понимал войну. / Меня готовит старшина / В грядущие бои. / И сто смертей сулит война, / Моя вина, моя вина, / И сто смертей мои!" [А. Галич. Бессмертный Кузмин]

"Воспитательная" составляющая в значении глагола *пропесочить* (и соответственно идиомы *продрать с песочком*) с очевидностью восходит к зафиксированной в образе идее очищения, которая наследуется актуальным значением по принципу "очистить, отмыть от грязи" – это значит "сделать лучше, добиться адекватного поведения".

В идиоме *прополоскать мозги*⁵ эта идея получает в соответствии с модификацией образной основы дополнительный оттенок 'исправить мысли', и лишь как результат – 'скорректировать поведение', что сближает ее с выражением *выбить дурь из головы*. Ср. (возможно несколько нестандартное) употребление этой идиомы у В. Высоцкого:

(13) "Я снова планку сбил на два-двенадцать, / И тренер мне сказал напрому, / Что начальство в десятом ряду, / И что мне *прополоснут мозги*, / Если враз сей же час не сойду / Я с неправильной правой ноги." [В. Высоцкий. Песенка про прыгуна в высоту]

Для идиом этой группы нехарактерно употребление в контекстах опасения, что объясняется описанными выше особенностями значения. Сказать [?] *Боюсь, что меня продерут с песочком* так же странно, как сказать [?] *Боюсь, что меня исправят*. Эти ограничения в меньшей степени касаются идиом типа *задать головоломку*. Возможно, это объясняется тем, что идея очищения, ассоциируемая с воспитательным воздействием, представлена в идиоме *задать головоломку* в меньшей степени, чем в таких выражениях, как *продрать с песочком* или *снять стружку*, поскольку слово *головоломка* само по себе никогда не употребляется в буквальном значении "мытья головы" и, по-видимому, не активизирует соответствующий фрейм.

В определенном смысле идиомы этой группы напоминают выражение *вызвать на ковер* (ср. обязательность непосредственного контакта между агенсом и пациенсом в момент вынесения порицания, статусное неравенство участников ситуации, наличие интенции исправить поведение пациента в будущем) с той, однако, существенной разницей, что их употребление не ограничено ситуацией вызова в кабинет начальника. Порицание, выражаемое с помощью идиом типа *продрать с песочком*, может осмысляться как идущее на пользу пациенту, а отношения между ним и агенсом – как

⁵ Соответствующее значение реализуется у этой идиомы только в форме совершенного вида. Форма несовершенного вида *полоскать мозги* означает нечто вроде 'говорить что-либо заведомо ложное, пытаясь воздействовать на адресата в своих целях'. Ср. *Нечего мне тут мозги полоскать! Что я, не понимаю, что здесь происходит на самом деле!*

неформальные, хотя и асимметричные (ср. пример (12)). По этой причине появление идиомы *вызвать на ковер* в контекстах опасения, нехарактерных для рассматриваемых здесь выражений, представляется вполне возможным: *Как мы бы меня за это на ковер не вызвали, но? Как бы с меня за это стружку не сняли.*

2.1.6. В отличие от идиом, описанных в 2.1.5., выражения типа *дать жизни, дать духу* обозначают "чистое" наказание, не связанное с намерением исправить поведение пациента, ср. (14).

(14) "Федоровых-Смирнов тут оскорбительно захохотал, и Пантелей подумал, что, расправившись с Вадимом, вернется и *даст жизни* грязному шакалу-антисемиту, а звезд балета уведет к себе на чердак и ляжет с ними, с тремя, а писать ничего не будет ни сегодня, ни завтра, никогда." [В. Аксенов. Ожог]

Лежащая в основе образа идея насильственного выведения пациента из состояния покоя наиболее близка идее нанесения телесных увечий (ср. 2.1.3.). Идиомы группы 2.1.6. характеризуются по сравнению с 2.1.3. несколько меньшей степенью интензивности. Это предположение легко проверить, подставив в контекст (14) идиому *оторвать голову* или *вырвать ноги*. Ср. однако, невозможность подстановки в этот контекст идиомы *взять в оборот*, хотя она и толкуется словарем [СФСРЯ 1987] как полностью синонимичная выражению *дать жизни* в интересующем нас значении.

Взять в оборот (так же, как и фиксируемые словарями, но значительно менее употребительные и, по-видимому, устаревшие идиомы *взять в переплет* и *взять в работу*) вызывает в сознании образ вовлечения в активные действия, что проявляется в особенностях употребления идиомы. Пациент, которого *берут в оборот*, вводится в личную сферу агенса; предполагается, что участники ситуации связаны (хотя бы на ближайшее время) некой совместной деятельностью. Этот компонент отсутствует в плане содержания идиом *дать жизни* и *дать духу*.

2.1.7. Для идиом *вставить фитиль, вставить клизму, вставить пистон* характерна идея унизытельности, что однозначно выводимо из специфики образной составляющей. Это показывает следующий контекст:

(15) "Потом уже, несколько дней спустя, размышляя о моих приключениях, я сначала заподозрил, что они имели место в обыкновенности, так сказать, но после мне вот что пришло на мысль: чтобы забитый русский газетчик да *вставил* такой *фитиль* районному руководству, этого в действительности никак не могло случиться, и я снова втерся в четвертое измерение, где самым естественным образом творятся такие махровые чудеса." [В. Пьецух. Четвертое измерение]

Ср. также несколько нестандартное, но сохраняющее идею унизытельности употребление этой идиомы у А.И. Солженицына:

(16) «Может быть – под давлением ортодоксов-благочестивцев, которые хотели все же по-своему в первый раз представить историю лагерей (себя – как главных страдальцев и главных героев); но скорее – мельче того: просто перехватить инициативу ("*вставить фитиля*")», обскакать Твардовского уже после трудного пути и выхватить приз первым.» [А.И. Солженицын. Бодался теленок с дубом]

Образ, лежащий в основе этой и сходных с ней по внутренней форме идиом вызывает представление о неопасной для жизни, но неприятной и унизытельной для пациента процедуре⁶. Замена идиомы *вставить фитиль* на любую другую идиому со значением "порицания/наказания" меняет значение высказывания, ср. *вставить фитиль районному руководству* vs. *дать жизни районному руководству* или *снять стружку с районного руководства*.

⁶ В нестандартных употреблениях типа *А осмелится кто нас пугать, / Тому мы мигом по ста в и м к л и з м у!* [А. Зиновьев. Зияющие высоты] роль образной составляющей не вполне ясна. Здесь выбор идиомы мог быть продиктован размером и рифмой, а также художественными задачами имитации малограмотной речи.

2.1.8. В заключение этого раздела хотелось бы обратить внимание на то, что предпринятое здесь описание корреляций между образной составляющей и особенностями значения идиомы, проявляющимися в ее употреблении, не следует понимать как попытку свести все семантическое своеобразие идиом к специфике образа. Иными словами, в идиоматике вряд ли можно говорить о "всюду-прозрачности" в смысле А. Вежибицкой (ср. [Фрумкина 1990; 1994: 100]). В качестве "отрицательного примера" можно привести идиому *показать кузькину мать*. Характер ее образа не вполне ясен. В словаре [ШФСРЯ 1989] она трактуется как полностью синонимичная идиоме *прописать ижицу* (ср. 2.1.4). Однако обращение к примерам показывает, что между ними существуют определенные семантические различия. Выражение *показать кузькину мать* не связано с идеей письменного распоряжения о наказании и предполагает скорее выяснение статусных отношений между участниками ситуации. Иными словами, *показать кузькину мать* – это не столько наказать пациента, сколько заставить его признать доминирующую роль агенса.

(17) «Бойтесь вы, что реваншисты в Бонне, / Что Вашингтон грозится перегнуть, / Но сам Хрущев сказал еще в ООНе, / Что мы покажем кузькину им мать!» [В. Высоцкий. Письмо рабочих тамбовского завода китайским руководителям]

(18) «"У советских собственная гордость, на буржуев смотрим свысока" – помните? Да, это было, конечно, слишком, ну, а теперь-то что же? ... подайте гуманитарную помощь, братцы-буржуи, гоните кредиты, мать вашу, а ну-ка инвестиции вкладывайте, а не то... А не то красно-коричневые придут, уж вам покажут кузькину мать!» [Ю. Аракчеев. "Независимая газета"]

(19) «"Но мы, говорит, вскорости прикончим весь этот обман народного зрения под видом войны. Потому, говорит, нам вполне известно, что теперь надо всеми министрами состоит при царе свой мужик под именем Григорий Ефимыч, и он им всем кузькину мать покажет.» [Евг. Замятин. Слово предоставляется товарищу Чурыгину]

Эти семантические особенности, однако, никак не выводятся из с трудом поддающегося интерпретации образа идиомы⁷.

2.2. Идиомы "страха": к проблеме членения семантического поля на основе образа

2.2.0. В разделе 2.1. обсуждалась близкая задачам лексикографического портретирования проблема влияния специфики образа идиомы на ее актуальное значение и употребление в речи. В этом разделе нас будет интересовать в первую очередь возможность выделения некоторых образных инвариантов, коррелирующих с семантическими особенностями соответствующих идиом. Если образная составляющая является частью плана содержания идиомы, релевантной для ее функционирования, то, выделив образно близкие идиомы внутри того или иного семантического поля, мы получим группировки, обладающие определенным эвристическим потенциалом для вскрытия и описания некоторых особенностей значения соответствующих идиом.

Обсуждение этих проблем может рассматриваться в рамках решения задач по созданию тезауруса идиом, организованного по двум направлениям: "от концепта к образу" и "от образа к концепту" [Dobrovolskij 1995 : 135–137].

2.2.1. Обратимся к полю "страх" и попробуем найти способ его членения, отражающий семантическую неоднородность входящих в него идиом. Выбор этого поля мотивирован несколькими соображениями.

Во-первых, концептуализация эмоций (в отличие от концептуализации сущностей предметного мира) в особо значительной степени определяются языковыми факторами. Поскольку сфера эмоций недоступна прямому наблюдению, языковая фикса-

⁷ Не исключается, что глагол *показать* в составе идиомы в какой-то степени направляет ее семантическую спецификацию: "≡ п о к а з а т ь, кто здесь главный; п о к а з а т ь, кто здесь хозяин".

ция симптоматических реакций и физических состояний, устойчиво ассоциируемых с той или иной эмоцией, является основой, на которой в наивной картине мира формируются представления о сущностных характеристиках этой эмоции. Тропические в своей основе выражения образуют концептуальную базу для ментальной обработки "невидимых" феноменов. Мы можем онтологизировать наши эмоции, душевные переживания и психические реакции, если найдем способ перевести их из "невидимого" и неуловимого мира духа в "видимый" и объективируемый мир физических реакций (ср. понятие наивной картины человека в [Апресян 1995]). Из ведущей роли языка в концептуализации душевных состояний следует, что одна и та же эмоция, выраженная в языке разными способами, не тождественна самой себе. Следовательно, логично предположить, что для такого семантического поля, как "страх", рубрикация по образному основанию может обогатить имеющиеся представления о внутренней структуре этого поля.

Во-вторых, имеется уже достаточно серьезная традиция в изучении семантики "страха" (ср. [Иорданская 1970; Успенский 1979; Berhenholtz 1980; Kövecses 1990; Iordanskaja, Mel'čuk 1990; Wierzbicka 1990; Анна Зализняк 1992; В.Ю. Апресян, Ю.Д. Апресян 1993; Ю.Д. Апресян 1995]), что существенно облегчает выполнение поставленной задачи. Для того, чтобы ответить на вопрос, прослеживаются ли между отдельными образными инвариантами и определенными семантическими особенностями хотя бы приблизительные корреляции, нужно предварительно структурировать исследуемое поле на основе тех или иных семантических оппозиций. Анализ соответствующих работ [Иорданская 1970; Bergenholtz 1980; Wierzbicka 1990; Апресян 1992], а также доступного нам лексического материала русского, немецкого, английского и нидерландского языков позволяет выделить для поля "страха" следующие семантические оппозиции:

- (i) сильный страх vs. страх, не маркированный по параметру интенсивности;
- (ii) страх в ожидании чего-либо плохого vs. как реакция на что-либо плохое;
- (iii) страх как "личная" эмоция (вызванная обстоятельствами, затрагивающими сферу личных интересов субъекта) vs. "отстраненная" эмоция;
- (iv) страх как контролируемое vs неконтролируемое чувство;
- (v) страх как внезапно наступившее состояние vs. состояние, наступление которого не характеризуется внезапностью;
- (vi) страх как продолжительное vs. кратковременное состояние;
- (vii) страх, вызванный непосредственным стимулом vs. отдаленными во времени и пространстве причинами.

С помощью этих оппозиций могут быть описаны семантические различия между отдельными лексическими единицами, обозначающими страх. Так, слова *страх* и *паника* отличаются друг от друга, в частности, тем, что человек, охваченный паникой, теряет контроль над своим поведением, в то время как *страх* не предполагает потерю самоконтроля. *Испуг* – это внезапно наступившее кратковременное состояние. *Испуг*, в отличие от *страха*, всегда вызывается непосредственным импульсом и является обычно менее интенсивным чувством. *Ужас* – более интенсивное чувство, чем *страх*, кроме того, *ужас*, как правило, выражает реакцию на нечто уже случившееся, а *страх* в стандартном случае относится к будущему. *Страх* – это очень "личная" эмоция (связанная с ожиданиями неприятностей для себя или близких людей), в то время как *ужас* может относиться к событиям и за пределами личной сферы субъекта. Если, например, развитие политической ситуации вызывает у нас чувство *страха*, это означает, что мы опасаемся за свое благополучие и за будущее наших детей. Если же мы воспринимаем те же самые политические события с *ужасом*, речь может идти и о не затрагивающей нас лично ситуации.

2.2.2. Как уже было сказано, наличие более или менее ярко выраженной образной составляющей является ингерентным свойством эмоциональных концептов. Имеющиеся описания "образов страха" можно условно разделить на (а) концепции базовой

метафоры и (б) экстенсивно ориентированные концепции. Для первых характерно стремление выделить ведущую метафорическую модель, для вторых – описать все метафорические и метонимические инстанции страха.

2.2.2.1. В.А. Успенский, исходя из наличия в русском языке выражений типа *страх нападает* на человека, *охватывает*, *душит*, *сковывает*, *парализует* его, предлагает мыслить страх "в виде некоего враждебного существа, подобного гигантскому членистоногому или спруту, снабженному жалом с парализующим веществом" [Успенский 1979 : 146]. Интересно, что независимо от того, насколько осмысление страха как "враждебного существа" свойственно языковому сознанию современного носителя русского языка, в собственно идиомах эта метафорическая модель не представлена.

В.Ю. Апресян и Ю.Д. Апресян отмечают, что в этих случаях речь идет о мертвых метафорах (ср. также [Телия 1994 : 98]), и предлагают в качестве базовой метафору "холода": "реакция души на страх сходна с реакцией тела на холод" [В.Ю. Апресян, Ю.Д. Апресян 1993 : 31]. Идея "холода" присутствует во внутренней форме ряда идиом, обозначающих страх, например, *страх леденит кровь, кровь стынет/леденеет в жилах*. Ведущая роль метафорической модели СТРАХ – ЭТО ХОЛОД поддерживается физиологически обусловленными симптомами, говорящими в пользу ее универсальности (ср. аналогичные наблюдения относительно метафорической модели ЯРОСТЬ – ЭТО ЖАРА в [Lakoff 1987]): рус. *дрожать от страха*, англ. *shiver with fright*, нем. *zittern vor Angst*, нидерл. *beven/bibberen van angst*, франц. *trembler de peur*, итал. *tremare dalla paura*. Одни и те же выражения могут обозначать реакцию на страх и реакцию на холод; например, *стучать зубами* можно как от холода, так и от страха.

Выделение метафоры "холода" в качестве базовой не означает, что образные составляющие всех идиом могут быть сведены к этой одной области источника, ср. такие идиомы, как *колени подгибаются*, *душа уходит в пятки*, *наложить в штаны*. Даже выражения *стучать зубами* и *дрожать как лист* не могут рассматриваться как "чистые" представители модели СТРАХ – ЭТО ХОЛОД, так как в них, помимо идеи "холода", осязимо присутствует идея "физической слабости"⁸ (см. 2.2.3.).

2.2.2.2. Экстенсивно ориентированная концепция представления семантики эмоций разрабатывается Дж. Лакоффом и З. Кёвечешем [Lakoff, Kövecses 1987; Lakoff 1987; Kövecses 1990]. В [Kövecses 1990 : 70–78] различают метонимические и метафорические способы выражения страха. К первым относятся симптомы типа потери способности двигаться (*she was frozen in her boots*), дышать (*she was breathless with fear*), говорить (*I was speechless with fear*), думать (*you scared me out of my wits*), ко вторым – метафорические модели типа СТРАХ – ЭТО ЖИДКОСТЬ В КОНТЕЙНЕРЕ (*fear was rising in him*), СТРАХ – ЭТО СТИХИЯ (*fear swept over him*).

С точки зрения поставленных в данном разделе задач этот способ описания вызывает два серьезных возражения. Во-первых, излишняя дробность в выделении различных "образов страха" затрудняет необходимые для тезаурусного представления обобщения. В некоторых случаях различия между отдельными "метафорами и метонимиями страха" выглядят искусственными и не поддающимися экспериментальной проверке. Так, З. Кёвечеш выделяет в качестве самостоятельных областей источника "злобного врага" ("a vicious enemy"), "мучителя" ("a tormentor"), "сверхъестественное существо" ("a supernatural being"), и "противника" ("an opponent"). Не вполне понятно, каким образом следует интерпретировать выражения типа *Страх охватил меня* или *На меня напал страх*: идет ли речь в этом случае о злобном враге, мучителе, сверхъестественном существе или противнике?

Во-вторых, разведение метафоры и метонимии в сфере языковой онтологизации эмоций вряд ли оправдано. Интерпретация выражений типа *поджилки трясутся* или

⁸ Сочетание смыслов "холод" и "физическая слабость" (безотносительно к метафорике "страха") характерно также для слова *озноб*.

волосы встали дыбом как метонимических указаний на внешние симптомы не отражает конвенциональной сети этих выражений. Речь идет не о языковой фиксации реальных симптомов, а о *как бы-симптомах* [Иорданская 1972: 7]. Иными словами, когда мы говорим, что у кого-то *дрожат колени*, мы не имеем в виду реальную внешнюю физиологическую реакцию на страх, а концептуализируем ненаблюдаемое через наблюдаемое по правилам метафорического переноса с опорой на знание об одном из возможных симптомов страха.

Компонент *как бы* (или *как если бы* [Телия 1990]) практически переводит стандартные симптоматические выражения из разряда метонимических в разряд метафорометонимических (о взаимопроникновении метафоры и метонимии см. [Goossens 1990]). Конвенциональная сущность стандартных симптомных выражений – а идиомы являются стандартными выражениями по определению – становится очевидной при нарушении конвенциональных правил. Когда А.П. Чехов в "Медведе" употребляет идиомы *мороз по коже дерет* и *поджилки трясутся* не в значении страха, а в значении симптомов злости, это воспринимается как сознательная языковая игра, как косвенное указание на нежелание или неспособность героя правильно оценить свое эмоциональное состояние (вспомним неожиданную развязку этого сюжета), хотя симптомы понижения температуры тела и дрожания конечностей не ограничиваются в реальном мире областью страха.

(20) "[Смирнов:] Как я зол сегодня, как я зол! От злости все *поджилки трясутся* и дух захватило... Фуй, боже мой, даже дурно делается! ... Потому-то вот я никогда не любил и не люблю говорить с женщинами. Для меня легче сидеть на бочке с порохом, чем говорить с женщиной. Брр!... Даже *мороз по коже дерет* – до такой степени разозлил меня этот шлейф! Стоит мне хотя бы издали увидеть поэтическое создание, как у меня от злости в икрах начинаются судороги. Просто хоть караул кричи." [А.П. Чехов. Медведь]

Исходя из этих соображений, в данной статье не проводится традиционного подразделения описываемых идиом на "симптомные" единицы (типа *зубы стучат от страха*) и единицы, основанные на чистой концептуализации, то есть описывающие непосредственно не наблюдаемые явления (типа *кровь стынет/леденеет в жилах*).

2.2.3. Наиболее адекватным для наших целей представляется способ описания образной составляющей идиом на основе нескольких метафорических моделей, выделяемых на некотором "среднем" уровне абстракции, сопоставимом с базовым уровнем категоризации.

Анализ фразеологического материала позволяет выделить для поля "страха" три метафорических модели⁹:

(а) ХОЛОД: *страх леденит кровь/сердце, кровь стынет/леденеет в жилах, волосы встали дыбом (от ужаса), мороз по коже (дерет), мороз/холод по спине, холодок бежит по спине, мурашки бегут/ползут по спине/по коже;*

(б) ДЕФЕКАЦИЯ: *полные штаны (от страха) у кого-л., наложить/наделать в штаны (от страха);*

(с) ФИЗИЧЕСКАЯ СЛАБОСТЬ: *коленки/колени дрожат/трясутся/подгибаются, поджилки трясутся (от страха), душа ушла в пятки.*

Идиомы, восходящие к последней метафорической модели, могут быть подразделены на следующие подмножества:

(с') нарушение физиологически важных функций организма (остановка сердца, паралич и т.п.: *все оборвалось внутри, сердце упало, не мог даже пальцем пошевелить от страха*);

(с'') интенсивная реакция организма (например, сердцебиение, потоотделение: *сердце затрепетало, прошиб холодный пот*);

⁹ Идиомы с затемненной внутренней формой (типа *небо с овчинку показалось*) или с единичными, не имеющими аналогов образами (типа *бояться как черт лапана*) при этом не учитывались.

(с'') собственно слабость (например, неспособность держаться на ногах: *колени подгибаются*).

Эти подмножества коррелируют в известной степени с предложенными Л.Н. Иорданской сложными лексическими функциями Stop, Excess и Obstr [Иорданская 1972], которые в принципе могут служить основой для альтернативного описания идиом, выражающих страх. Представление такого рода наиболее адекватно и экономно описывает симптомы эмоций в терминах модели "Смысл ↔ Текст". Для наших целей оно, однако, вряд ли приемлемо, так как ориентировано не на семантический, а на глубинно-синтаксический уровень и направлено не на экспликацию образа, а на описание симптомных выражений как функций от двух аргументов: чувства (X) и части организма (Y), рассматриваемой как место симптомных изменений. В соответствии с этими принципами такие близкие по образной составляющей идиомы, как *колени дрожат* и *колени подгибаются* попадают в разные группы, т.к. описываются по двум разным лексическим функциям: Excess ("экстраординарное функционирование ног как симптом страха") и Stop ("остановка в функционировании ног как симптом страха"). С другой стороны, такие разные по образным составляющим и семантическим следствиям идиомы, как *наделать в штаны* и *обливаться холодным потом*, оказываются в одной группе, выделяемой на основе лексической функции Excess.

Метафорическая модель (b) может в принципе рассматриваться как частный случай модели (с), но с эвристической точки зрения выделение основанных на модели (b) выражений в отдельный класс представляется оправданным. Так, между идиомами типа *наложить/наделать в штаны (от страха)*, с одной стороны, и *поджилки трясутся* – с другой, интуитивно ощущаются семантические различия.

Модель СТРАХ – ЭТО ВРАЖДЕБНОЕ СУЩЕСТВО не выделяется, т.к. она, во-первых, не представлена в русской идиоматике¹⁰ (выражения типа *страх обуял* и тем более *страх охватил* не являются идиомами в точном смысле – ср. [Мельчук 1960]) и, во-вторых, как уже было сказано выше, не воспринимаются современным языковым сознанием как живая метафора.

Все выделенные метафорические модели представлены в идиоматике не только русского, но и других языков; нам известны примеры из немецкой, английской, нидерландской, французской, итальянской, литовской и венгерской фразеологии. По-видимому, можно говорить о принципиальной универсальности этих метафор, обусловленной их биологической мотивированностью. Высокий удельный вес универсального в концептуализации "страха" вполне естественен и, судя по всему, характерен и для других первичных, физиологически обусловленных эмоций. Отдельные метафорические модели могут выступать в комбинации друг с другом; например, "холод" и "физическая слабость" одновременно реализуются в идиомах типа *холодный пот прошиб*, *дрожать как осиновый лист*, *зубы стучат/зуб на зуб не попадает от страха*. Подобные идиомы являются элементами более чем одного подмножества и должны описываться соответствующим образом. Пересечение отдельных подмножеств само по себе не ставит под сомнение оправданность их выделения и в целом подтверждает тезис о принципиальной возможности взаимодействия различных метафор в рамках одного языкового выражения (см. об этом явлении [Lindner 1983: 146]).

2.2.4. Попробуем ответить на вопрос, существуют ли между отдельными семантическими признаками и выделенными по образному основанию группами идиом

¹⁰ При обращении к другим языкам и в особенности при сопоставительных исследованиях учет этой метафорической модели оказывается полезным [Добровольский 1994]. Метафора персонификации страха, не будучи представленной в русской идиоматике, достаточно типична для художественной литературы. Ср. у О. Мандельштама: «Страх берет меня за руку и ведет. ... Я люблю, я уважаю страх. Чуть было не сказал: "с ним мне не страшно!" Математики должны были бы построить для страха шатер, потому что он координата времени и пространства: они, как скатанный войлок в киргизской кибитке, участвуют в нем. Страх распрягает лошадей, когда нужно схватить, и посылает нам сны с беспричинно-низкими потолками.» [О. Мандельштам. Египетская марка]

хотя бы приблизительные корреляции. Обратимся сначала к описанным в разделе 2.2.1. семантическим оппозициям.

В целом создается впечатление, что все идиомы, обозначающие "страх", тяготеют к выражению интенсивного чувства, так что оппозиция "сильный страх vs. страх, не маркированный по параметру интенсивности" оказывается для них несущественной. Очевидно, для выражения нейтральных с точки зрения интенсивности эмоций, как правило, используются неидиоматические средства языка. Потребность прибегнуть к идиоме возникает у говорящего при ощущении, что стандартные обозначения оказывается в данном случае недостаточно выразительными. Сказанное, естественное, не означает, что между отдельными идиомами "страха" нет градуальных различий по степени интенсивности. Так, *леденящий сердце* страх в большинстве случаев сильнее страха, от которого *душа уходит в пятки*, ср. нежелательность взаимной подстановки этих идиом в контекстах (21) и (22).

(21) "Куда они так стремительно и дружно бегут и что держат в руках, нельзя понять, но *страх леденит сердце*. Киянов вжимается в бетон, пропадает в тени колонны, его не видно, а он хорошо и близко видит, как толпа пробегает мимо." [Ю. Трифонов. Время и место]

(22) "Брюлов сейчас от меня. Едет в Петербург скрепя сердце; боится климата и неволи. Я стараюсь его утешить и ободрить; а между тем у меня у самого *душа в пятки уходит*, как вспомню, что я журналист." [А.С. Пушкин. Письмо Н.Н. Пушкиной]

Однако, в целом установить какие-либо корреляции между метафорическими моделями и степенью интенсивности испытываемого чувства не представляется возможным. Вряд ли можно утверждать, что, например, идиомы "холода" всегда обозначают более сильный страх, чем идиомы "дефекации" или "физической слабости". Одна и та же ситуация может быть описана говорящим с использованием выражений *мороз по коже*, *наложить в штаны* и *колени дрожат*; выбор идиомы зависит скорее от отношения говорящего к субъекту эмоции, чем от степени ее интенсивности (см. раздел 2.2.5.).

Относительно оппозиций "ожидание чего-либо плохого vs. реакция на что-либо плохое" и «"личная" vs. "отстраненная" эмоция» можно с уверенностью выделить только идиому *волосы дыбом встают*, которая по своим семантическим особенностям скорее близка ужасу, чем страху. Столь разные по духу и стилю контексты, как (23) и (24) подтверждают это: и в том и в другом случае речь идет о реакции на нечто, с точки зрения говорящего, ужасное, что непосредственно не затрагивает сферу его личных интересов.

(23) «*Волосы дыбом у меня встали*, когда я узнал, что Гуськова и Долидзе тоже в прошлую ночь зверски изнасиловали на постах, одного в подъезде кооператива "Витязь", другого за пивным залом "Лада".» [Юз Алешковский. Маскировка]

(24) «Был ли у Соловьева чертик? Да, конечно же был. "Чертик" в том, что он кривлялся и выдумывал чертика, тогда как вся его жизнь – это сама по себе сплошная чертовщина. Его знаменитая речь по поводу первомартовской катастрофы – это уже такая дьяволиада, такое издевательство над реальностью, что *волосы встают дыбом*.» [Д. Галковский. Бесконечный тупик]

Заметим попутно, что словари не всегда фиксируют эту семантическую особенность идиомы *волосы встают дыбом*. В [ШФСРЯ 1989: 69], например, она толкуется как "кому-либо становится невыносимо страшно, боязно", т.е. идея "ужаса" никак не эксплицируется. "Ужас" появляется, однако, в толковании идиомы *небо с овчинку кажется* "становится тяжело, не по себе от страха, ужаса, боли и т.п." [ШФСРЯ 1989: 213], где это слово как метаязыковой элемент представляется неуместным, т.к. подстановка идиомы *небо с овчинку кажется* в (23), (24) и подобные им контексты недопустима.

Обнаружить корреляции между рассматриваемыми оппозициями и метафорическими

моделями также и в этом случае представляется затруднительным. Интуитивно можно предположить, что прочие идиомы "холода" напоминают по своему речевому поведению выражение *волосы встают дыбом*. Действительно, существует возможность употреблять идиомы "холода" для обозначения реакции на что-то уже случившееся, что не обязательно затрагивает личную сферу субъекта, ср. (25). Но легко найти и противоречащие примеры [ср. (21), (26), (27), где речь идет о "личной", обращенной в будущее эмоции].

(25) "Кто-то хочет сказать, что я проявляю нездоровый интерес к чужим карманам? Проявляю, но здоровый – я за этого мэра голосовал и хочу, наконец, понять, кто он такой и чем занят на этом посту. А вот мэром говорит, что это ничего, когда госчиновники совмещают госчин с бизнесом. Лицо доброе такое, а подумаешь, что говорит – *мороз по коже*." ["Столица"]

(26) "Он живо представил себе отсутствие себя в этой жизни... *Мороз пробежал по его спине*." [Л.Н. Толстой. Война и мир]

(27) "Он был мне больше чем родня, / Он ел с ладони у меня, / А тут глядит в глаза – и *холодно спине*." [В. Высоцкий. Дорожная история]

Относительно оппозиции "контролируемый vs. неконтролируемый страх" идиомы ведут себя нейтрально, т.е. их значение в явном виде не содержит элементов "паники". Исходя из логики образа, можно было бы предположить, что идиомы "дефекации" должны тяготеть к обозначению неконтролируемого страха, поскольку в основе их образности лежит боязнь человека потерять контроль над своими физиологическими функциями. Однако, это не так. Высказывания типа *Я, конечно, в штаны наложил, но виду не подал* ясно показывают, что сама по себе эта идиома не навязывает представлений о паническом страхе.

По признакам "внезапности", "продолжительности" и "непосредственности" чувства страха рассматриваемые идиомы обнаруживают определенные различия. Например, можно неделями и месяцами *дрожать как осиновый лист*, но нельзя неделями и месяцами **класть в штаны*. Может создаться впечатление, что идиомы, основанные на метафорической модели СТРАХ – ЭТО ДЕФЕКАЦИЯ, в целом тяготеют к передаче внезапно наступивших и недолго длящихся состояний, вызванных непосредственным стимулом (типа звука выстрела или неожиданно вынырнувшего из темноты вооруженного человека). Так, плохо сказать: *? Сидя в приемной зубного врача и ожидая своей очереди, он наложил полные штаны при норме Сидя в приемной зубного врача и ожидая своей очереди, он дрожал как осиновый лист / еле сдерживал дрожь в коленках*.

Эти ограничения, однако, связаны не столько с областью источника, сколько с семантическим классом соответствующего глагола: ср. нежелательность *? задрожал как осиновый лист*, *? затряслись колени/поджилки*, с одной стороны, и *? клал/делал в штаны от страха* – с другой. Если в приведенном выше предложении вместо *наложил полные штаны* подставить нечто вроде *с полными штанами* или *наложив в штаны* и произвести необходимые синтаксические трансформации, то полученное высказывание будет вполне соответствовать норме: *Он сидел в приемной зубного врача и ожидал своей очереди с полными штанами от страха / наложив полные штаны от страха*.

В тех случаях, когда идиома допускает выражение различных способов действия, ее речевое поведение является амбивалентным по отношению к рассматриваемым признакам. Так, *мороз подрал по коже* в (28) вызывает представление о внезапно наступившем, непродолжительном чувстве страха, вызванным непосредственной опасностью, а *мороз по коже подирает* в (29) – представление об эмоции, не характеризующейся внезапностью, кратковременностью и не связанной с непосредственной опасностью.

(28) "Вчера волостной писарь проходил поздно вечером, только глядь – в слуховое

окно выставилось свиное рыло и хрюкнуло так, что у него *мороз подрал по коже*." [Н.В. Гоголь. Сорочинская ярмарка]

(29) "Отчего у меня – просто *мороз по коже подирает*, как только я подумаю, что мне надо, наконец, к ним съездить?" [И.С. Тургенев. Холостяк]

Ср. аналогично (30), с одной стороны, и (22), (31) – с другой:

(30) "Заметил, как он по сторонам оглядывается? А все от страху... так всего и боимся: щелкнет где, стукнет – у нас и *душа в пятки*." [Д.Н. Мамин-Сибиряк. В худых душах]

(31) "И думать позабыли, что у них дочь в опасности. Я их тоже, с своей стороны, уверяю, что ничего, дескать, а у самого *душа в пятки уходит*." [И.С. Тургенев. Уездный лекарь]

В целом можно констатировать, что между выделенными ранее оппозициями, которые характеризуют семантическую структуру поля "страха" (см. раздел 2.2.1.), и метафорическими моделями, структурирующими это поле по образному основанию, не прослеживается однозначных корреляций. В лучшем случае здесь можно говорить об определенных количественных предпочтениях. Причина этого кроется, однако, не в принципиальном отсутствии корреляций между отдельными метафорическими моделями и особенностями значения базирующихся на них идиом (это означало бы, что образная составляющая не влияет на речевое поведение лексических единиц и противоречило бы приведенным в разделе 2.1. фактам), а в том, что идиомы, по видимому, могут семантически противопоставлять друг другу по каким-то иным признакам, нежели слова, то есть семантические оппозиции, выявленные на материале слов в их прямых значениях (таких, как *страх, ужас, испуг, боязнь, паника*), оказываются не вполне адекватным инструментом для описания специфики идиоматических выражений.

2.2.5. Обратимся к примерам и попытаемся обнаружить семантические оппозиции, по отношению к которым идиомы "страха" оказываются более чувствительными. Рассмотрим несколько контекстов с идиомами, восходящими к метафорической модели СТРАХ – ЭТО ХОЛОД.

(32) "Вдруг все стихло. В тишине было слышно, как фыркает от пыли лошадь, но ее никто не видел, все смотрели вверх: там, покачиваясь, плыла голова, поднятая на копы. Одно ухо у нее было отрублено, на опущенных веках сидели мухи, ветер трепал рыжую бороду. Оскалив зубы, голова улыбалась римлянам, *по спицам* у них бежал холодок." [Евг. Замятин. Бич Божий]

(33) "[Светловидов:] Черная бездонная яма, точно могила, в которой прячется сама смерть... Брр!.. холодно! Из залы дует, как из каменной трубы... Вот где самое настоящее место духов вызывать! Жутко, черт подери... *По спине мурашки забегали*." [А.П. Чехов. Лебединая песня]

(34) "На дворе стояла, как тогда говорили, эпоха позднего реабилитанса. Позднего – потому что миллионы не дожили. Те же, кто дожил и вышел на свободу, рассказывали такое, от чего у обыкновенных людей *волосы дыбом вставали*." [М. Зараев. Провинция]

(35) «Поднимается Рюриков и скорбно морща свой догматический лоб: – Александр Исаевич! Вы просто не представляете, какой ужас пишет о вас западная пресса. *У вас волосы встали бы дыбом*. Приходите завтра в "Иностранную литературу", мы дадим вам подборки, вырезки.» [А.И. Солженицын. Бодался теленок с дубом]

Возможность замены употребленных в этих контекстах выражений на идиомы "физической слабости" (типа *колени подогнулись*) или "дефекации" представляется маловероятной. Причина этого видится в том, что практически во всех примерах употребления идиом "холода" [см. также (21), (23–29)] речь идет о чувстве, не наносящем ущерба достоинству субъекта и вызванному объективными причинами, которые рассматриваются говорящим как вполне серьезные. Субъект эмоции представляется не как пугливый, робкий по натуре человек, достойный осмеяния или со-

жаления, а испытываемое им чувство – как мотивированное и оправданное внешними обстоятельствами. Эта разновидность страха рассматривается скорее как "благородное", чем как "унизительное" чувство.

В отдельных случаях, особенно в нестандартных употреблении какие-то из этих признаков могут нейтрализоваться; например, в (36) нет указания на внешние причины испытываемого чувства (ср. также (26)), но его серьезность и благородство не подлежат сомнению.

(36) "Мне вечным холодом и льдом сковало кровь / От страха жить и от предчувствия кончины." [В. Высоцкий. Романс]

Ассоциации идиом "холодного страха" с серьезностью вызвавших его причин проявляются особенно наглядно в специфических контекстах типа (37). Поскольку причины испытываемого чувства, по мнению говорящего, недостаточно серьезны, он считает употребление идиомы *волосы встали дыбом* неуместным, на что в тексте имеются прямые указания.

(37) «Моя подруга – в своем роде мастер слова. Она говорит так: "Меня охватил дикий, неописуемый ужас, и *волосы на моей голове встали дыбом*" или "И я разрыдалась. Плечи мои тряслись..." В последнее время она повторяет эти душевраздирающие фразы чаще обычного: все ее разговоры – о том, как она пытается снять квартиру. Хотя *волосы становятся дыбом* и плечи трясутся не у всех, кто пытается это сделать, однако снять жилье – процесс трудоемкий, нервный и прямотаки разорительный.» ["Столица"]

В этом контексте можно представить себе появление практически любой идиомы группы (а), но не (b) или (с), ср.: *...кровь заледенела у меня в жилах; ...и мурашки поползли по моей коже; но ? ...и душа моя ушла в пятки; ? ...и у меня затряслись поджилки, не говоря уже о ?? ...и я наделала в штаны.*

Идиомы метафорической модели СТРАХ – ЭТО ФИЗИЧЕСКАЯ СЛАБОСТЬ в целом могут быть противопоставлены по указанным признакам идиомам "холода". Например, человек, у которого *душа уходит в пятки*, в стандартном случае осмысливается как трусливый, а страх, который он испытывает – как преувеличенный, не оправданный реальными размерами опасности (ср. (30)). В контекстах от первого лица (22, 31) эти признаки до некоторой степени стираются, но и в этом случае говорящий объективирует свое состояние скорее внутренними, чем внешними причинами и не драматизирует его, как это имеет место в (37). Напротив, употребление идиомы *душа уходит в пятки* от первого лица имеет оттенок самоиронии. Весьма схожим образом ведут себя идиомы *коленки дрожат/трясутся/подгибаются, поджилки трясутся (от страха)*.

Отсутствие пьетета по отношению к этой разновидности страха особо заметно проявляется в игровых контекстах определенного типа:

(38) "Недавно это было подтверждено научным экспериментом: если человека в ровном расположении духа уравновесить на горизонтальной доске с точкой опоры посередине и напугать, *пятки поднимаются вверх*, так как в них *уходит душа*." [В. Матизен. "Столица"]

На "неблагородных" ассоциациях этой идиомы построено ее поэтическое употребление в (39). В первой реплике говорящий представляет субъекта чувства человеком трусливым и не заслуживающим уважения. В ответной реплике на основе материализации метафоры порождается совершенно новый, трагический образ, контрастирующий с образом "физической слабости", заложенным в идиоме и переосмысляемым в ее актуальном значении как "слабость духа".

(39) "Слабо стреляться – в *пятки*, мол, давно *ушла душа*. / Терпенье, психопаты и кликуши! / Поэты ходят *пятками по лезвию ножа* / И режут в кровь свои босые души." [В. Высоцкий. О фатальных датах и цифрах]

Противопоставленность по этим признакам "физической слабости" "холоду" становится очевидной при попытке подставить в контекст (39) идиомы группы (а). Так,

высказывание ? *Слабо стреляться – мороз, мол, по коже* воспринимается как ненормативное, но в принципе можно сказать *Слабо стреляться – в штаны, мол, наложил*. Таким образом, идиомы "холода" противопоставлены как идиомам "физической слабости", так и идиомам "дефекации"; разница между последними состоит в том, что идиомы "дефекации" изображают страх как еще более унижительное для испытывающего его человека чувство, а обусловившие его причины – как еще менее серьезные. Это страх, лишенный всякого благородства.

В целом для областей источника можно говорить о тернарной оппозиции: "холод" – "физическая слабость" – "дефекация", причем идиомы "физической слабости" (как средний член оппозиции) обнаруживают известную амбивалентность, коррелирующую с их образной гетерогенностью (см. раздел 2.2.3.). Наиболее нейтрально ведут себя выражения типа *дрожать как осиновый лист*, сочетающие образность "холода" и "физической слабости". Идиомы подгруппы (с') типа *все оборвалось внутри, сердце упало/захолонуло* по своим семантическим особенностям проявляют значительно большее сходство с идиомами группы (а), чем группы (b). Впрочем, в отличие от идиом "холода", *сердце захолонуло* в (40) обозначает страх, скорее идущий изнутри, чем обусловленный внешними обстоятельствами.

(40) "Елизавета Гавриловна не хотела спать. Она закрыла глаза, потому что стало скучно смотреть на суету людей в комнате. Увидела: сырой вымерзший за зиму откос, ярчайшая синева, бревна, вкопанные в землю, в глубине двора дом, собака на крыльце, злобная ездовая лайка, и *захолонуло от страха сердце*. Потому что пора решаться. Идти или нет?" [Ю. Трифонов. *Время и место*]

Итак, для идиоматики поля "страха" существенными оказались следующие три семантические оппозиции, определенным образом связанные между собой:

(i) "благородный" vs. "неблагородный" страх (т.е. страх как чувство, не снижающее статуса субъекта в глазах говорящего, vs. чувство, унижающее его достоинство);

(ii) страх как чувство, вызванное серьезными vs. несерьезными причинами;

(iii) страх как внутренне присущее субъекту состояние vs. как состояние, обусловленное чисто внешними причинами (т.е. страх как свойство природы, "страх труса" vs. страх как состояние, возникшее под воздействием внешних факторов).

Корреляции, выявленные между метафорическими моделями и данными семантическими оппозициями, носят не случайный характер, а подчиняются логике закрепленных в идиомах этого поля образов. Чем более "физиологичен" образ, тем менее "благородно" чувство, концептуализируемое с помощью этого образа. Образ "холода" ассоциируется с некоторой внешней по отношению к человеку силой, с которой он вынужден считаться, поэтому и "страх", выражаемый через "холод", осмысляется как чувство, обусловленное серьезными внешними причинами. Образы "физической слабости" и "дефекации", напротив, вызывают представление о внутренних состояниях человека, возникающих и без воздействия на него внешних сил. Предполагается, что в этом случае человек сам несет ответственность за свое состояние, в особенности за его внешние проявления. Неспособность владеть собой осуждается социумом. Исключение делается разве только для состояний, связанных с нарушением физиологически важных функций организма. "Страх", концептуализируемый с помощью этих образов, осмысляется как серьезное, хотя и скорее внутренне обусловленное чувство, не наносящее ущерба достоинству его субъекта. Когда в образе идиомы одновременно присутствуют идеи "холода" и "физической слабости", увеличивается степень зависимости семантических эффектов от контекста.

Предложенные семантические оппозиции обладают большей объяснительной силой, чем традиционные "стилистические" обоснования интуитивно ощущаемых различий в употреблении идиом "страха". Естественно, что стилистические характеристики лексических единиц, являясь реальным феноменом узуса, влияют на условия реализации этих единиц. Однако, существует ряд особенностей употребления, которые не могут быть объяснены со стилистических позиций. Например, несмотря на то, что идиомы *страх леденит сердце/кровь* и *мороз бежит по спине/по коже* явно различны по

стилистическим характеристикам, они обозначают весьма близкие по своим признакам эмоции, [ср. примеры (21) и (26)].

Из проведенного анализа можно заключить, что внутри определенных семантических полей возможно выделение отдельных подмножеств идиом на основе сходств и различий в характере их образной составляющей. Учет образной составляющей при описании структуры подобных полей и семантики соответствующих идиом представляется вполне целесообразным и эвристически оправданным. В целом анализ идиом семантических полей "порицания/наказания" и "страха" убеждает в правильности гипотез, сформулированных в начале раздела 2.

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сделаем некоторые выводы. В идиомах с живой внутренней формой образная составляющая является элементом плана содержания и влияет на употребление идиомы в речи. Существенны при этом не индивидуальные представления, возникающие в сознании говорящего/слушающего, а производимые им операции над релевантными знаниями, сопряженными с буквальным прочтением идиомы.

Определенные группы идиом, выделяемые на основании близости их значения и образующие часть соответствующего семантического поля, могут быть структурированы по параметру образности. Эвристический потенциал подобной рубрикации повышается, если используемые в качестве критерия метафорические модели носят не слишком абстрактный характер и ориентированы на базовый уровень категоризации (ср. традиционно используемые в работах по когнитивной семантике "контейнерную" или "онтологическую" метафоры, с одной стороны, и выделяемые в разделе 2.2.3. образные инварианты – с другой).

Учет образной составляющей позволяет в ряде случаев подразделить множество идиом одного семантического поля на подмножества, близкие по сути (квази)синонимическим рядам, что в свою очередь создает предпосылки для более последовательной фиксации семантических сходств и различий между отдельными выражениями в структуре их толкования. Обращение к образу позволяет далее выделить для некоторых полей семантические оппозиции, не выявляемые на материале слов в прямом значении, являющихся ядерными элементами данного поля.

Образная составляющая помогает не только выявить семантические различия между близкими по значению идиомами в рамках одного поля, но и обнаружить связи между идиомами различных полей. Единый образный инвариант (например, метафора "грязи" в идиомах *сидеть (по уши) в дерьме* и *вытащить из грязи/из дерьма*) позволяет увязать друг с другом такие поля, как "безвыходная и/или унижительная ситуация" и "помощь, содействие". Исходя из этих соображений, следует отметить перспективность идеи тезауруса идиом с "двойным членением", т.е. тезауруса, предполагающего разбнение множества идиом на подмножества как по собственно понятийному, так и по образному основанию. Сопоставление обеих структур может дать нетривиальные результаты в плане исследования универсальных и специфических черт в сфере идиоматики, ср. [Dobrovolskij 1988].

Идиоматический тезаурус с "двойным членением" позволит выявить не только случаи, когда один концепт выражается с помощью различных образов, но и случаи, когда идиомы, относящиеся к семантическим полям, между которыми, казалось бы, отсутствует какая-либо связь, обнаруживают некоторую общность внутренней формы, ср. образ "удара по голове" в разных по значению идиомах: *врезать промеж глаз, как обухом по голове, как пыльным мешком пришибленный*. Если признать, что образная составляющая в идиомах с живой внутренней формой является частью их значения, следует согласиться и с тем, что отношения между идиомами, основанные на идентичности или близости образа, семантически по своей сути. Это означает, что описание идиоматики, претендующее на полноту и эксплицитность фиксации отношений между выделенными группами идиом, должно учитывать и эти связи.

- Апресян В.Ю., Апресян Ю.Д. 1993 – Метафора в семантическом представлении эмоций // ВЯ. 1993. № 3.
- Апресян Ю.Д. 1992 – О новом словаре синонимов русского языка // ИАН СЛЯ. 1992. № 1.
- Апресян Ю.Д. 1995 – Образ человека по данным языка: попытка системного описания // ВЯ. 1995. № 1.
- Баранов А.Н., Добровольский Д.О. 1990 – Структуры знаний и их языковая онтологизация в значении идиом // Уч. зап. Тартуского гос. ун-та. Вып. 303. Тарту, 1990.
- Баранов А.Н., Караулов Ю.Н. 1994 – Воскрешение метафоры // Баранов А.Н., Караулов Ю.Н. Словарь русских политических метафор. Ч. 2. М., 1994.
- Добровольский Д.О. 1988 – О возможности моделирования внутренней формы фразеологизмов // Лексикографическая разработка фразеологизмов для словарей различных типов и для Машинного фонда русского языка. М., 1988.
- Добровольский Д.О. 1994 – Семантика идиом как переводческая проблема // Перевод и лингвистика текста. М., 1994.
- Зализняк Анна А. 1992 – Исследования по семантике предикатов внутреннего состояния. München, 1992.
- Иорданская Л.Н. 1970 – Попытка лексикографического толкования группы русских слов со значением чувства // Машинный перевод и прикладная лингвистика. Вып. 13. М., 1970.
- Иорданская Л.Н. 1972 – Лексикографическое описание русских выражений, обозначающих физические симптомы чувств // Машинный перевод и прикладная лингвистика. Вып. 16. М., 1972.
- Мельчук И.А. 1960 – О терминах "устойчивость" и "идиоматичность" // ВЯ. 1960. № 4.
- СФСРЯ 1987 – Жуков В.П., Сидоренко М.И., Шкляров В.Т. Словарь фразеологических синонимов русского языка / Под ред. В.П. Жукова. М., 1987.
- Телия В.Н. 1990 – Семантика идиом в функционально-параметрическом отображении // Фразеология в Машинном фонде русского языка. М., 1990.
- Телия В.Н. (ред.). 1991 – Макет словарной статьи для Автоматизированного толково-идеографического словаря русских фразеологизмов: образцы словарных статей. М., 1991.
- Телия В.Н. 1994 – "Говорить" в зеркале обиходного сознания // Логический анализ языка. Язык речевых действий. М., 1994.
- Успенский В.А. 1979 – О вещных коннотациях абстрактных существительных // Семиотика и информатика. Вып. 11. М., 1979.
- Фрумкина Р.М. 1990 – О прозрачности естественного языка // Язык и структура знаний. М., 1990.
- Фрумкина Р.М. 1994 – Прагматика: новый взгляд // Семиотика и информатика. Вып. 34. М., 1994.
- ФРСЯ 1986 – Фразеологический словарь русского языка / Под ред. А.И. Молоткова. М., 1986.
- ШФСРЯ 1989 – Жуков В.П., Жуков А.В. Школьный фразеологический словарь русского языка. М., 1989.
- Bergenholtz H. 1980 – Das Wortfeld "Angst". Eine lexikographische Untersuchung mit Vorschlägen für ein großes interdisziplinäres Wörterbuch der deutschen Sprache. Stuttgart, 1980.
- Cacciari C., Glucksberg S. 1991 – Understanding idiomatic expressions: The contribution of word meanings // Understanding word and sentence. Amsterdam, 1991.
- Cacciari C., Rumati R.J., Glucksberg S. 1992 – The role of word meanings, transparency and familiarity in the mental images of idioms // Proceedings of IDIOMS. Tilburg, 1992.
- Dobrovol'skij D. 1988 – Phraseologie als Objekt der Universalienlinguistik. Leipzig, 1988.
- Dobrovol'skij D. 1995 – Kognitive Aspekte der Idiom-Semantik. Studien zum Thesaurus deutscher Idiome. Tübingen, 1995.
- Gibbs R.W. 1990 – Psycholinguistic studies on the conceptual basis of idiomaticity // Cognitive linguistics. 1990. № 1–4.
- Gibbs R.W. 1993 – Why idioms are not dead metaphors // Idioms: processing, structure, and interpretation. Hillsdale (New Jersey), 1993.
- Gibbs R.W., O'Brien J. 1990 – Idioms and mental imagery: The metaphorical motivation for idiomatic meaning // Cognition. V. 36. 1990. № 1.
- Goossens L. 1990 – Metaphtonymy: the interaction of metaphor and metonymy in expressions for linguistic action // Cognitive linguistics. 1990. № 1–3.
- Iordanskaja L., Mel'čuk I. 1990 – Semantics of two emotion verbs in Russian: *bojat'sja* "to be afraid" and *nadejat'sja* "to hope" // Australasian journal of linguistics. V. 10. 1990. № 2.
- Kövecses Z. 1986 – Metaphors of anger, pride, and love. Amsterdam; Philadelphia, 1986.
- Kövecses Z. 1990 – Emotion concepts. Berlin; New York, 1990.
- Lakoff G. 1987. – Women, fire, and dangerous things. What categories reveal about the mind. Chicago; L., 1987.
- Lakoff G. 1993 – The contemporary theory of metaphor // Metaphor and thought. Second edition. Cambridge, 1993.
- Lakoff G., Johnson M. 1980 – Metaphors we live by. Chicago; L., 1980.
- Lakoff G., Kövecses Z. 1987 – The cognitive model of anger inherent in American English // Cultural models in language and thought. Cambridge (Mass.), 1987.

- Lindner S.J.* 1983 – A lexico-semantic analysis of English verb particle constructions. Trier, 1983.
- Longman* 1979 – Longman dictionary of English idioms. Harlow; L., 1979.
- Mel'čuk I.A., Reuther T.* 1984 – Bemerkungen zur lexikographischen Beschreibung von Phraseologismen und zum Problem unikalier Lexeme (an Beispielen aus dem Deutschen) // Wiener Linguistische Gazette. 1984. № 33–34.
- Nayak N.P., Gibbs R.W.* 1990 – Conceptual knowledge in the interpretation of idioms // Journal of experimental psychology: General. V. 119. 1990.
- Rayner K., Frazier L.* 1989 – Selection mechanisms in reading lexically ambiguous words // Journal of experimental psychology: learning, memory and cognition. V. 15. 1989.
- Rosch E.* 1978 – Principles of categorization // Cognition and categorization. Hillsdale (New Jersey), 1978.
- Simpson G.B.* 1981 – Meaning dominance and semantic context in the processing of lexical ambiguity // Journal of verbal learning and verbal behavior. V. 20. 1981.
- Tabossi P.* 1988 – Accessing lexical ambiguity in different types of sentential context // Journal of memory and language. V. 27. 1988.
- Wierzbicka A.* 1990 – The semantics of emotions: fear and its relatives in English // Australian journal of linguistics. V. 10. 1990. № 2.

© 1996 г. Ф. ПРЕМК

**О ВЕТХОЗАВЕТНЫХ ТРАДИЦИЯХ
В ТЕКСТЕ БРИЖИНСКИХ (ФРЕЙЗИНГЕНСКИХ) ОТРЫВКОВ**

Автор ритуального текста Фрейз. отр. II был хорошо знаком с исходным старозаветным текстом и особенно с текстами псалмов. На это указывают языковые и культурно-исторические факты.

В книгах Моисея, Йова, в литературе пророков Исаяи, Даниила, псалмах и других старозаветных текстах, а также в текстах молитв покаяния на "Великий день прощения, отпущения грехов" *Yôm-Kippûrim*, в служебниках *Šûlhân 'arûk* можно найти большой пласт лексики, имеющей соответствия в Фрейз. II, а также частично в Фрейз. I и III. В Далматиновом переводе текста — пророка Исаяи (Ис. 43, 27) читаем:

Tvoj pèrvi Ozha je gréshil, inu tvoji Vuzheniki so šupàr mene krivu rounali. Satu šim ješt Viude te Svetinje k'nezhašti šturil, inu Israela k' šhpotu šturil (DB II, 18a).

В примечании Далматина на полях Адам обвиняется в первородном грехе (Ис. 43, 27): *tu je, Adam, od kateriga my vfi gréh erbamo* DB II, 18a)¹. В связи с этой маргиналией возникает необходимость в семантическом анализе имени Адам. Кроме того, содержательная параллель из Ис. 44, 7 и ее перевод в Вульгате показывает нам, что слово *narod* во Фрейз. II мы понимаем буквально как "народ", тогда как речь идет о древней форме этнической общности и ее самосознании: по-словенски это "народ, люди из древности", Вульгата — *populum antiquum* (Vu. 704)².

В тексте Фрейз. отр. находим ряд лексических гебраизмов (*satan* Фрейз. II, *amen* — Фрейз. I и III, [*dedt*] — неназванный Адам, свидетельствующих о существовании важнейших библейских языковых универсалий, отражающих дух времени, духовную школу или авторское индивидуальное следование традиции. Интересны библейские размышления об общеславянском слове **dědъ*, этимология которого неясна. Ф. Безляй обращает внимание на родство с греческими обозначениями бабушки, деда, дяди, отражающими хорошо известную во многих языках детскую редупликацию звукоподражания типа *мама, пана* (ES I, 96). П. Скок даже полагает, что в случае с сербохорватским *dědo* "дед" речь может идти о заимствовании из турецкого (EH I, 388). В тезаурусе Мегисера читаем: *Sclav, deidez, did, Dalm, did, Turc. atta* и др. (MT 159). Е. Станкевич отметил среди славянских экспрессивных элементов языка идиш детские суффиксы со значением ласкательности в составе мужских терминов родства *zejde, tate* (PEC 123), что соответствует славянским экспрессивным существительным мужского рода *dědo, tato* [Stankiewicz 1985: 184]. Следует обратить внимание на то, что слово *ded* во Фрейз. II также содержит экспрессивный оттенок. Заметим еще, что еврейское однокоренное слово *dad* "женская грудь", ласкательно "мамочка" (HW 183) и особенно корень евр. *dod* "дядя" возникли из редупликации соответствующего

¹ Здесь и далее приводятся сокращения источников и литературы в том виде, в каком они приняты автором.

² Как видим, Вульгата не использует при переводе слово *tribus* "племя", "родовая общность".

глагола в значении "любить" ("in leidenschaftliche Wallung geraten, lieben"); эти слова связывают с звукоподражанием, первоначально обозначением звуков, сопровождающих определенное действие — качание, укачивание ребенка, что стало восприниматься как выражение любви (HW 184; Levy I, 439, b). Еврейскую запись с первым консонантом *wāw*, [*lē*]dāwid "Давида" или "Давидов" найдем в начале большинства псалмов. Имя Давид имеет все атрибуты сыновства, избранности, царского достоинства и любви (Ср. *Sin božji iz rodu Davidovega*. Ср. также Ис. 65, 9 и др.). И уже как историческая фигура оно вторично определяет мотивацию значения "грех, покорность, признание, покаяния, прощение" во Фрейз. II.

"Насчитывается тридцать четыре безадресных псалма, и они известны как *сироты* — *orphanos*" [Premk 1992: 135]. В отличие от Далматина Трубар редко опускает имя Давида (*lē*)dāwid: ср. четвертый псалом (Пс. 4, 1):

T. *En opominaui P'salm, kir se per strunah naprej poye.*

D. *En Davidou P'salm, k'naprejpétju na strunah.*

Не излишне ли предположение о том, что в этом случае речь идет о случайном совпадении с начальной строкой Фрейз. II, 1 (*dāwid* : *ded*)?

Ecce bi detd nas ne zegrésil, (te v ueki gemu be siti, starosti ne prigemlióki (BS II, 1—4).

Этимологически слово *ded*, родственное по форме и значению с русск. *дядя* (из **dědъ* по Соболевскому), Фасмер также связывает с детской речью (ЭС I, 561).

Хотя в плане происхождения русского и еврейского обозначения дяди, вероятно, речь может идти о двух совсем не связанных между собой линиях развития, тем не менее запись слова *ded* в самой торжественной части, открывающей молитву, явно совпадает с риторической функцией связи [*lē*]dāwid "Давида" (исконно [*lə*]david "Давиду", "Давидов", также значит "дяде"). Тем более, что человек, который диктовал текст или был автором словенского отрывка Фрейз. II, детально владел техникой произнесения вводного псалма. Доказано, что части кодекса были предназначены для известного епископа Абрахама (BS 15), который даже сам мог быть автором и тем, кто диктовал текст. Слово *ded* появляется в DB пять раз: из них внутри текста только однажды в форме им. мн. и только затем, чтобы семантически отделить в последовательности слов от *oča*:

kar nelso njegovi Ozheti inu Dejdi mogli šturiti (DB II, 102b).

Слово *ded* (*Ded*) находим в им. ед. внутри текста (DB I, 25a), или как примечание на полях (DB I, 149a), в списке (DB I, x¹IVb) и еще (DB I, xVa) в двух случаях. Это легко понять, если принять во внимание, что старый (классический библейский) еврейский не знал современного обозначения деда *sēbā'* и бабушки *sā'bitā'*, исконного *savta*; *sēbā'* в Пс. 72, 10 имеет значение "человек, происходящий из Куша", "богатый народ". В штирийском наречии известно имя злой волшебницы *Savta* [Vokač 1994: 6, 23—52, особенно 6, 7, 55]³. Часто в словенском собственные еврейские имена употребляются с отрицательным оттенком (KLI: прим. 6, 7, 8, 10). Для обозначения предков, особенно старого отца, прадеда, в Библии употреблялись слова *'āb*, мн. *'ābôt* "предки", *'āba* "отец", а для Адама — *'ābikā nari 'šôn* "твой первый отец" (Ис. 43, 27; HW I, 2), ср. BS II, 97: *Preise nassui*. Название *'āba* чаще всего относилось к Богу, Творцу. Из сравнения текстов выявится, какое истинное значение имело это слово. У Трубара находим *Dedez* (TR 1558. Cla), *Deici* (TC 1555, 137), особый вариант — *Deidi* (TI 56).

Из первоначальных библеизмов Фрейз. II, отобранных и приведенных вместе с соответствующими текстами псалмов, особо исследованы одно- и многосложные слова.

³ Другие сведения о еврейских почерпнуты из неопубликованной статьи "Judje" [Knaur], исторические сведения — из материала В. Хабьяна для книги по истории словенцев [Habjan].

Ср. гебраизм *satān, haśātān* "противник", "враг" ("der widersacher", "Gegner", "der Satan", "das Gott und seinem Heilsplane feindliche Geisteswesen, das die Menschen zur Sünde verleitet" — HW108, 109). В Фрейз. II в значении "сатана" употребляется исконное слово [zoprnik]. Ср.:

ze esse sunt dela Sotonina (BS II, 19—20).
zoprnicom nasim,
ze Zlod(e)gem starim (BS II, 70)

Наряду с такими общеупотребительными словами как *amen* и *satān* приведем менее известное общесемитское *bali*, евр. *ba'al, ba'alī* "хозяин", "муж", "(мой муж)" *ba'alī* "Eigentümer", "Besitzer" (HD 79), араб. *bē'al*, араб. *baal*, аккад. *bēlu* "тот, который правит, господствует (имя божества)" (МН 130, BL 34). Исчерпывающие данные о разнообразнейших значениях евр. *ba'al* и его составе базируются как на внеязыковых фактах, так и на графико-фонетическом анализе. Ср. в словаре Ф. Безлая: *bali* "врач" (BS II, 90), *balouvanige* "лекарство" (BS II, 92; ES I, 10). Если *bali* (BS II) заимствовано через посредство ц.-слав. **БАЛИН** medicus, **БАЛОВАТИ** sūgare или непосредственно из еврейского, что, как следует из свидетельств, вполне очевидно, лексический параллелизм *bali* : *spasitelj* можно понять с учетом первоначального более широкого значения еврейского слова: *"хозяин > охранитель > врачеватель телес наших": "избавитель, освободитель (= охранитель) душ наших". Следовательно, как и у многих слов, связанных с христианской традицией, произошло изменение, а точнее сужение первоначального значения (*ba'al gūf** "хозяин, господин тела" (МН 131)). В тексте Фрейз. отр. II:

ise gest bali telez nassih
i zpasitel dus nassih (BS II, 90).

И далее:

...to n
bozzledine balouvani-
ge... ge pozstavv(il) (BS II, 94),

что может быть интерпретировано как "свою последнюю власть установил".

Прежде всего необходимо понять, как с культурно-исторической точки зрения можно объяснить сужение значения слов *bali, bolvan* до значения "врач". Издавна иудеи в своей значительной массе профессионально занимались медициной. Как следует из приведенного словарного материала, *жиды* обозначались словами *bali, bolvan*. Данные словенского фольклора говорят о том, что слово *savta*, точно передающее еврейские слова со значением "бабушка", как и синонимичное ему *bali*, в северо-западной части Словении приобрело отрицательное значение — "колдунья", и это связано с тем, что *savte* "повивальные бабки", "акушерки" занимались акушерством, приемом родов [Vokač 1994: 6, 23—52]. Снова вернемся к рассмотрению языковой тематики. Слово *bal* появляется в еврейском языке и как заимствование во многих языках в сочетании с разными словами и особенно с именами собственными (HW 122). А Эвен-Шошан приводит со ссылкой на современных писателей Бялика и Агнона евр. *ba'al gūf* "господин тела" (МН 131), *ba'al gūf lev* с тем же значением (Bjalik), "владеющие телом и искушенные в Торе" (Agnon) (МН 131). Ясно, что речь идет о вполне определенной характеристике — "*хозяин, господин тела*" : "*охранитель души*" (Ср. BS II, 90)⁴.

В некоторых довольно часто употребляемых застывших сочетаниях *ba'al* претерпело изменение семантики в направлении пейорации. Приведем некоторые примеры, чтобы стали понятнее значения или соотносительные разные семантические

⁴ [Krašovec 1977: 3]: Beim Merismus ist daher zwar wichtig, dass die Termini aufgezählt und eventuell entgegengesetzt werden, mehr aber noch, dass sie durch einen gemeinsamen Aspekt, durch Qualitäten. Aktivitäten... Der Merismus drückt also eine Ganzheit, eine Totalität aus.

параллели. В фонде собственных имен Библейского лексикона (BL) читаем: прежде всего исходное значение *Báal-a* (= "господин, хозяин"), имя божества; *Báalát-a* (= "госпожа, хозяйка"); далее status constructus с собственными именами: *Baalát Beér* (= "хозяйка источника") (BL 31); *Báal Peór* (= "господин Пеорья"), имя божества (BL 32); *Báal Tamára* (= "господин Палмы") (BL 32) и др. Далее в связи с определением в качестве сказуемого в *Báal Handán* "Баал добродетельный" (BL 31). Процесс пейорации явился результатом конкурентных отношений между двумя наименованиями бога: *Baal* — важный западносемитский знак бога; Яхва также назывался именем *Baal*. Поскольку *Baal* не был богом неба (в Сирии), а напротив, (в Ханаане) по существу был богом растительного царства, а споре между верой в Яхву и ханаанскими культами в *SZ Baal* стал обозначением идола (BL 177). Пейоративный оттенок присутствует в значениях *Báal Zebúb* (= "повелитель мух"), имя божества *Vul. Beelzebub* (BL 32), *Belcebub* (g. *Beelzebúl/Beelzebúb*), демон (BL 34), *Baliar*, обозначение сатаны (BL 34).

А. Шустер-Драбосняк (MP 123) в статье на *Belial* обращает внимание на еврейское происхождение сложений с *bal*: *Belial* (евр. = "негодность, неосвобождение, неискупление", в греческом = "уродливый Белиар"), иногда в *SZ* оно выступает и как собственное имя: *Belialovi ljudje — so lažnivi, hudobni ljudje*, т.е. "лживые, злые люди" (ср. словен. *hudobni* ⇒ *hudič* "черт"). В Кумране *Belial* стал обозначением антибожественной силы. В 2 Кор 6, 15 *Belial* (*Beliar*) противник, антагонист Христа; в светской литературе это собственное имя злого духа или антихриста (MP 123). Многочисленные новые обозначения явились результатом метонимии.

Есть основания думать, что слово *bali* имеет общее происхождение с *bolъvъnъ*. Эти слова разными путями и в разное время пришли в славянские языки. У Миклошича в статье на *baluvani* читаем: ст.-слав. *balъvanъ, bolъvanъ, klotz, saüle...*, словен. *bolvan idolum* (MEW 7). Интересно примечание: *abweichend balvohvalъstvo in einer r. qelle*. Ср. *balvohvalъstvo* (MEW 7). А. Глухак в статье на *balvan* "идол", "кумир" предполагает, что в праславянский слово проникло в форме **balъvamъ, *bol(ъ)vamъ*, более поздние формы развились, вероятно, из формы **bъlvamъ*, пришедшей из какого-то тюрского языка, возможно, из болгарского (из аварского? болгарского? хазарского?) (HE 123). Спрашивается, допустимо ли, чтобы современный этимологический словарь даже не упомянул возможность прямого или опосредованного заимствования в праславянский язык из древнееврейского языка Библии! "Старочешский словарь" Я. Гебауэра приводит *balvan* только в одном значении — "Klumpen" (Sl. stč. 25). Исчерпывающие сведения дают словари старопольского языка. "Старопольский словарь" отмечает слово *balwan* в двух значениях: 1. "idolum", 2. "Bancum salis" (Sl. stol. II, 58), а "Słownik polszczyzny XVI w." (I, 294) приводит *balwan* еще в значении "божество", "языческое божество", в польском также отмечено выражение *batwana chwalic* "идолопоклонствовать" (об израильтянах!). Также Б. Финка обращает внимание на связь или "еврейское" происхождение дублетных кайкавских форм *bolvan* : *balvan*. Вместе с тем отмеченные в его словаре латинские соответствия продолжают основные, частично связанные между собой отношением антонимии значения еврейского слова: 1. "многобожие, aether, agonia, catharma, deus, idolum, liber", 2. "идол", 3. "идолопоклонник", 4. "глупый", 5. перен. "предмет слепого обожания".

Это слово, частое в еврейском, было наименованием и обозначением евреев: *Balvanci su (Židovje) bili* (RK 105). Сходные наблюдения с другими еврейскими собственными именами для обозначения иудеев находим у Й. Кебера [KLI 55, примеч. 6, 7]. Диахронический подход подводит к осознанию того, что в случае *bali*, *balvan*, *bolvan* речь, несомненно, идет о контаминации, перекрещивании заимствований. А. Глухак замечает, что это произошло уже в праславянскую эпоху в силу частичного переплетения значений (HE 123). Вероятнее всего, заимствования происходили в разное время; первое среди них *bali*, засвидетельствованное во Фрейз. П, судя

по приведенным данным, пришло из еврейского вместе со старозаветной традицией, а *Balvanci* (*Židovje*) (RK 105) связано с более поздней волной, возможно, через посредство тюркских языков. На словенской территории слово *bolvan* встречается лишь в некоторых диалектах, из них в первую очередь следует назвать прекурские диалекты. Словарь Анича свидетельствует, что слова *balija* и *balvan* входят в современный хорватский литературный язык (RH 20), значение "неотесанное бревно (идол, кумир)" лежит в основе пейоративного употребления слова *bâlija* в значении "неученый, необразованный мусульманин, который не принадлежит к образованному миру или роду" (RH 20); сходно в словаре Бенешича (RHKJ 66). И далее в том же словаре Анича *bâlvan* — "неотесанный ствол, отрезанный или отпиленный", "пень, чурбан, колода", пейор. "глуповатый человек; глупец, дурень" (RH 21). То, что слово *balvan* не является исконным, подтверждает и П. Скок, он полагает, что мена гласных в корне *a-o-ъ* (*bъlvantъ*, *bolvan*, *bâlvan*) отражает не чередование, а адаптацию чужого гласного. Далее он отмечает, что для решения вопроса, каким было первоначальное значение общеславянского слова, очень существенна семантика венгерского слова (EH I, 103), Венгерский словарь отмечает следующие значения у слова *bálvány*: 1. "Göitze", 2. "Abgott" (HE 80).

В. Новак (BPG) полагает, что *bòlvan* в значении "идол, кумир" пришло в прекурское наречие из кайкавского *Bal*, *Bolvan*, *bolvan/ki*. Дополнительное значение "богатство, господство" можно найти в прекурских текстах: ср. *Domovina, I Kráó szta on Bolvan, staromi sze vszâki isztinszki Domorodec... podáva* [Košić 1833: 7]. Эти факты подтверждают правильность предположения, что (*ise gest bali*)... *bozzledine balouvanige... ge pozstavv(il)* (BS II, 90) скорее следует понимать как "свое последнее господство, свою власть (царствование) установил", а не как "свое последнее лечение назначил" (сочетание *zdravljenje postaviti* "лечение назначить" менее вероятно, хотя у словенских протестантских авторов этому сочетанию соответствует *postaviti, goripostaviti*) можно признать синонимами *narediti, gorinarediti*. Существенно, что значение "врач" слова **балин**, представленное в четырех источниках (Codex Marianus, Psalterium Sinaiticum, Euchologium, Sinaiticum, Glagolita Clozianus), собственно следует понимать как "врач" (S.-A. 8). Приведем некоторые толкования значений в этих кодексах: Glagolita Clozianus (67) **балин**, **балин** *medicus Proprie*, (т.е. в собственном значении): *incantator*; сходное толкование в Psalterium Sinaiticum (183); в словарице Codex Marianus (479) **балин** толкуется как "*medicus*", между тем из содержания очевидно значение "врач", "*incantator*": **много пострадавъши балин** (СМ 132, 133), **балин исцѣлн сѧ самъ** (СМ 208). Не является ли более точным объяснение "господин, хозяин тела (с магической силой, врач) сам вылечился, поправился"? (ср. *ba'al gûf* "господин тела"! — BS II, 90). Если принять во внимание хронологически более поздние тексты в словенском, встает вопрос, не идет ли речь в BS II об исконном значении или ступени, предшествующей значению "врач", в тех старых текстах (GC, СМ, ПС)? Не является ли словенское значение "врач", "*incantator*" одним из еврейских значений *ba'al* "идолопоклонник"? Особого внимания заслуживает тот факт, что словен. *vrač* "целитель со скрытой, таинственной силой", "колдун, заклинатель" отражает архаичное значение, восстанавливаемое для славянских языков (ср. русск. *врач*, в семантическом отношении проделавшее сходный путь развития — ЭС I, 361). Близкое значение имеет *bali*: *ise gest bali*... (BS II, 90). Семантическое поле слова *mag* "врач", "(право)заступник" ("заступник" — синоним Христа!) особенно наглядно проявляется в новейшем художественном произведении Н. Смиа "Христос *mag*", имеющем документальную основу [Smith 1987].

В словенском утрачено *bali*, его заменили другие по смыслу наименования, что подтверждает история словенского языка. Начиная с Фрез. отр., можно отметить только у Гутсмана это слово в значении "труд" (ES I, 10 и др.). Врач, лекарство именовались иначе: у Трубара находим *arcat, arcnija* (ТО), а А. де Соммарипа (1607)

приводит форму *dottuor* (VI, 84). Впрочем, текстуально близко приведенному отрывку из Фрейз. отр. II, 90 мог бы быть отрывок из труда Трубара "Церковная организация" (ТО), в котором говорится о единственном эффективном лекарстве для сыновей Адама, запятанных грехом:

Oli uſai de on nerpoprei vti nega b o l e ſ n i na ſiue vupane,
Vbuga, inu nekar vto Arcnyo poſtaui (139b).

С одной стороны, сочетание *upanje v buga... poſtaui*, а с другой, — *vupane vto Arcnjo poſtaui*. Обращает на себя внимание устойчивая связь *upanje v... poſtaviti*.

В пользу значения "врач" говорит и глаголический текст 1496 г. Spovid orbena: *On ozdravljaſe nemoćne, skreſevaſe mrtve, ozdravljaſe gubave* [Nazor 1979:2]. "Словарь русского языка XI—XVII вв." (I, 68) приводит *балование* "лечение", *баловати* "лечить, исцелять"⁵. Итак, в Фрейз. отр. II, 90 следует отказаться от предполагаемого *"лечение назначить" в пользу вполне обычного *poſtaviti vupane Vbuga... vto Arcnyo*. Как нам представляется, в языковом отношении более оправдано понимание выражения *bozzedine balouvanige* как "власть, царствование установить (царство на тысячелетия)". В упомянутом тексте Фрейз. отр. II, 90 нельзя не обратить внимания на особую торжественность стиля, отмеченную альтернативой *ba : bo*: *ba : po*, потому что речь идет о торжественном заявлении: (*ba[li]... bo[zzedine] ba[louvanige]... po[ſtavv(ii)]*).

В "Словенско-немецком словаре" О. Гутсмана находим семантически близкие слова, которым определяется *balovanje*: *muja, baluvanje, sadievanje, Mühe*; *on / i veliku sadieva = er gibt sich viele Mühe* (Gutsman). Разве трудно представить себе семантический переход *"господство" > *"управление" > "старание" > "труд" > "боль"? Не забудем также о значении "агония" у кайкавских форм *bolvan : balvan* (RK 105). Следует обратить внимание на то, что на языке идиш слово *balvón, ba'lvón*, представляющее собой некую ступень смешанной адаптации евр. *ba'l* и славянского слова (PEC 49), дает дополнительное основание для принятия еврейского посредства, что может быть подтверждено семантически с разных сторон. В еврейском *ba'l* по причине широкого семантического спектра является очень важным корнем. Генезиус говорит о глаголической форме *ba'l*, имеющей в еврейском значение "быть богатым и могучим", "владеть" ("reich u. mächtig sein, beherrschen, besitzen"), также в эфиопском и арабском (HW 121). Как существительное *ba'l* имеет разветвленную семантику в еврейском: 1. "муж, супруг, господин (Eheherr, Gemah)", 2. "житель (города) (Einwohner)", 3. "финикийский бог", 4. "географическое название" (HW 121).

Евр. *bali* явилось результатом присоединения к основе *bal-* посессивного суффикса *-i*, уже утратившего в древнееврейском это архаичное значение, и как результат — *bal* и *bali* стали полными синонимами. В старославянский это слово было заимствовано в форме *bali* уже без архаичного посессивного значения. По отношению к нему слово *bolvan*, имеющее ту же основу является более поздним тюркским заимствованием, получившим оформление на *-van* в тюркских языках.

Для соединения языковых и внеязыковых аргументов следует соотнести приведенный этимологически доказанный материал с ключевыми значениями в контексте, имеющем фабулу. В этом отношении наиболее показательны стихи Пс. 139, 15 и 139, 8, которые своим широким спектром значений покрывают всю парадоксальную многомерность семантического поля *bali*. В плане семантики в Пс. 139, 15 и Фрейз.

⁵ Б. Чоп особо подчеркивает, что этимология очень рискованное дело [Čop 1977: 82—126]. Можно попутно снова вернуться к идее Ф. Безлая о возможности развития противоречивыми путями уже отмеченной нами пейорации через сближение *bali* "врач" (BS II, 90), *balouvanige* "лекарство" (BS II, 92; ES I, 10) с *boltat* "болтать" в связи с семантическим антонимом *bolovanje* (оборот). В Фрейз. отр. II большой обозначается словами **malomogi, malomogoncka* (прич. наст. вр.).

отр. II, 139 наблюдается употребление выражения *ti gospodar telesa od nekđaj* в значении "ты господин тела с давних времен". Ср.:

Пс. 139, 15: *ti si gospodar telesa od nekđaj, moje telo (moje kosti) moje telo ni bilo skrito pred tabo, (ki sem) ko sem bil ustvarjen na skrivnem, stkan v globočinah zemlje*⁶.

Пс. 139, 15: *lō'-nikhad 'osmū mimmekā 'ašer 'uššēfi bassēter ruqqamfi belahitiyyōt 'āres:*

T: *Muie ko ſty neifo bile skriue- ne pred tebo, kir sem vti skriunu- ſti ſturien, inu kir ſem pildan of- dolaj vti ſemli.*

D: *Moje ko ſty néfo bile tebi ſkrive- ne, ker ſim jeſt na ſkrivnim ſturjen, Inu kir ſem pildan of- dolaj v'Semli.*

Lu: *Es war dir mein G e b e i n nicht verloren / da ich im verborgen gemacht // ward / Da ich gebildet ward vnten in der Erden*⁷.

Как видим, в этих контекстах слово *koſty* употребляется в том же значении, что и *telo*, и понимается вполне конкретно.

В качестве дополнения перевод Трубара Пс. 22, 10:

T: *Sakai ti ſi mene is muie Matere t e l e ſ ſ a iſuekil, Ti ſi muie ſeuipane she tedai kadar ſem per perſih muie matere bil.*

Современное евр. *gûf* в качестве обозначения тела (сочетание *ba'al gûf* "господин тела") утвердилось, вероятно, в эпоху проникновения христианской духовности и символики. Первоначально власть бога над телом и душой выражалась в Библии самыми различными сочетаниями (в данном случае сочетанием со словом *telo*), которые понимались в своем собственном изначальном значении (ср. Пс. 73, 26 и др.). В Старом Завете евр. *qereb* "внутренность" служит образно-понятийным обозначением тела (Пс. 39, 4; 55, 5 и др.), *beten* "брюхо" (Пс. 22, 10 и др.), *bāsār* "мясо" (Пс. 16, 9, 119, 120) [Premk 1992: 439]. Это также видно из словенских переводов. Связь тела и души в плане отражения целостности человека и табуистическое отношение к слову *telo*, которое редко употреблялось для обозначения, хорошо видно из переводов псалмов Давида:

T. Ps. 31, 10: *Goſpud bodi meni miloſtiu, ſakai ieſt ſem vнадлуги, muie o k u i e prepalu od ſhaloſti, Muia d u ſ h a tudi inu mui t r e b u h*

T. Ps. 63, 2: *O But ti ſi mui Bug, ieſt zhuiem vſgudo htebi, muia D u ſ h a i e sheina po tebi, muie meſſu shely po tebi, V ti puſti inu ſnſhi deshely, gdi nei vode.*

⁶ [Luther, 611]: "Die Erkenntnis oder göttliche Prädestination... iſt mir zu wunderlich und zu hoch und unbegreiflich".

⁷ Там же.

Таковы лексические замены слова *telo*. Рассмотрим еще типичные библеизмы, которые в большинстве своем (за исключением особого случая и с позиций гебраистики теперь объяснимого *izconi... doconi* (BS II, 65), могут быть отмечены; к обсуждению *izconi... doconi* мы еще вернемся.

Из стилистически отмеченных библеизмов Фрейз. отр. II выделяем слово *lice*, которое связывалось с божьим ликом, что само по себе является образным употреблением. Ср. еще: Фрейз. отр. II, 30—32: *ese bese priuae zlouuezi u li z a tazie, acose i mui gesim* — “люди были на вид такие же, как мы” (BS II, 30—32); Фрейз. отр. II, 69: *egose ne mosem nikimse liza ni ucrniti* — “перед его ликом никуда не можем скрыться” (BS II, 69). Отметим также сочетание слов *telo i duša* — нехристианское — еврейское толкование с опорой на основное значение евр. *nepeš* “душа” и “тело”: *ise gest bali t e l e z nassih i zpasitel d u s nassih* (BS II, 90), *teles nassich i dus nassich* (BS II, 40); *moia slovueza i me delo*. Ср. евр. *dābār*. 1. “слово (Rede, Wort)”. 2. “дело (Handlung)”; *uvideti i zami razumeti* (BS II, 29); типичное соединение двух слов в род. п. (евр. *smihut*, status constructus) или его одночленные переводы: *zinouue bosii* (BS II, 16), *zinzi bosije* (BS II, 109) = евр. *bēnē ‘ēlōhīm* “сыновья бога”... [братья] (BS II, 15, 67), *pred stolom bosigem* (BS II, 72, 73), *pred bosima ozima* (BS II, 27), *pred bosima osima* (BS II, 75, 86), *narod zlovuezki* (BS II, 11), *zinzi* (BS II, 59, 83), *u ime bosie* (BS II, 49, 55, 56), *od szlauui bosige* (BS II, 10). Синонимичные лексические пары: [*bratria*,] *bozuuani i b[ō]-b[e]lgeni* (BS II, 67, 68); (*uvideti i (zami) razumeti* (BS II, 29), (*dostoi*) *od gego zavuekati i gemu ze oteti* (BS II, 95, 96); библейские метонимические фигуры; устойчивые сочетания с антонимическим противопоставлением лексем: *libo (bodī) dobro, libo (li zi) zlo* (BS II, 82—83), *izconi... doconi* (BS II, 65). Эти синонимы с антонимичными префиксами (*od... do*) уже сами по себе свидетельствуют в пользу словообразовательной кальки с евр. *mē‘ōlām... ‘ad ‘ōlām* *от не-конечности до бес-конечности” (von Un-endlichkeit zu-Unendlichkeit), что само по себе говорит о прямом заимствовании из еврейского, потому что именно в еврейском найдем те же старые языковые союзы, что и в BS II. (Пс. 25, 6 *mē‘ōlām od vezhnufti*, Т Ps. *od vekoma femkaj* DB I, 285b... 1 Sam 1, 22 *‘ad ‘ōlām vŕe njegove shive dny* DBI, 149b). Целостность *izkoni... dokoni* чаще всего передается в евр. *lē‘ōlām*, ведь предлог *lē* (в этом примере в функции префикса) обозначает одновременно *iz... do, iz* и *do*. В Пс. 85, 6 *lē‘ōlām* “отныне и вовек”. Отрицание *lē‘ōlām* в Пс. 30, 7 Трубар переводит *ieŕt vekoma ne bot...*, а Далматин — *ieŕt nebot nikuli vezh* [Premk 1992: 230].

Среди типичных сложных гебраизмов, которые являются образцами (прямого или опосредованного) перевода с еврейского оригинала, рассматривают также и случаи повторения одного и того же слова или морфемы в одних и тех же различных синтаксических функциях, а также неполная *figura etymologica*. Как пример двукратного повторения различной записи одного и того же прилагательного в форме тв. п. ж. р. приведем

A to bac

mui ninge[= nine] nasu prau-
dnu vuerun i praudhv

izbovuediu... (BS II, 103—106).

В различных синтаксических функциях представлены *bozzledine* (прилаг. вин. ед.) и *pozled* (нареч.):

to n bozzledine balouvani-

ge pozled ge pozstavv[il] (BS II, 91—93).

Неполная *figura etymologica* (плеоназм, синтаксический оборот, содержащий однозначные глагол и имя в форме вин. пад. является украшением еврейской поэзии: *I zuoim glagolom izbovuedati* (BS II, 78, 79). Полной *figura etymologica* было бы (отношение глагола и имени с тождественными основами): *I zuoim glagolom *izglagolati*.

Повторения и *figura etymologica* — знаки торжественного стиля. В старом еврейском тексте появляется также *infinitivus absolutus*⁸.

Таковы размышления о семантике, опирающиеся на собранный лично Ф. Безлаем материал романизмов в словенском языке и рукописный материал Отдела исторического словаря словенского языка.

Особый интерес представляет слово *strast* "страсть", "страдание", которое имеет структуру производного с суф. *-tŷ* от гл. *stradani* (ЭС III, 771). Современное словен. *nastradati* является сербохорватизмом; ц.-слав. **страсть** характеризуют следующие значения: 1. "страдание", "беда", "мука", 2. "страсть" (МС III, 542). В переводах ветхозаветных текстов церковнославянскому слову соответствует евр. *lēb* "сердце". С точки зрения старой ближневосточной перспективы оба значения связывает символика еврейского слова *lēb* "сердце", которое является средоточием чувств, а также страданий. Об этом поют псалмы:

Т. Ps. 16, 9

*Sa letiga volo ie muie ſ e r c e veſſelu, inu muia
zhaſt ſe tudi ſylnu veſſeli, inu muie meſſu vtim vupani
pozhiua.*

Внутренность как место чувствований или сердце внутри передает также евр. *qereb* (HW 758). Ср. Пс. 39, 4; 55, 5. Первое значение "страдание" словенский впоследствии утратил. Попутно заметим, что значение "страдание" сохраняет словац. *strast*, обычно в форме мн. числа *strasti* "телесное и душевное страдание, мука, боль, усердие, забота, печаль, скорбь, горечь" (SS 302). В этом значении, свойственном старославянскому языку, слово вошло во все славянские языки. В словенском *strast* "мука, страдание" находим только в Фрейз. отр. Невозможно обнаружить это значение ни у протестантских авторов, ни в рукописях, ни в словарях Мегисера, Воренца, Мурко. В словаре да Соммарипа находим в соответствии с *passione* "страдание" слово *martra*, известное словенским протестантам (VI 138). Далее у Гутсмана ~ *strast* в значении "Anmuthung" ("притязание, "ожидание"), в словаре Мурка найдем это слово только в немецко-словенской части (MDS: s.v. *Leidenschaft*). В "Сравнительной грамматике славянских языков" Миклошич упоминает слово *strast* ~ *strad-* (*stradati*), но без указания источника, вероятнее всего слово взято из Фрейз. отр. М. Плетершник приводит для слова *pečal* ст.-слав. значение "der Gram" ("печаль, скорбь", "горе"), в рукописном словаре словенского языка Водника (50/ib): *pečal-i* ж.р. 1. "Kumer", 2. "Hoher Grad des Grames, pezhenje, ſkerb", ж.р. *pezhali-li*, ж.р. "tuga". Эти факты отражают предшествующую ступень семантического развития слова *strast* (по ассоциативной связи с *žgoča strast*) (50/ib). В "Материалах для словаря древнерусского языка" Срезневский приводит для слова *печаль* значения "огорчение", "горе" и "забота" (МС II, 923), что соответствует значениям этого слова в Фрейз. отр.: *to vuelico strastiu stuorise* (BS II, 108), *potom ne narod zlouezki strazti i petzali hoido* (BS II, 12) "страдание, dolor, passio", последнее в значении "Schmerz, Leiden".

Что явилось причиной полного исчезновения старого значения? Явилось ли значение "Leidenschaft" результатом независимого развития нового времени, или речь идет о сохранении старого значения? Для разрешения этой семантической проблемы существенны новейшее открытие близости BS II и текста латинских псалмов. Поиски ранних романских или вульгарнолатинских посредников (латинский, а не старославянский как промежуточный оригинал — факт, установленный М. Косом и К. Гантаром), далее первичные и вторичные, прямые и косвенные непрекращающиеся романские влияния на славян, воздействующие также на лексико-семантическое поле, помогают понять причины постоянных семантических изменений и вместе

⁸ Об абсолютном инфинитиве в Пс. 139, 4 см. [Bauer—Leander 541] и [Dahood III. 293].

с тем служат подтверждением того, что Фрейз. отр., несмотря на многочисленные непоследовательности и варианты, в лексическом отношении являются словенским памятником. Классическое лат. *pātor, pāssus sum* "страдать (страдать, допускать, пропустить, дать)" (LR 759) именно в эпоху позднелатинского X в. через прич. прош. вр. *passus* дало *passion*, в прованс *passios* "страдание, боль, страсть" (VELI 984). Ср. в "Словаре старофранцузского языка": 1. *Passion du Christ*; 2. *Souffrance physique, mal, douleur, maladie. Male passion, épilepsie*. 3. *la colique*. 4. *affection vive* (AF 478); в словаре М. Костренчича: *passio* 1. *morbus, dolor, boles, bol*. 2. *cupiditas, appetito, libido, požuda, pohlepa, žudnja, strast* (LI II, 816). В фуриянском словаре для слова *passion* отмечено также значение "любовная страсть, *passion d'amour*": *C'al vi dei qualunque pene, Ma nè mai passion d'amour* (VF 712). Во Фрейз. отр. II слова *strazti* и *petzali*, несомненно, являются полными синонимами:

potom

na narod zlouezki

strazti I petzali boi-

do (BS II, 12).

Мы полагаем, что речь идет об отношении "печаль"—"давление, нужда, бедствие" и "печаль"—"беда" (духовная мука, жгучая боль, ср. сходный семантический переход в направлении "Leidenschaft" в словенском в Mz 2, 6—12). Окончательный этимологический ответ дает нам нем. *Leidenschaft*, которое в словаре Клуге связывается с французским: *Leidenschaft für frz. passion seit... 1617... als neues Wort... Seine Bildung geht vom subst. Inf. Leiden aus, wie lat. passus von pati*. (Kluge 432). По всей вероятности, словен. *strast* в значении "Leidenschaft" заимствовано из французского через посредство немецкого. Слово *strast* из Фрез. отр. испытало на себе иноязычное влияние и приобрело новое значение. Мы лишь хотели обратить внимание на возможность иноязычного влияния на семантику слав. *strastъ*, понимая, что эта проблема требует дополнительного изучения.

Краткий исторический экскурс. О современном состоянии исследований необходимо сказать следующее. Было доказано (К. Гантар, Й. Погачник и другие) (FDG 1968: 185—200; FDP 1968: 121—157), что по своим стилистическим и композиционным особенностям Фрейз. отр. в целом связаны с античной риторикой и вместе с тем представляют христианский взгляд на мир. Влияние старозаветной традиции с устойчивыми смысловыми антитезами, из которой происходит все содержание христианства, не осталось незамеченным в литературно-исторических исследованиях. Р. Нахтигаль и К. Гантер пятьдесятю годами позднее при исследовании Фрейз. отр. обратили внимание на значение латинской части того же кодекса, имеющей сходную структуру (FDG 1968: 185). Благодаря исследованиям М. Коса, показавшего, что одной и той же рукой написаны Фрейз. отр. II, а также четыре латинских текста, К. Гантар провел тонкий стилистический и структурный анализ всего кодекса, при этом особое внимание уделил гомилиям и обрядовым текстам. В самом тексте *Quid enim in psalmis non invenitur* при глубоком проникновении в псалом провозглашается идея полного духовного и телесного очищения, в связи с этим особого внимания требует сравнение в языковом отношении Фрейз. отр. II и отобранных родственных отрывков из текста псалма, хотя и нет необходимости в признании единого автора (возможно, по причине очевидного почерка обоих членов семьи). М. Бейт-Арье [Golob—Beit-Ariè 1994], специалист по палеографии средневековых еврейских рукописей, в докладе, подготовленном под руководством Н. Голоба и прочитанном в Люблянском университете, как раз отметил, что у евреев рукописные и даже книжные работы часто производились в семье отдельными ее членами для собственного внутреннего пользования ("for their own use"). Раввинская литература знает множество историй о лечебной силе псалмов. Много изданий выдержала книга Pimure Tehillim. О результатах лучше судить по третьей строфе драгоценной песни автора Фрейз. отр. или кого-то другого, непосредственно с ним связанного, кого К. Гантар в своем исследовании *Kompositorische und stilistische Besonderheiten der Freisinger Denkmäler*

III

| | | |
|---|---|---|
| <i>Psalmus tristem consolat, laetum temperat, iratum mitigat, inertes suscitavit, fastidiosos oblectat, peccatores ad lamenta invitat, pauperem recreat, divitem ut se agnoscat increpat.</i> | ~ | <i>Псалом печального утешит, резвого успокоит, сердитого укротит, малодушного ободрит, угрюмого развеселит, грешника призовет к раскаянию, бедного поддержит, богачу силы к познанию укрепит.</i> |
|---|---|---|

Традиции псалмов в словенском тексте особенно наглядно проявляются во Фрейз. отр. II, который во многом отличается от двух других текстов молитв. Вот почему отдельные части текста Фрейз. отр. II сопоставлены с исходным текстом псалма сходного содержания (особенно в Пс. 139) и нашими первыми переводами (со словарем П. Трубара и Ю. Далматина) на фоне других оригиналов (М. Лютера и Вульгата). При подборе наиболее наглядных примеров принимаются во внимание прежде всего псалмы с богатыми лексическими и текстовыми параллелями, доказанными также для Фрейз. отр. II. Максимум интензивности, наблюдаемый в Фрейз. отр. II, композиционно легко воспринимается в духе старой библейской поэзии как трехчленная последовательность текстовых единиц: I + II параллелизм синонимичных членов, II + III параллелизм противопоставленных членов.

Фрейз. отр. II:

*ne mosem
nikimse liza ni ucriti,
nicacose ubegati,
nu ge stati pred
stolom bosigem...* (BS II, 69, 70).

В качестве семантической параллели можно привести отрывок из Пс. 139, 8: *Vlizani ucriti, nicacose ubegati*.

Посмотрим прежде всего в еврейском источнике, затем в переводах Трубара (T), Далматина (D), Лютера (Lu) и в Вульгате (Vu), в каком дополнительном отношении находятся идейно совпадающие текст Фрейз. отр. II, 69, 70 и 139-й псалом (Пс. 139, 8):

(T) *Aku iest grem gori V nebesa,
taku fi ti vundukai, Aku iest fi po-
stielem vtim Peklu, pole taku fi ti
tudi tukai.*

(D) *Aku bi iest shal v Nebu,
taku fi ti tu: Aku bi fi pak
v' Pakal postlal, pole, taku fi ti
tudi tam.*

(Lu) *Fure ich gen Himel / so bistu da / Bettet-ich
mir in die Helle / Sihe / so bistu auch da.*

(Vu) *Si ascendero in caelum, tu illic es;
si descendero in infernum, ades.*

Этот стих относится к числу наиболее сильных во всем псалме (Пс. 139), он незаметно входит в сознание и подсознание читателя помимо его воли. Это предмет многочисленных теологических исследований, поскольку сообщает о вездесущности Бога. Об этом размышляют отцы церкви. У Августина находим: "Почему не я внизу в мире теней, однако ты там тоже. И если опущусь на дно ада, ты присутствуешь"⁹.

⁹ О содержании сообщения, передаваемого глагольными формами *'im-essaq šamayim* "если поднимемся на небеса" и *we'assi'ah še'ol* "если сойдем в ад" см. [Augustini 1932].

Совершенно новое понимание того, что Бог присутствует также в *šeolu*, т.е. в подземелье, в царстве мертвых. Таково отношение между добром и злом, как это различает псалом, возможно, говорит о стремлении к совершенству, по пути от дуализма к единоначалию. Ведь некоторые комментаторы связывают *šeol* с местом, которое не на крайнем севере, но, напротив, легко может быть на северо-западе [Augustini 1932: 1]. Целостность мышления, проявляющаяся в выражениях *'im-essaq šamayim* "если подняться на небеса": *wəass'āh šē'ōl* "если спущусь в ад", оформлена стилистически-риторической фигурой мерисма. Противоречие — антитеза выступает в покрове космической целостности, причем различие между мерисмом и антитезой распадаются из содержательных элементов¹⁰. Пс. 139, 8 передает трехмерность божественного, inferнального и человеческого, тем самым отражает во всей полноте семантику слова *hali*. Каково же происхождение этого библейского повествования?

Комментаторы Мидраша приписывают авторство 139-го псалма Адаму, так как тот первым хотел убежать далеко, "до неба", от взгляда Творца [Brandt 1959: 138, прим. 21]. Так под углом зрения исходного Старого Завета раскрывается глубинный смысл слов. Фрез. отр. II по содержанию близко 139 Псалму, хотя имеются различия в обозначении греха, судьбы, ада, тьмы, гибели, неба, вечного освобождения. Все это опирается на старую библейскую традицию. Понимание таких слов, как *greh, krivda, duh, obličje, nebesa, podzemlje, srce, misel, večen, pot, sin, sinovi človeški*, сложенных и сочетаний слов типа *preišči, spoznaj srce, misli, večni pot* получило свое целостное библейское выражение в свете старой псаломской традиции в языке авторов эпохи Реформации П. Трубара и Ю. Далматина.

Фрез. отр. II содержат столько гебраизмов, что, хотим мы того или не хотим, мы не можем исключить возможности, что этот текст писал обращенный в новую веру и ословенный еврей или, что более вероятно, полуеврей, который по причине своей богобоязни и деловой активности особенно понимал ценность записи на словенском языке. О новообращенных также упоминает историк искусств Н. Голоб в связи с памятниками из Стичны, написанными двумя столетиями позднее (XII в.), когда пишет: "Изображения, которые нарисованы руками многочисленных художников на полях тек кодексов, нам показывают, что писцы были скорее всего *laiki* и *konverzi*, а не монахи, что было бы более обычным для монастырских кругов [Sosić 1994: 7]. В. Хабьян упоминает по источникам начала X в. некоторых каринтийских княгинь, овдовевших во время религиозных войн 765, 772 г. и во время восстания 828 г. Под 925 г. известна жена вельможи *Imma*, которая могла бы быть матерью или бабушкой *Eme Selpko-Vrepke* [Habjan]. *Imma* не является ни словенским, не немецко-романским именем, тогда как в еврейском оно значить "мать". Возможное, действительно, речь идет об Эмме, вероятно, Пилштинской, которая, как следует особо подчеркнуть, жила во время Конрада II, в эпоху, когда христианско-феодалная цивилизация утверждалась во всем каринтийском мире. Не забудем далее об имени *Savta*, евр. "бабушка", которое на протяжении столетий приобрело в народной мифологии некоторый отрицательный оттенок "злая старая женщина", "злая колдунья", "волшебница, чародейка" [Vokač 1994: 6, 23—52]. Все это достаточно убедительные аргументы в пользу очень раннего существования словенского населения с еврейскими корнями.

Дополнительные основания дают другие сферы культурной и художественной жизни. В рукописях из Стичны Н. Голоб, кроме того, обращает внимание на возможность еврейского авторства и удивляется тому, что можно в исследованиях об авторах старейших словенских памятников обойти вниманием такую образованную часть словенского населения еврейского происхождения: "Мы должны знать еще следующее: в связи с XII в. мы говорим только о латинском и в крайнем случае о таких языках, как средневековый немецкий, французский и т.п., и совсем забываем о евреях, которые жили как значительная община и как своеобразное культурно-интеллектуальное ядро в этих городах. В еврейских общинах издавна существовала

¹⁰ См. в тексте сноску 3.

традиция, согласно которой все мужчины, не обделенные умом, умели читать, писать, выражать свои мысли, неоднократно они сами переписывали книги для личного пользования. Представьте себе, что Вы как гражданин какого-то средневекового города жили вблизи еврейской общины, и Вам известно, какова интеллектуальная сила и как ясен мир, если с помощью чтения придешь к углубленному пониманию мира и многого другого; параллельно с большим размахом шло развитие школ и латинской культуры” [Sosić 1994:7]. Непрерывающееся пребывание евреев в Словении засвидетельствовано документами [Vivian 1982: 94]¹¹. Приведу краткий очерк еврейских поселений. Первые поселения еврейских народов, пожалуй, могут быть отнесены к эпохе египетского рабства, это были те самые свободные люди, которым удалось бежать из Египта еще до Моисея. С I в. н.э. борьба с римлянами привела к сильным миграциям, которые получили особый размах (при Адриане) после подавления восстания Бар Кохбе (132—135 г. н. э.), когда семь миллионов евреев расселилось из осажденной Палестины по всему свету: в Испании, а также в отдаленных частях Римской империи, через Вавилон они продвинулись на восток и дошли до Средней Азии, Китая и Японии. Еврейские колонии, так широко распространенные по всему свету, связывала общая вера и религиозная литература. Для происхождения Фрейз. отр. существенно, что значительный поток еврейских миграций достиг на севере Ирландии, на юге в Италии были постоянные поселения романиотов; в VIII—X вв. были большие еврейские колонии в Солуни. В X в. возможно присутствие в Словении средиземноморских евреев, это были кочевники, торговые люди, в языковом отношении образованный и просвещенный народ приходил к нам торговыми путями. Ашкенази, которые пришли в подавляющем большинстве с севера, в XII в. оставили на наших землях многочисленные ценные памятники письменности. Как показали недавние открытия, пришли через Италию [Vivian 1982; Todeschini 1991].

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

- МС — И.И. Срезневский. Материалы для словаря древнерусского языка. Т. II. СПб., 1895.
 ПС — С. Северьянов. Psalterium Sinaiticum: Синайская псалтырь. Памятники старославянского языка. IV. Пг., 1922.
 РЕС — Русско-еврейский (идиш) словарь. М., 1989.
 Фрейз. отр. — Фрейзингские отрывки (= Brižinski spomeniki).
 ЭС — М. Фасмер. Этимологический словарь русского языка / Пер. с нем. и доп. О.Н. Трубачева. Т. I—IV. М., 1964—1973.
 AF — A. J. Greimas. Dictionnaire de l'ancien français. P., 1968.
 A.—S. — R. Aitzetmüller, L. Sadnik. Handwörterbuch zu ben altkirchenslavischen Texten. Leiden, 1955.
 Augustini 1932 — A. Augustini. Confessiones. Celje, 1932.
 Bauer—Leander 1962 — H. Bauer, P. Leander. Historische Grammatik der Hebräischen Sprache des alten Testaments. Hildesheim, 1962.
 BL — A. Grabner-Haider in J. Krašovec. Biblični leksikon. Celje, 1984.
 BPG — Fr. Novak. Slovar bettinskega prekmurskega govora. Dopolnil in uredil V. Novak. Pomurska založba, 1985.
 Brande 1959 — W. G. The Midrash on Psalms. New Hawen, 1959.
 BS — Brižinski spomeniki. Znanstvenokritična izdaja SAZU. Ljubljana, 1992.
 BV — Polarno izražanje v psalmu 139 // Bogoslovni vestnik. 1984. N 44.
 BZ — J. Krašovec. Die polare Ausdrucksweise im Psalm 139 // Biblische Zeitschrift. 1974. № 18.
 CM — Codex Marianus / Изд. В. Ягича. СПб., 1883.
 Čop 1971 — B. Čop. Eine etymologische Kontroverse // Razprave II. Ljubljana, 1971.
 Dahood 1965/66 — M. Dahood. The Anchor Bible, Psalms II. N. Y., 1965/66; III, N. J., 1970.
 DB — J. Dalmatin Biblia, tv ie, vse svetv pismv, Starigo inu Noviga Tejtamenta, Slovenjki, tolmazhena. Wittemberg, 1584. Ljubljana, 1968.
 EH — P. Skok. Etimologijski rječnik hrvatskoga ili sprskoga jezika. Knj. I—IV. Zagreb, 1971—1974.
 ES — F. Bezlaj. Etimološki slovar slovenskega jezika. Knj. I—II. Ljubljana, 1976—1982.
 FDG 1968 — K. Gantar. Kompositorische und stilistische Besonderheiten der Freisinger Denkmäler. München, 1968.

¹¹ [Vivian 1982: 94]: Pare, insomma, che le considerazioni... per quanto riguarda la continua presenza ebraica in Slovenia siano esatte. n. d.

Habjan — V. Habjan. Mejniki slovenske zgodovini. Rokopis.

HD — J. Lavy. Langenscheidts Handwörterbuch, Hebraisch-Deutsch. Berlin—München, 1985.

HE — A. Gluhak. Hrvatski etimološki rječnik. Zagreb, 1993.

HW — W. Gesenius. Hebräisches und Chaldäisches Handwörterbuch über das Alte Testament. Leipzig, 1878.

GC — J. Kopitar. Glagolita Clozianus, deduc. B. Kopitar. Vindobonae, 1836.

Golob—Beit-Ariè 1994 — N. Golob, M. Beit-Ariè. Paleografia hebrejskih rokopisov / Predavanje M. Beit-Ariè pod mentorstvom N. Golob. Ljubljana, 1994.

Gutsmann — Deutsche-windisches Wörterbuch mit einer Sammlung der verdeutschen windischen Stammwörter und einiger vorzüglichern abstammenden Wörter verfasst von O. Gustmann. Weltpriestr. Klagenfurt, 1789.

KLI — J. Keber. Leksikon imen. Celje, 1988.

Kluge — F. Kluge. Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. B. 1957.

Knaur. — Knaur. Slovensko-nemški leksikon. Državna založba. (v tisku).

Kor. — Pismo Svetega Pavla Korinčanom. Poglavlje iz Biblije.

Košič 1833 — J. Košič. Krátky návuk vogrskoga jezika. Nagibanye na vesenyè vogrskoga jezika. 1833.

Krašovec 1977 — J. Krašovec. Der Merismus im Biblisch-Hebräisches und Nordwestsemitischen. Roma, 1977.

Levy — J. Levy. Neuhebräisches und chaldäisches Wörterbuch über die Talmudim und Midraschim (4 vols.). Leipzig, 1876—1889.

LI — M. Kostrenčić. Lexicon latinitati medii aevi Jugoslaviae. V. II, 1978.

LR — M. Divković. Latinsko-hrvatski rječnik za škole. Zagreb, 1980.

Lu — M. Luther. Die Gantze Heilige Schrift. Bd. II. München, 1974.

Luther — M. Luther. Summarien über die Pjalmen und Ursachen des Dolmetzchen. Mohn, 1533.

MDS — A.J. Murko. Deutsh-Slowenijches Handwörterbuch. Graz, 1833.

MEW — F. Miklosich. Etymologisches Wörterbuch der slavischen Sprachen. Wien, 1886.

MH — A. Even-Šošan. Hamilton Hehadaš. Jerusalem, 1977.

MP — A. Šuster-Drabosnjak. Marion pasijon, 1811. Celovec, 1990.

MT — H. Megiser. Thesaurus Polyglottus. Francofurti ad Marnvm, 1603.

Mz 2, 6—12 — Druga Mojzesova knjiga (Exodus).

Nazor 1979 — A. Nazor. Spovid općena. Latinička transkripcija glagoljskog teksta tiskanog god. 1496 u Senju. Senj, 1979.

Plet. — M. Pleteršnik. Slovenško-nemški slovar. Knj. II Ljubljana, 1974.

Premk 1992 — Korenina slovenskih Psalmov. Ljubljana, 1992.

RH — V. Anić. Rječnik hrvatskoga jezika. Zagreb, 1991.

RHKJ — J. Benešić. Rječnik hrvatskoga književnoga jezika od preporoda do I. G. Kovačića. Zagreb, 1985.

RK — B. Finka. Rječnik hrvatsoga kajkavskoga književnog jezika. Knj. I. Zagreb, 1984.

Sl. stč — J. Gebauer. Slovník staročeský. Praha, 1970.

Sl. stol. — Słownik staropolski. T. II. Warszawa, 1956—1959.

Smith 1987 — M. Smith. Gesù Mago (= Jezus the Magicien). Roma, 1987.

Sosić 1994 — Sosić — N. Golob: Tam, kjer sije sonce, se je lahko gibati. Razgledi // Časopis za umetnost, družbo in humanistiko 10 (1017—13. maja 1994).

SS — Slovník slovenského jazyka. D. I—VI. Bratislava, 1959—1968.

Stankiewicz 1985 — The Slavic expressive component of Yiddish // Slavica hierosolymitana. N° VII. Jerusalem, 1985.

SZ — Sveto pismo Strate zaveze ali Stara zaveza.

TI — P. Trubar. Cathehismus s dvema islagami. Tübingen, 1575.

TC — P. Trubar. Cathehismus. Tübingen, 1550; Cathehismus. Tübingen, 1555.

TO — P. Trubar. Cerkovna ordninga. Tübingen, 1564. München, 1973.

Todeschini 1991 — G. Todeschini, P.C. Iofy Zoratti. Il mondo ebraico. Gli ebrei tra Italia nord-orientale e Impero asburgico dal Medioevo all'Età contemporanea. Pordenone, 1991.

TR 1558 — En Regishter. Tuebingen, 1558.

VELI — O. Pianigiani. Vocabolario etimologico della lingua italiana. Genova, 1991.

VF — G.A. Pirona. Il nuovo Pirona Vocabolario friulano. Udine, 1988.

VI — G.A. Da Sommaripa. Vocabolario Italiano, e Schiauo. Udine, 1607 = Slovar italiansko-slovenski. Ljubljana—Devin—Nabrežina—Trst, 1979.

Vivian 1982 — A. Vivian. Iscrizioni e manoscritti ebraici di Ljubljana. Egitto e Vicino Oriente V. Pisa, 1982.

Vokač 1994 — Z. Vokač-Medic. Pogovori pri Savti. Vesele zgodbe o vampirjih. Sentilj, 1994.

Vu — Psalterii secundum Vulgatam Bibliorum Versionem. Nova recensio. Clervaux, 1961.

© 1996 г. К. ВИТЧАК

**К ПРОБЛЕМЕ СУЩЕСТВОВАНИЯ *b
В МИКЕНСКОМ ГРЕЧЕСКОМ**

Посвящается памяти Майкла Вентриса

1. В недавней статье в "Вопросах языкознания" И. Хайнал попытался показать важность микенского греческого для реконструкции праиндоевропейской фонологической системы. Однако его подробное обсуждение проблемы представленности губной смычной *b в текстах линейного письма В нуждается в реинтерпретации с точки зрения микенологии. Во-первых, он не учитывает возможность существования звонкой губной серии *b в слоговом линейном письме В. Во-вторых, он часто использует лексический материал, связь которого с рассматриваемым вопросом весьма сомнительна или вообще невозможна [Хайнал 1992]. Я не намерен критиковать его статью, т.к. некоторые его наблюдения интересны, а его идеи об индоевропейской фонологии представляются разумными. Моя задача — рассмотрение микенологических проблем.

2. Когда М. Вентрис и Дж. Чедвик опубликовали в 1953 г. сделавшую эпоху статью "Свидетельства о греческих диалектах в микенских архивах" [Ventris, Chadwick 1953], их экспериментальная слоговая сетка включала в себя только одну губную серию p, а именно pa (*03), pe (*72), pi (*39), po (*11) и pi (*50). Пионеры микенологических штудий полагали, таким образом, что нет различий между губными /p/, /ph/ и /b/ в линейном письме В. Это мнение (как и вся дешифровка М. Вентриса в целом) стало общепризнанным, хотя оно не было подтверждено материалом лексики микенского греческого.

К настоящему времени эта точка зрения не кажется надежно фундированной по ряду причин. Во-первых, Чедвик заявил во втором издании "Документов на микенском греческом": "до сих пор нет никаких доказательств того, что p может репрезентировать β" [Ventris, Chadwick 1973 : 389].

Во-вторых, Педерсен [Pedersen 1951] и многие вслед за ним подчеркивали, что звонкий лабиальный согласный *b — очень редкая в индоевропейском языковом состоянии фонема¹. Ее частотность должна была быть в значительной мере ограничена таким непосредственным потомком праязыка, как микенский греческий. Иными словами, нельзя исключить, что предполагаемая b-серия может быть представлена такими знаками, которые остались неотмеченными в [Ventris, Chadwick 1953]. Вполне

¹ Неоднократно даже подчеркивалось, что эта фонема чужда для индоевропейского [Hamp 1954]. На этом основании Гамкрелидзе и Иванов [Гамкрелидзе-Иванов 1972; 1984; Gamkrelidze, Ivanov 1973] и независимо от них Хоппер [Nopper 1973] предложили так называемую глоттальную теорию. Подробную дискуссию см. в сборнике [NS 1989] и в содержательной рецензии Гарретта на эту книгу [Garret 1991].

очевидно, что знаки, относящиеся к *b*-серии, не должны иметь высокую частотность: их наличие наиболее вероятно в негреческой номенклатуре, антропонимах и топонимах.

В-третьих, оппозиция, представленная в зубных смычных (серия *t*- vs. серия *d*- и серия *tw*- vs. серия *dw*-), как представляется, может предполагать по аналогии возможность двух губных серий, существовавших в линейном слоговом письме В — глухой *p*-серии наряду со звонкой *b*-серией.

В-четвертых, вторая губная серия *p*₂ была недавно предложена Хосе Л. Мелена [Melena 1987], который смог идентифицировать ее три основных обозначения: 56 *pa*₂ (ранее транскрибировался как *pa*₃) 22 *pi*₂ и 29 *pu*₂. По его словам, "имеется, таким образом, полная серия, и мы можем предположить, что эта серия сохранила модель гласных минойского 3 — сочетание передней, средней и заднеязычной гласной с предшествующим согласным, восходящее непосредственно к минойскому [Melena 1987: 227].

Транслитерация второй губной серии, предложенная Мелена, соотносится с традиционной системой и может быть принята в виде *p*₂; по крайней мере, два значения — *pa*₂ и *pu*₂ — представляются хорошо обоснованными. Как подчеркивал сам Дж. Чедвик, *pa*₃ (т.е. *pa*₂ у Мелена) "все еще остается возможным значением, поскольку оно строится главным образом на уравнивании *56-*ra-ku-ja* с *pa-ra-ku-ja*, однако, не было предложено какое-либо убедительное подтверждение этого. В любом случае существует возможность наличия у него специального значения" [Ventris, Chadwick 1973 : 386]. Он принимает значение *pu*₂ для знака *29, подчеркивая, что "транслитерация справедлива, но точное значение остается неясным. Возможно, что это *phu* (например, *pu*₂-*te-re*=*phuteres*) или же *bu*, если *da-pu*₂-*ri-to-jo* действительно эквивалентно *λαβυρίνθου* [Ventris, Chadwick 1973 : 386]. В действительности, чтение *pu*₂ можно найти почти во всех изданиях текстов линейного письма В. Поэтому нет необходимости обсуждать оба этих значения. С другой стороны, значение *pi*₂ относительно ново, и я хочу обсудить его достоверность.

3. Слоговой знак *22 встречается только в критском топониме *da*-*22-*to* и в некоторых негреческих именах². Пальмер подчеркнул, что *22 обнаруживает странное предпочтение встречаться по преимуществу в соседстве со слоговым знаком *di* [Palmer 1963 : 22], например, *a-di*-*22-*la* (KN F 841.2), *o*-*22-*di* (KN As. 1520), *ta-di*-*22-*so* (KN X 5564). Такое распределение знака, как и его очень ограниченная частотность, наводят на мысль о том, что это "звук негреческого происхождения" [Palmer 1963 : 22]. В соответствии с мнением Пальмера, его значение можно установить благодаря возможной эквивалентности личного имени *ta*-*22-*de-so* (IH YII) и кносского *ta-mi-de-so* (KN D1 944). Это предполагает значение *mi*, которое предлагает Янда [Janda 1986 : 44] вслед за Ландау [Landau 1958 : 13], или "квази-*mi*₂" [Palmer 1963 : 22]. Известная негреческая альтернатива *μ/β*, представленная в ряде заимствований из субстрата (ср., например, *térβivθos*, *терéβivθos* наряду с *térμivθos*, *терéμivθos* "дерево *Pistacia terebinthus*" с типичным догреческим суффиксом *-ivθ-*) наводит на мысль о том, что более точное значение знака *22 — *bi*.

Эта гипотеза опирается на чрезвычайно убедительное предположение о том, что значение *mi*₂ или "квази-*mi*" в пучке *22-*ri* [ср. личное имя *22-*ri-ta-ro* (KN Dw 1216)] должно, быть определено как *bi*, ибо начальная группа **mRi*- (*22-*ri*-), где /R/ репрезентирует греч. λ или ρ, в греческом регулярно переходит в βR-. С другой стороны, консонантные пучки *22-*di* и *di*-*22 (упомянутые выше), предполагают, что знак *22, конечно, если он относится к губной серии, может означать только звонкий лабиальный согласный /b/, соотносенный со звонким зубным /d/. Оба пучка — *22-*di* и

² Список слов, содержащих *22, см. в: [Lejeune 1972a: 79—80; Olivier et al. 1973 : 353; Janda 1986 : 44] и в более поздней статье [Melena 1987].

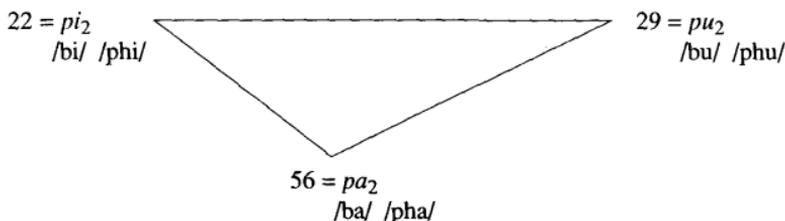
di-*22, очевидно, репрезентируют соответственно $-\beta\delta i-$ и $-\delta\beta i-$. Итак, распределение знака предполагает значение /bi/, но не /phi/ или /pi/:

Наконец, важно подчеркнуть, что знак *22 — это идеограмма "козел" — как в линейном В, так и в А. В этом случае я не исключаю, что идеограмма *22 /bi/ изначально связана с догреческим ("пеласгийским"?) $\beta\acute{\iota}\sigma\omega\nu$ "бык, буйвол"³, прямо восходящим к и.-е. * $\acute{a}_3bhis\acute{o}n$ "козел или подобное козлу животное", предположительно муфлон или архар.

С другой стороны, аргументы Мелена о значении pi_2 подтверждаются и в другом ракурсе. После анализа контекста он заключает, что "все формы, содержащие *22, относятся к лингвистическому слою, который, очевидно, является негреческим" [Melena 1987 : 222]. С его точки зрения, минойские особенности знака *22 представлены в наблюдаемых графических вариациях как альтернации *22 (pi_2) /mi/∅, например, $ta^*22-de-so$ vs. $ta-mi-de-so$ (KN DI 944) и $ta-de-so$ (TH Z 869). Это сопоставимо с альтернативой *56 (pa_2) /ma/∅, например, $tu^*56-da-ro$ (KN DV. 1370. d) vs. $tu-ma-da-ro$ (KN 9b 1368) и $tu-da-ra$ (KN Do 924b). На основании всего этого Мелена предполагает, что "*56 и *22 воспроизводят один и тот же негреческий согласный в формах линейного письма В, происходящих из минойского субстрата" [Melena 1987 : 223]. Такое же распределение справедливо постулируется и для знака *29 (pu_2), поэтому Мелена включает знак *22 (pi_2) линейного письма В во вторую губную серию.

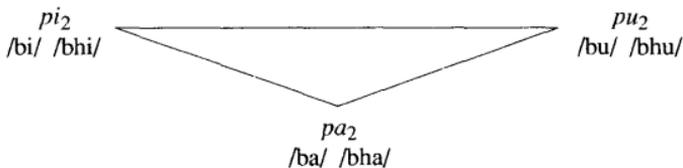
Выводы Мелена подтверждаются моим независимым анализом распределения знаков, причем значение pi_2 (более точно bi) твердо установлено. Но если у силлабограммы *22, в соответствии с моим мнением, наличествует исключительно значение /bi/, то ее связи с другими силлабограммами серии p_2 доказывают их исключительно звонкий характер.

4. Мелена в своей превосходной работе следует Лежёну [Lejeune 1966 : 139–140; 1972 : 95–96] и многим другим, когда он утверждает, что pu_2 обозначает одновременно /phu/ и /pu/. Он заключает по аналогии, что значения pa_2 и pi_2 могут быть описаны аналогичным образом. Вся серия представлена в следующей диаграмме [Melena 1987 : 227]:



Кроме того, Мелена полагает: "В период заимствования линейного письма В из минойского письма А ... греческие смычно-придыхательные еще сохраняли индоевропейский звонкий характер" (там же). Он реконструирует положение вещей в "предтабличной" фазе линейного В следующим образом:

³ Иначе полагает Янда, который приводит глоссу Гезихия $\mu\acute{\iota}\kappa\lambda\alpha\varsigma\ \acute{\alpha}\acute{\iota}\lambda\gamma\alpha\varsigma$ и утверждает ее минойское происхождение в качестве источника для идеограммы "КОЗА" *22. Но форма $\mu\acute{\iota}\kappa\lambda\alpha$ воспроизводит, очевидно, анатолийский (а не минойский) рефлекс и.-е. * $m\acute{e}h\acute{h}l\acute{o}$ -, ср. греч. $\mu\acute{\eta}\lambda\omicron\nu$ "овца", др.-ирл. $m\acute{il}$ (ср. р.) "животное" и т.д.



После обсуждения вопроса об альтернации μ/β в словах, заимствованных из догреческого субстрата, Мелена постулирует в минойском комплексную фонему $/m^b/$ и полагает, что p_2 -серия – это "продолжение минойской серии $/m^b/$ " (там же).

Вполне очевидно, что объяснение Мелена предполагает несомненно звонкий характер второй губной p_2 -серии. Однако нет необходимости приписывать минойскому комплексную фонему $/m^b/$, так как достаточно $/b/$. Эта фонема была чрезвычайно редка в индоевропейском, и ее частотность в греческом до падения и.-е. лабиавелярных (и.-е. $*g^h$ – основной источник греч. β) была минимальной. В микенский период $/b/$ воспринималась греческими писцами как совершенно чуждая негреческая фонема. В любом случае можно легко объяснить наблюдаемые колебания между p_2 -серией и p -, m -, \emptyset -, а иногда w -⁴ как попытки передачи чуждой фонемы $/b/$. Даже если мы примем аргументы Мелена относительно $/m^b/$, то станет очевидным, что микенские греки могли воспринять эту фонему скорее как пучок $[\mu\beta]$, ср. [Хайнал 1992 : 43]. Она должна была писаться греческими писцами как b -, так как, согласно хорошо известным правилам линейного письма В, любой носовой исчезал перед согласным. Поэтому мы должны ожидать, что p_2 -серия репрезентирует звонкий эквивалент глухой p -серии.

Ниже я намерен показать, что в линейном письме В действительно существовала звонкая губная b -серия и что слоговые знаки $*56 /pa_2 = ba/$, $*22 /pi_2 = bi/$, $*29 /pu_2 = bu/$ должны принадлежать b -серии, а не весьма гипотетической m^b -серии [Melena 1987] и не серии m^b -один [Хайнал 1992 : 43].

5. P_2 -серия и ее исключительно звонкий характер.

Хотя Мелена сделал много в микенологических штудиях и внес большой вклад в идентификацию второй губной серии, он не знал, как классифицировать p_2 -серию в микенском силлабарии. Поэтому необходимо обсудить эту проблему.

Точное значение p_2 -серии может быть установлено на основе следующих аргументов:

А. Тенденция к противопоставлению звонких и глухих смычных.

В линейном В письме мы находим две различные зубные серии (глухую t -серию и звонкую d -серию) и две зубно-губные (глухую tw -серию и звонкую dw -серию). Если, таким образом, p -серия содержит в себе греч. $/p/$ и $/ph/$, то противостоящая p_2 -серия, в соответствии с основными принципами линейного В письма, репрезентирует звонкий губной смычный $/b/$. Ситуация вполне аналогична оппозиции зубных серий.

В. Распределение знаков.

Утверждение о том, что p_2 -серия содержит только губной звонкий смычный $/b/$, может быть доказано с помощью пучков типа $pa_2 = da$, $pi_2 = di$ и $pu_2 = du$, где первый гласный неизменно "выпадал", например:

⁴ Ср. хорошо известное сопоставление микенск. *mo-ri-wo-do* (KN Og 1527) с $\mu\beta\lambda\iota\beta\delta\omicron\varsigma$ "свинец" [Хайнал 1992 : 40–42]. В данном случае не важно, имеем ли мы дело с вариантом формы $*42(wo)$, который приобрел значение *bo* и встречается четыре раза в Кносской табличке Og 1527, или же писец только использовал для передачи очень редкого знака $*wo$ тесно с ним связанную графему $*wo$.

мужское имя *a-pa₂-da-ro* (KN C 911. 12) стоит вместо /Abdāros/, греч. Ἀβδῆρος, ср. личное имя Ἀβδηρα/Ἀβδῆρα;

мужское имя *tu-pa₂-da-ro* (KN X 1488) наряду с *tu-na-daro* (см. выше Tumbdaros), ср. греч. Τύνδαρος;

мужское имя *o-pi₂-di* (KN AS 1520) = (Obdis);

мужское имя *ko-no-pu-du-ro-(qe)* (MY An 102)⁵.

Такая ситуация наводит на мысль о том, что мы имеем дело со звонкой группой -βδ-, которая обнаруживает звонкий характер *p₂*-серии. К тому же выводу приводят рассмотрение пучков *di-pi₂* и *du-pu₂* в случаях, когда первый гласный "выпадает", например:

a-di-pi₂-sa (KN F 841. 2)

ta-di-pi₂-so (KN De 5032)

du-pu₂-ra-zo (KN V 479+)

du-pu₂-so (KN Fh 343)

Иными словами, тесная связь губной серии *p₂* со звонкой зубной *d*-серией предполагает звонкий характер *p₂*, т.е. /b/.

С. Свидетельство лексикона.

Слово *pa₂-ra-ku-ja* (KN Ld 587) встречается вместе с его рукописным вариантом *pa-ra-ku-ja* (KN Ld 575) в контекстах, посвященных одежде. В соответствии с Мелена [Melena 1987 : 225], оно может быть прямо сопоставлено с глоссой Гезихия βαρακς; ὑλακίνου "сине-серая одежда". Альтернативное написание *pa-ra-ku-ja* следует трактовать как орфографический вариант, возникший в результате народно-этимологического сближения с микенским термином *pa-ra-ku*⁶. Относительно альтернации *p₂/p*-ср. греч. π'ατέω наряду с βατέω "я иду, бреду" и т.д.

Слово *pu₂-ru₂**19- (PY Wt 1374) связано с идеограммой одежды ТЕΛΑ + ΡV, поэтому оно должно обозначать какую-то разновидность одежды. Высказывалось предположение [Witczak 1992 : 18–20], что микенское слово связано с несколькими глоссами Гезихия (например, βρυτίγυοί. κτιῶνες "tunica", βρυτίην βυσσίην, прилагат. ж. р. в вин. п. ед. ч.) и воспроизводит прилагательное βρύτινος "шелковый" или "льняной" (исначально *brutwinos).

Слово *pu₂-te-re* (название человеческой профессии) обычно сравнивают с *pu-te* (KN Uf 835+), т.е. с *φυτήρ "сажающий (деревья)". Но это сопоставление не является необходимым, так как *pu₂-te-re* (KN V 159, PY Na 520) может быть транскрибировано как форма им. п. мн. ч. *bustères "те, кто сажает овощи" на основании возможной связи с глоссами Гезихия (βύστραι ἃ τῶν λακάνων ἐνθείσαι. ἔνιοι δέ <βυστήρας> τοὺς ἐκ τῶν λακάνων ἐφομένους)⁷.

Имя *ku-ru-su-pa₂* (KN K 740. 4) означает сосуд или флягу на трех ножках. Интерпретация Казанскене и Казанского [Казанскене, Казанский 1986 : 121] слова *ku-ru-su-pa* как трансформации линейного A *ka-ro-pa₂* "сосуд" выглядит привлекательно, т.е. микенский термин мог возникнуть благодаря народной этимологии по аналогии с существительным χρύσος "золото" (мик. *ku-ru-so*). Далее, нельзя исключать, что линейное A *ko-ro* означало "золото" (ср. др.-евр. *hārus* тж.) и в этом случае микенское слово может представлять частичную кальку с *ka-ro-pa₂*. С другой стороны, обзор наименований сосудов в классическом греческом не позволяет найти термин, сопоставимый со словом линейного B.

⁵ Имя иначе читается *ko-no-i-du-ro-qe* [Olivier 1969].

⁶ Заметим, что Л.Р. Пальмер [Palmer 1963 : 298, 442] склонялся к объяснению *pa₂-ra-ku-ja/pa-ra-ku-ja* как прилагательных, обозначающих одежду "цвета *pa-ra-ku*".

⁷ Иначе К. Латте [HL 1953], который комментирует текст следующим образом: βύστραι ἃ τῶν λακάνων ἐνθείσαι. ἔνιοι δέ τοὺς ἐκ τῶν λακάνων φόμενος (cod. Marc. φόμενος).

Ясно, что три слова предоставляют четкие доказательства в пользу звонкого характера p_2 -серии, тогда как четвертое представляет собой заимствование из минойского субстрата и не может быть с уверенностью интерпретировано.

Д. Свидетельства теонимов.

Много лет назад было замечено, что теоним *da-pi₂-ri-to-jo po-ti-ni-ja* может быть легко интерпретировано как Λαβύρινθοιο Ποτύριαν "для госпожи (хозяйки) Лабиринта" и что знак *29 (pu_2) в этом случае означает /bu/.

Другой бог, которому возливается жертвенное масло, носит имя pa_2-ti в табличке KN Fr 15.2, и pa_2-i-ti в других местах (KN Fh 1057+). Сохранение /t/ перед /i/ предполагает чтение /Baistis/. Тот же теоним появляется позднее в Сицилии, в глоссе Гезихия Βαϊστῆς (cod. Marc. Βαϊστῆς). Ἀφροδύτη παρὰ Συρακοῦσους. В связи с географическим распределением древних микенских культов можно сравнить аналогичную связь между микенской богиней *si-to-po-ti-ni-ja* (MY Oi 701) и сицилийским божеством Σίτω.

Вполне очевидно, что оба микенских теонима полностью подтверждают звонкий характер p_2 -серии.

Е. Свидетельства имен местностей и личных имен.

Большинство негреческих топонимов и личных имен не поддаются точной интерпретации, тем не менее из их внешнего облика и особенностей письменной представленности можно извлечь некоторые положительные свидетельства. Замечательный пример – микенский топоним *a-pi₂* представленный в дат.-мест. п. ед.ч. *a-pi₂-we* (PY An 427.1, Cn 608.7, Jn 693.5, Jn 829.8, Ma 124.1, qa 1294), в форме аллатива *a-pi₂-de* (PY Vn 20) и вариантной формой *a-pi₂-ja* (PY Jo 438. 11). Как показал М. Лежён [Lejeune 1965], это имя не может быть сопоставлено с Αἴψυ, городом в царстве Нестора (см. Илиада, II, 592), по фонологическим, лингвистическим и графическим соображениям. Единственно возможное написание гомеровского имени – это **ai-pi*, которое представлено имплицитно в женском имени *ai-pi-ke-ne-ja* (Αἰπιγένεια, букв. "рожденная в Айпию") на пиловской таблице PY Fn 79.1. Гомеровское εὐκτιτον Αἴπυ – это форма среднего рода, тогда как *a-pi₂*, как и его удлинненный эквивалент *a-pi₂-ja*, вне сомнения – форма женского рода. Далее, альтернативная форма *a-pi₂-ja* едва ли может быть отделена от классического имени города Ἄβια (Павс. 4.30.1), расположенного в Мессении. Что же касается сравнения этих двух форм, то одно и то же чередование -*ai*-*ia* обнаруживается в имени догреческого божества Эйлифии, ср. гомер. Εἰλεϋθία, крит. Ἐλευθία, лакон. Ἐλευθία, микен. *e-re-u-ti-ja* /Eleuthia/ (KN Gg 705. 1). Иными словами, мессенский топоним *a-pi₂* /Αβυς/ или *a-pi₂-ja* (Ἄβια, класс. Ἄβια) подтверждает мою интерпретацию p_2 -серии.

Критский топоним *da-pi₂-to* (KN As 40+) до сих пор не был точно интерпретирован и локализован. Но параллелизм догреческому топониму Κορίνθος (микен. *ko-ri-to*, PY Ad 07) заслуживает упоминания. В обоих топонимах присутствует один и тот же суффикс -*νθο-*, который является наиболее типичным для догреческого словаря и ономастикона (ср., например, микен. *a-sa-mi-to* KN Ws 8497 = греч. Ἀσάμινθος ж. р. "ванна" [Baumbach 1971: 459; Diccionario 1985 : 108]. С другой стороны, топоним *da-pi₂-to* начинается с *da-pi₂-*, как и *da-pi₂-ri-to* (греч. Λαβύρινθος), и поэтому его посессивная форма *da-pi₂-ti-jo* может быть сопоставлена с названием критского месяца Λαβύρινθος. Если это сравнение корректно, то топоним дает дополнительные свидетельства в пользу звонкого характера pi_2 .

Свидетельства других топонимов более сомнительны, но критский топоним *pa₂-ko-we* может быть отождествлен с современным названием деревни Βαχός, догреческого или минойского происхождения, согласно Фору [Faure 1967 : 53].

Интерпретация большинства (догреческих) личных имен неоднозначна и не дает убедительных свидетельств, поэтому мы должны отказаться от этой интерпретации в нашей дискуссии.

Г. Акрофонический принцип.

Нойман [Neumann 1982] рассматривает глоссу Гезихия ($\beta\acute{\upsilon}\rho\tau\eta \cdot \lambda\acute{\upsilon}\rho\alpha$ "лира") на основании которой он предполагает минойское происхождение линейной В силлабограммы *29 по акрофоническому принципу. Он предпринимает убедительный анализ доказательств значения, близкого к *bi*, у линейного В знака *29, соглашаясь с Фурумарком [Furumark 1976 : 12] и Вентрисом-Чедвиком [Ventris, Chadwick 1973 : 33] в том, что этот знак, как и родственный ему линейный А знак L34, происходит из иероглифического критского знака H29, несомненно обозначающего лиру (ср. также [Evans 1909 : 129, 1928 : 834]). И если $\beta\acute{\upsilon}\rho\tau\eta$ "лира" – "минойское слово" [Neumann 1982], то в соединении со значением иероглифического критского знака H29 акрофония наглядно доказывает, что у знака *29 pi_2 значение могло быть исключительно *bi*, а не /*pu*/ или /*phu*/.

Важно подчеркнуть, что акрофоническое объяснение знака *22 /*pi*₂/, данное мною в параграфе 2, хотя несомненно более слабое, чем для *29 /*pu*₂/, обнаруживает аналогичное значение *bi*.

С. Принцип "экономичной целесообразности".

Можно принять за аксиому, что в линейном В письме не было абсолютных "омофонов". В связи с тем, что *p*-серия репрезентирует как /*p*/, так и /*ph*/, но не /*b*/, легко заключить, что альтернативная лабиальная *p*₂-серия должна была использоваться для звонкой губной смычной /*b*/, но не для /*ph*/ или /*b*/.

Н. Частотность второй губной серии.

Все знаки, относящиеся к звонкой *p*₂-серии, были найдены в негреческих собственных именах (в меньшей степени – в культурной терминологии минойского происхождения), и в этой связи очевидно, что их частотность совпадает с распределением знаков линейного А письма. В. Паккард показал, что "гласные *e* и (в меньшей степени) *o* были менее частотны в кносских топонимах и личных именах, чем в линейном В в целом. Это обстоятельство может быть соотнесено с очевидной малочисленностью этих гласных в линейном А" [Packard 1968 : 98]. Поэтому и неудивительно отсутствие знаков, репрезентирующих *pe*₂ (=be) и *po*₂ (=bo).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(а) Силлабограммы pa_2 (*56), pi_2 (*22) и pi_2 (*29) не были омофонами *p*-серии, они принадлежали к отдельной *b*-серии. Иными словами, эти три знака репрезентируют основное значение, и мы должны их транскрибировать соответственно как *ba*, *bi*, *bi*.

(б) В линейном В звонкие смычные различались не только в зубной серии, но и в губной (специальные знаки для *d*- и *b*-, но не для *g*-). Это асимметрия не является необычной, т.к. фонемы /*g*/ и /*k*/ писались одинаково благодаря значению одного знака (а именно *c*) и в ранней латыни⁸.

(в) Ни один микенский термин, содержащий силлабограммы *ba*, *bi* и *bi*, не принадлежит к собственно греческим рецепциям индоевропейского наследия; все эти слова, очевидно, заимствованы из негреческого языкового субстрата. Поэтому мы согласны с Хайналом в том, что лингвистический материал линейного В позволяет отдать большее предпочтение глоттальной реконструкции протоиндоевропейской фонологической системы, а не традиционному взгляду.

⁸ Неразличение *k* и *g* в ранней латыни считается чертой этрусского письма, легшего в основу латинского. В этой связи интересно задать следующим вопросом. Многие аргументы свидетельствуют в пользу происхождения этрусков из западных областей Малой Азии. Не является ли неразличение глухой и звонкой заднеязычных общей минойско-этрусской (и шире – неиндоевропейской средиземноморской) чертой? [Прим. перев.].

- Гамкрелидзе Т.В., Иванов В.В.* 1972 – Лингвистическая типология и реконструкция системы индоевропейских смычных // Конференция по сравнительно-исторической грамматике индоевропейских языков. Предварительные материалы / Под ред. С.Б. Бернштейна и др. М., 1972.
- Гамкрелидзе Т.В., Иванов Вяч.В.* 1984 – Индоевропейский язык и индоевропейцы. Реконструкция и историко-типологический анализ праязыка и протокультуры. I–II. Тбилиси, 1984.
- Казанскене В.П., Казанский Н.Н.* 1986 – Предметно-понятийный словарь греческого языка. Крито-микенский период. Л., 1986.
- Хайнал И.* 1992 – Роль данных греческого языка древнейшего периода в реконструкции индоевропейской фонологической системы // ВЯ. 1992. № 2.
- Best J., Woudhuizen F.* 1988 – Ancient scripts from Crete and Cyprus, Leiden 1988.
- Baumbach L.* 1971 – The Mycenaean Greek vocabulary. II // Clotta 1971. V. 49.
- DM 1985 – Diccionario Micénico. V. I / Red. por Francisco Aura Jorro.
- Evans A.J.* 1909 – Scripta Minoa. The written documents of Minoan Crete. V. I. Oxford 1909.
- Evans A.J.* 1928 – The palace of Minos. V. 2. L., 1928.
- Faure P.* 1967 – Toponymes préhelléniques dans la Crète moderne // Kadmos 1967. V. 6.
- Furnée E.J.* 1972 – Die wichtigsten konsonantischen Erscheinungen des Vorgriechischen. The Hague – Paris, 1972.
- Furumark A.* 1976 – The Linear A tablets from Hagia Triada. Structure and fuction. Stockholm, 1976.
- Gamkrelidze Th.V., Ivanov V.V.* 1973 – Реконструкция der indogermanischen Verschlüsse // Phonetica 1973. V. 27.
- Garret A.* 1991 – Language 1991. V. 67 – Rec.: The new sound of Indo-European. Essays in phonological reconstruction. B., 1989.
- Hamp E.P.* 1954. – Gothic IUP 'áw' // Modern Language Notes, January 1954.
- HL 1953 – Hesychii Alexandrini Lexicon / Recensuit et emendavit K.Latte, Hauniae 1953. V. 1 (α – Δ).
- Hopper P.* 1973 – Glottalized and murmured occlusives in Indo-European // Glossa 1973. V. 7.
- Janda M.* 1986 – Zur Lesung des Zeichens *22 von Linear B. // Kadmos. 25, 1986.
- Kretschmer P.* 1899 – Wechsel von β und μ // KZ. 1899. Bd. 35.
- Landau O.* 1958 – Mykenisch-griechische Personennamen. Göteborg, 1958.
- Lejeune M.* 1962 – Hom. εἰκτιον Alπύ et les tablettes de Pylos // Revue des études grecques 1962. V. 75.
- Lejeune M.* 1966 – Doublets et complexes // Proceedings of the Cambridge Colloquium on Mycenaean studies / Ed. by L.R. Palmer and J. Chadwick. Cambridge 1966.
- Lejeune M.* 1972 – Mémoires de philologie mycénienne. III série. Roma, 1972.
- Lejeune M.* 1972a – Les syllabogrammes B et leur translittération // Minos 1972. V. 11.
- Melena J.L.* 1987 – On untransliterated syllabograms *56 and *22 // Tractata Mycenaea. Proceedings of the Eighth International Colloquium on Mycenaean Studies, held in Ohrid, 15–20 September 1985 / Ed. by P.Hr. Ilievski and L. Crepajac, Skopje 1987.
- Neumann G.* 1982 – Zum kretischen Hieroglyphenzeichen H29 // Kadmos 1982. V. 21.
- NS 1989 – The new sound of Indo-European: Essays in phonological reconstruction / Ed. by Th/ Vennemann. B., 1989.
- Olivier J.-P.* 1969 – The Mycenae Tablets IV. Leiden, 1969.
- Olivier J.-P., Godart L., Seydel C., Sourvonou Ch.* 1973 – Index généraux du linéaire B. Roma 1973.
- Packard D.W.* A study of the Minoan Linear A texts // Atti e Memorie del I. Congresso Internazionale di Micenologia. Roma, 27 settembre – 3 ottobre 1967. Roma 1968. V. 3.
- Pedersen H.* 1951. – Die gemeinindoeuropäischen und die vorindoeuropäischen Verschlusslaute. København, 1951.
- Ventris M., Chadwick J.* 1953 – Evidence for Greek dialect in the Mycenaean archives // Journal of Hellenic Studies 1953. V. 73.
- Ventris M., Chadwick J.* 1973 – Documents in Mycenaean Greek, Cambridge, 1973.
- Witczak K.T.* The linear B sign *19 and its possible value // Studies in Greek linguistics. Proceedings of the 13-th Annual Meeting of the Department of linguistics, Faculty of philosophy, Aristotle University of Thessaloniki, 7–9 May 1992, Thessaloniki 1992.

Перевел с английского К.Г. Красухин

© 1996 г. В.А. ФРИДМАН

**О ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ТЕМПОРАЛЬНОСТИ И АСПЕКТУАЛЬНОСТИ
В БОЛГАРСКОМ И МАКЕДОНСКОМ ЯЗЫКАХ**

Если воспринимать темпоральность как "нечто, относящееся ко времени", то этим термином охватывается широчайший круг лексических и грамматических явлений, включая отношения между грамматическими категориями глагольного времени и глагольного вида. Эти отношения особенно сложны в балканских славянских литературных языках, т.е. в македонском и болгарском, где один из главных грамматических споров проходит по поводу вопроса, является ли оппозиция "аорист/имперфект" аспектуальной (видовой) или темпоральной (временной)¹. Линдстедт [Lindstedt 1985 : 279] выразил эту сложность наиболее кратко: "... оппозиция временная, следовательно, видовая; или видовая и, следовательно, временная". В моем докладе на 11-ом Международном конгрессе славистов в Братиславе [Friedman 1993] я развил свое наблюдение над явлением, которое впервые заметил двадцать лет назад ([Friedman 1977 : 135], ср. также [Деянова 1966:58]) и которое позднее было также отмечено Усиковой [Usikova 1955], а именно: исчезновение несовершенного аориста в современном литературном македонском языке. Этот факт можно объединить с различиями в употреблении плюсквамперфекта в двух балканских славянских литературных языках: в болгарском аорист имеет больше ограничений в пользу плюсквамперфекта [Hendriks, Pijenburg 1987], тогда как в македонском таксические и результативные функции плюсквамперфекта разъединены [Friedman 1977:105-107]. Это привело к тому, что аорист распространился на плюсквамперфект, а оппозиция "утвердительный/неутвердительный" (статус) контекстуально стала подразумевать таксис. Таким образом, можно заключить, что в македонском языке произошел фундаментальный сдвиг во временно-видовых отношениях, так что факторы дискурса, т.е. контексты, находясь во взаимодействии с такими категориями, как статус и результативность, играют большую роль в интерпретации темпоральных (временных) отношений в тексте. В данной статье я попытаюсь продемонстрировать, что, в отличие от болгарского, македонский язык путем кодирования новых и уничтожения некоторых старых различий изменил отношения между субординированным видом (т.е. оппозицией "аорист/имперфект") и таксисом (т.е. оппозицией "предшествующий/непредшествующий", которая противопоставляет плюсквамперфект другим формам) – с одной стороны, и суперординированным видом (т.е. оппозицией "совершенный/несовершенный"), результативностью ("статальный/нестатальный"), а также статусом (т.е. оппозицией "утвердительный/неутвердительный") – с другой стороны. Большинство примеров, приведенных в статье, является болгарскими и македонскими переводами одних и тех же текстов².

¹ Авторы, высказывавшиеся по этому вопросу, слишком многочисленны для перечисленных в рамках данной статьи; см. последний обзор в [Fielder 1993].

² В статье использованы следующие тексты: 1) А. Константинов. Гай Ганьо. София, 1985; на македонском языке: А. Константинов. Бай Ганю / Перев. Георги Паца. Скопје 1967; на русском языке: А. Константинов. Бай Ганю/Перев. Д.А. Горбова. М., 1968; 2) М. Шолохов. Судьба человека. М., 1956; на македонском языке: М. Шолохов. Судбината на човекот / Перев. Цветко Мартиновски. Скопје, 1970; на болгарском языке: М. Шолохов. Стдбата на човек/перераб. Ася Спирина, София, 1981.

В качестве теоретической основы я принимаю современные подходы, изложенные в таких трудах, как [Aronson 1977; Chvany 1988; Fielder 1993; Lindstedt 1985; Desclés-Guentchéva 1990]. Из множества терминов, описывающих представляющее для нас интерес явление, я выбрал следующие: оппозиции "открытый/закрытый" и "динамический/нединамический", предложенные Чангом и Тимберлейком [Chang, Timberlake 1985], райхенбаховские понятия времени речи, времени события и времени референции, яacobсоновское понятие таксиса [Jakobson 1957], а также понятие результативности в его приложении к македонскому [Friedman 1977]. По мнению Чанга и Тимберлейка [Chang, Timberlake 1985:214–217], открытые события, как правило, несовершенны, а закрытые – совершенны. Динамические события являются процессами. Закрытые (телические) видовые процессы имеют цели и конечные точки, а открытые (нетелические) видовые процессы их не имеют. Эти термины демонстрируются в таблице № 1 на материале македонского языка.

Таблица 1

| | | | | |
|---------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| ОТКРЫТЫЙ СОСТОЯНИЕ | <i>гледа/седя</i> | ЗАКРЫТЫЙ ИЗМЕНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ | <i>загледа/седяе</i> | НЕДИНАМИЧ- НЫЙ |
| НЕТЕЛИЧЕС- КИЙ ПРОЦЕСС | <i>чита/бара</i> | ТЕЛИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС | <i>прочита/пронајде</i> | ДИНАМИЧНЫЙ |

Начнем с обзора отношения между болгарским несовершенным аористом и эквивалентными македонскими формами. Деянова [Деянова 1966:58] отметила, что болгарский несовершенный аорист наиболее соответствует македонскому несовершенному имперфекту, как в примере 1:

(1) *Во Битола денес, точно во 5,17 часот е почувствуван земјотрес од послаб интензитет што т р а и ш е само една секунда.*

Однако в то время она не осознала значения своего наблюдения и так объяснила этот пример: "отражение на спорадични нарушения на системните отношения между имперфект и аорист...". В действительности она наблюдала процесс, который, безусловно, уже тогда был достаточно развит в македонском языке и который фактически стал нормой среди молодого поколения в то время, когда я занимался сбором данных в Македонии менее чем десятью годами позже, а именно: македонский несовершенный аорист, в сущности, устарел и был заменен несовершенным имперфектом или совершенным аористом.

Ситуация в болгарских и македонских переводах рассказа М. Шолохова "Судьба человека" является типичной. Македонская версия рассказа не содержит ни единого несовершенного аориста, тогда как в болгарском переводе встречается пятнадцать таких форм. Пример 2 типичен в этом отношении. С точки зрения болгарского переводчика, временная закрытость (десять лет) требует употребления аориста, в то время как видовая открытость (нетеличность) требует употребления несовершенного вида. С точки зрения македонского переводчика видовая открытость превосходит по важности временную закрытость, результатом чего является несовершенный имперфект:

(2) *Р а б о т и х аз тия десет години и ден, и ноц. Печелех добре и живеехме не ползе от хората.*

Р а б о т е в јас тие десет години и дење и ноќе. Заработував добро и не живеевме полошо од другите.

(Р а б о т а л я эти десять лет и день и ночь. Зарабатывал хорошо, и жили мы не хуже людей.)

Итеративная закрытость (т.е. открытая закрытость) в примере 3 в болгарском языке выражается несовершенным аористом, а в македонском – несовершенным имперфектом:

(3) *Дупчеше мы немецът колата и отгоре, и отстрани, но на мене, братле, отначало ми вървеше. Вървя ми, вървя ми, докато ми пресече ръката... Попаднах в плен...*

Решето ми го направи Германецот мојот камион и озгора и отстраната, но мене, среката ме слезуше прво време. Ме служеше, ме служеше, на ме дослужи до нивни раце... Паднав во пленство... (Дырявил немец мне машину и сверху и с боков, но мне, браток, везло на первых порах. Везло - везло, да и довезло до самой ручки... Попал я в плен...)

Этот пример также демонстрирует лексико-видовое различие в подходах. В болгарском тексте глагол *дупчеше*, как и *дырявил* в русском, со всей очевидностью был употреблен в итеративном смысле, в то время как в македонском тот же эффект достигается путем использования аориста *направи* (вследствие большого количества дыр в решете).

Хотя в македонском языке несовершенный имперфект и является наиболее обычным соответствием несовершенного аориста в болгарском, если глагол связан с динамичной закрытостью (телический процесс), соответствующей формой может оказаться совершенный аорист, как в примере 4:

(4) *Той извади от джоба на летнитите си войнишки панталони навита на тръбичка, малинова на цвят, изтъркана копринена кесия, развия и аз можах да прочета избродирания в ъгълчето и надпис:*

Тож измолкна од џебот на војничките летни панталони свиткано во туба, со малинова боја, свилено, веке искинато, тутуново кесе, го разврза и јас успеа да го прочитам натписот извезен на едниот агол:

(Он достал из кармана защитных летних штанов свернутый в трубку малиновый шелковый потертый кисет, развернул его, и я успел прочитать вышитую на уголке надпись:)

Нединамичная закрытость также может обусловить соответствие по типу: "несовершенный vs. совершенный аорист", как это видно в примере (5). В этом примере использована неутвердительная форма глагола. Однако, в связи с тем, что оппозиция "аорист/имперфект" отражена в морфологии аналитических парадигм точно таким же образом, как она отражена в синтетических парадигмах, категория статуса формы глагола не имеет здесь значения [Friedman 1986].

(5) *Как останах жив тогава, не разбирам и колко време съм лежал на около осем метра от ямата – нямам представа.*

Како останав тогаш жив не разбирам, и колку време сум полежал околу 8 метри од ендекот – не знам.

(Как остался я живой тогда – не понимаю, и сколько времени пролежал метрах в восьми от кювета – не соображу.)

Линдстедт [Lindstedt 1981:181] продемонстрировал, что в болгарском необходимо использовать несовершенный аорист для выражения особых типов последовательных событий, особенно в контекстах ограниченной продолжительности, в то время как данные моей работы с носителями македонского языка показывают, что в тех же самых контекстах продолжительность имеет преимущественное значение по сравнению с ограниченностью, и последовательность не является релевантной, как это видно в примере 6:

(6) **Тја с п а / * с п е ш е един час и започна да работи.*

*Таа * с п а / с п и е ш е еден час и почна да работи.*

Это, в свою очередь, выдвигает вопрос о роли последовательности в определении значения имперфекта. Как отметила Филдер [Fielder 1993:41] по поводу спора об имперфекте, "в зависимости от используемой теории, можно рассматривать эту оппозицию как видовую, или как временную. В принципе, эта проблема может быть сведена к вопросу, является ли основное значение имперфекта (который обычно считается маркированным членом предложения) значением продолжительности (видо-

во различие) или значением координации (временное различие)". Действительно, можно привести аргументы в пользу обеих точек зрения. Данная ситуация похожа на ту, которая была описана Деннистоном [Denniston 1934:32] в его классическом труде о частицах в греческом языке. Говоря о противоречивых взглядах на значение древнегреческой частицы *ἄρα*, Деннистон писал: "Каждая сторона с легкостью находит доказательства для поражения другой стороны. Например, повар, разрезающий мясо, или хозяин, пожимающей гостью руку, естественны настолько же, насколько вода, расступающаяся надвое, или человек, заводящий беседу с рыбой, неестественны". Суть заключается в том, что продолжительность и координация являются понятиями, близко связанными между собой. Тем не менее, я отдаю предпочтение данным тех примеров, в которых имперфект описывает продолжительные, но в то же время и последовательные (т.е. некоординированные) явления, как в примерах 6 и 7, где имперфект *работех/работев* со всей очевидностью является последовательным (не одновременным) по отношению к предыдущим и последующим действиям:

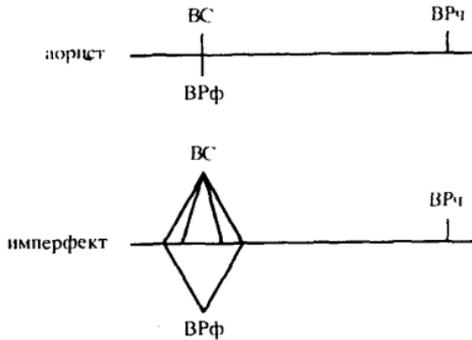
(7) *След една година се върнах от Кубан, продадох къщтурката и заминах за Воронеж. Изпърво работех в дърводелски артел, след това отидох в завод, и зучих за шлосер. Скоро се ожених.*

И, по една година се вратив од Кубан, кукурчето го продадох и отидов во Вороньеш. Првин работев во дрводелскиот артель, потоа преминав во фабрика, научив за бравар. Наскоро се оженив.

(Ну, через год в е р н у л с я с Кубани, хатенку п р о д а л, п о е х а л в Воронеж. Поначалу р а б о т а л в плотницкой артели, потом по ш е л на завод, в ы у ч и л с я на слесаря. Вскорости ж е н и л с я.)

Наблюдая различия в употреблении аориста и имперфекта в болгарском и македонском языках, можно заметить, что в македонском языке произошел переход с грамматического кодирования временной закрытости посредством субординированного вида на указание закрытости или открытости на уровне суперординированного вида. Результатом этого явилась утрата несовершенного аориста и его замена несовершенным имперфектом в большинстве случаев, за исключением тех, где закрытость требует употребления совершенного аориста. Я также считаю, что "время события" (ВС, термин Райхенбаха) македонского аориста ограничено моментом времени референции, или ВРф (эквивалента со-протекания с ограниченным интервалом, если использовать термины Филдер). С другой стороны, имперфект с его способностью появляться как с совершенными, так и с несовершенными глаголами (хотя совершенные глаголы и являются модально маркированными), может быть использован в тех контекстах, которые до того были предназначены для несовершенного аориста, например, в контекстах ограниченной, общей и последовательной продолжительности во времени. Таким образом, имперфект не обладает видовым ограничением аориста (т.к. аорист может быть только совершенным); используя райхенбаховские термины, можно сказать, что имперфект не обязательно должен соответствовать своему ВРф, так что в своей продолжительности он способен со-протекать в соответствии с границами своего ВРф или внутри этих границ. Эти идеи можно графически представить в таблице № 2 (по Фридману [Friedman 1933]; ВРч = время речи: см. с. 120).

Перейдем к данным плюсквамперфекта. При сравнении любых двух (македонской и болгарской) версий одного и того же текста сразу становится ясно, что в болгарском тексте использовано намного больше плюсквамперфектов, чем в македонском. Так, например, при сравнении переводов "Судьбы человека" обнаруживается, что из 53 болгарских плюсквамперфектов лишь 4 переданы в македонском плюсквамперфектами, используя имперфект глагола "быть" и л-причастие (плюсквамперфект с *беше*, например, *беше дошол*), и один передан плюсквамперфектом, используя имперфект глагола "иметь" и глагольное прилагательное (плюсквамперфект с *имаше*, например, *имаше дојдено*).



Примечание. Македонский плюсквамперфект с *беше* (потера) соответствует болгарскому аористу и приведен в примере 18. Македонский плюсквамперфект с *беше* (фати) соответствует болгарскому имперфекту вследствие неточности в переводе:

(i) *Анатолија само ги тресеше раменизите како од студ, во тоа време веќе седумнаесетата година ја бееше фатил, а Ирина моја...*

На Анатолий само му потрпваха раменете што от студ, тој караше вече седемнаесетата година, а моята Ирина...

(Анатолий только плечами передергивал, как от холода, ему к тому времени уже семнадцатый год шел, а Ирина моя...)

Ниже приведены 4 македонских предложения, соответствующих болгарским плюсквамперфектам:

(ii) *Малата река покрај Моховскиот хутор, која лете на места пресушува, бееше се разлеала цел километар во фовручавата долина обрасната со евли.*

Малката, на места пресъхваща през лятото рекичка срещу селцето Моховско се бееше разляла на цял километър в блатистото, обрасло с елхи мочурище.

(Небольшая, местами пересыхающая летом речушка против хутора Моховского в заболоченной, поросшей ольхами пойме разлилась на целый километр.)

(iii) *Да бев паднал ќе ме прииеште за земја со рафал, но нашите ме придржаа во паѓањето, ме бутнаа в средина и така околу половина час ме водеа под рака.*

Да бях паднал, той бы ме залепил за землята с един откос, но нашите ме подхванаха изведнџ, заблъскаха ме към средата и около половин час ме водиха под рака.

(Упадня, и он пришил меня бы к земле очердею, но наши подхватили меня на лету, затолкали в средину и с полчася вели меня под руки.)

(iv) *Јас веќе ги бев зел од неговите раце чашата и јадењето, но, кога ги слушнав тие зборови, – како огин два ме опали!*

Бях зел от ръцете му и чашата, и мезето, но щом чух тия думи, сякаш огън ме опари!

(Я было из его рук и стакан взыл и закуску, но как только услышал эти слова, – меня будто огнем обожгло!)

(v) *И полковникот и сите офицери што беа кај него во бункерот срдечно се простија со мене и се ракуваа, јас излегов крајно возбуден, зашто за две години бев одвикнал од човечко однесување.*

И полковникът, и всички офицери, които бяха в блиндажа, сърдечно ме озпратиха

с рѣкостискане и аз излязох съвсем развълнуван, защото от две години насам б я х от в и к н а л от човешка обноска.

(И полковник и все офицери, какие у него в блиндаже были, душевно попрощались со мной за руку, и я вышел окончательно взволнованный, потому что за два года от в ы к от человеческого обращения.)

Более чем в половине (27) случаев болгарский плюсквамперфект имеет македонский эквивалент, выраженный синтетическим совершенным аористом. Еще 8 являются совершенными л-формами и 7 представляют из себя несовершенные имперфекты. Эта тенденция македонского языка к предпочтению аориста там, где в болгарском использован плюсквамперфект, была отмечена Хендриком и Пийненбургом [Hendriks, Pijnenburg 1987], которые заметили, что в македонском в тех контекстах, в которых используется аорист, в болгарском необходимо употребление плюсквамперфекта:

(8) *Те оште не б ја х а на мерили / *на мериха възможност да обиколат Луната...*

Тие уште не на ј до а ни време ни можност да ја обиколат месечината...

Вопросом, не затронутым Хендриком и Пийненбургом, является отношение двух типов македонского плюсквамперфекта, т.е. плюсквамперфекта с *беше* и плюсквамперфекта с *имаше*, к единому болгарскому эквиваленту, т.е. к типу *бе(ше) дошел*. Все шесть македонских плюсквамперфектов с *беше* в переводе "Судьбы человека" связаны с закрытостью: *фати, земе, потеря* – динамичны, тогда как *падне, разлее и одвикне* – нединамичны. Единственный случай употребления плюсквамперфекта с *имаше* в македонском переводе связан с результативным состоянием открытой нединамичной формы.

(9) *Изпращаха ме и четирмата мои: Ирина, Анатолий и дъщерите – Настенка и Олюшка. Всичките ми деца се държаха юнашки... а моята Ирина ... Такава аз през целите седемнадесет години на нашия съвместен живот не б я х я в и ж д а л. През ноцта ризата ми не изсъхна от сълзи на рамото и на гърдите и на сутринта същата история...*

Ме испратија сите четворица мои: Ирина, Анатолија, и ќерките – Настенка и Ољушка... деца јуначки се држеа... а Ирина моја... Таква за сите седумнаесет години од нашиот заеднички живот ниеднаш ја не м а в в и д е н о. Нокта кошулата на плешките и на градите од нејзините солзи не ми се сушеше, а изутрината истата песна...

(Провожали меня все четверо моих: Ирина, Анатолий и дочери – Настенька и Олюшка. Все ребята держались молодцом... а Ирина моя... Такой я ее за все семнадцать лет нашей совместной жизни ни разу не видел. Ночью у меня на плече и на груди рубаха от ее слез не просыхала, и утром такая же история...)

В македонском языке плюсквамперфект с *беше* и плюсквамперфект с *имаше* противопоставлены как чистый таксис и чистая результативность. Таким образом, существование плюсквамперфекта с *имаше* не только ослабляет роль плюсквамперфекта с *беше*, но также посредством введения результативности как грамматической категории ослабляет роль таксиса, что позволяет аористу заменять плюсквамперфект с *беше* благодаря контекстуальной временной референции. В примерах 10–13, приведенных по Фридману [Friedman 1977:105–107], демонстрируется разница между двумя типами плюсквамперфекта в македонском языке.

(10) *Жижи ми ја покажа Кети, но јас веќе ја бев видел [пред нас] / имав видено [пред една недела].*

(11) *Цветот имаше добиено! ?беше добил некоја чудна тврдина во својата безбојност.*

(12) *Е, сум чул мажи каде пеат, ами вакво убаво пеенье – вакво глас не без чул!* немав чуено!

(13) *Во шест саатот картите Мито веќе ги имаше купено [иако не сакав да одам во кино] / купил [иако филмот почнува во десет].*

Пример 10 илустрирует разницу между плюсквамперфектами с *беше* и с *имаше*. Форма *беше* необходима для выражения чистого таксиса в серии событий, тогда как плюсквамперфект с *имаше* необходим, если говорящий видел этого человека при каких-то релевантных обстоятельствах в прошлом. В следующих двух примерах противопоставлены случаи, где предпочтение отдано или плюсквамперфекту с *беше*, или плюсквамперфекту с *имаше*. В примере 11 цветок воспринимается как уже достигнувший результативного состояния, а в примере 12 слушатели предполагают, что пение завершилось к самому моменту произнесения предложения. Пример 13 демонстрирует то, как плюсквамперфект с *имаше* внес свою лепту в процесс замены плюсквамперфекта с *беше* иными формами. Предпочтение отдается плюсквамперфекту с *имаше*, если подчеркивается тот факт, что билеты находились в состоянии "покупаемости". Однако, если подчеркивается время, когда билеты были куплены, то употребляется форма прошедшего времени (кроме плюсквамперфекта с *беше*), так как носители языка считают, что контекст предоставляет достаточно данных для интерпретации этих отношений как таксических.

В примерах 14–17 приведены болгарские плюсквамперфекты, которые в македонском передаются не-плюсквамперфектными формами прошедшего времени, а именно, синтетическим аористом, синтетическим имперфектом и двумя аористными *л*-формами. *Л*-формы (перфекты-сум) обладают нюансом неутвердительности (в данном случае это предположение основано на фактах, хотя в примере 17 ирония также играет роль), который в болгарском языке не выражается плюсквамперфектом [Friedman 1986]. Во всех четырех случаях таксис может быть "вычислен" из контекста. В отношении примеров 16 и 17 (как и в варианте с *л*-формой примера 13) можно утверждать, что в то время как в болгарском для обозначения таксиса используется плюсквамперфект, который нейтрален по отношению к статусу, в македонском языке для обозначения точно такого же типа предшествования можно употреблять неутвердительную (так называемую "заглазную") форму. Тем не менее, такие примеры, как 14 и 15, показывают, что другие факторы также имеют значение. В силу того, что роль плюсквамперфекта с *беше* была сведена к чистому таксису и контекст стал способен определять временную референцию форм прошедшего времени, в македонском языке появилась возможность использования статуса вместо таксиса.

(14) *Слѐнцето пареше така силно, че аз вече с ѓ жа л я в а х, че б я х о б л я к ѓ л за пѓт војнишките ватени панталони и куртка.*

Сонцето печеше толку што веќе за жа л и в дека ги облеково за пат војничките ватирани панталони и блуза.

(Солнце светило так горячо, что я уже по жа л е л о том, что н а д е л в дорогу солдатские ватные штаны и стеганку.)

(15) *Двамина се опитаха да бягат, но не бяха пресметнали, че през лунна нощ в голо поле дяволски добре се вижда, и, разбира се, застреляха и тях.*

Двајца се обидоа да бегаат, а не водеа сметка за тоа дека во нок со месечина на рамен пат ѓаволски добро се гледа, па, се разбира, и нив ги застрелаа.

(Двое пытались бежать, а того не у ч л и, что в лунную ночь тебя в чистом поле черт-те насколько видно, ну, конечно, и этих по с т р е л я л и.)

(16) *Някои пѓк н я ма х а дори и куртки, само по памучин долни ризи бяха.*

Повечето от тях – младши командири – бяха с в а л л и куртките си, за да не могат да ги отличават от редниците.

Некои н е м а а дури ни блузи, туку само памучна долна кошула. Повекето беа помлади командири. Блузите ги с о б л е к л е да не ги разликуваат од обичните војници.

(Кое на ком даже и гимнастерок н е б њ л о, одни бязевые исподние рубашки. В болшинстве это были младшие командиры. Гимнастерки они п о с њ м а л и, чтобы их от рядовых нельзя было отличить.)

(17) *Ний – аз, Ванчо, Фильо и Иваницовият син (не вярвам да го познавате) – заехме едно купе от първи клас; в съседното второкласно отделение се намести бай Ганьо с няколко другари, богато снабдени с провизия. Бай Ганьо от бързина, види се, б е и е з а б р а в и л да тури в дисагите закуска.*

Ние – јас, Ванчо, Фило и Иваницовиот син (не верувам да го познавате) зафативме едно купе од И класа; во соседното второкласно отделение се намести бай Ганьо со неколку другари, богато снабдени со јадење. Бај Ганьо, се гледа, од брзина з а б о р а в и л да стави во дисагите јадење.

(Мы, то есть я, Ваню, Фило и сын Иваницы (вы его, наверно, не знаете), занимали купе первого класса; в соседнем купе ехал бай Ганю с несколькими товарищами, основательно запасшимися провизией. Сам бай Ганю, видимо, второпях з а б њ л положить в свои торбы закуску.)

Пример 18 демонстрирует интересные различия между болгарской и македонской версиями. В обеих встречается плюсквамперфект с *беше*, но в разных местах. В болгарской версии примера встречается синтетический несовершенный аорист там, где в македонской версии использован аналитический несовершенный имперфект.

(18) *Неспокойна беше тая ноц. Навън не п у с к а х а, беше ни предупредил за това старшията от конвоя още кога то двама по двама ни н а б л њ с к а х а в черквата. Но като напук на един набожен от нашите м у с е п р и х о д и по нужда. Той се с т и с к а, с т и с к а и после з а х л е н ч и: Беспокójна беше таа нок. Понадвор не п у ш т а а, за тоа н е п р е д у п р е д и командирот на придружбата, уште кога по двајца н е в т е р у в а а во црквата. И, како за инает го б е ш е п о т е р а л о еден богомолник од нашите да оди понадвор. Се зд р ж у в а л – с е з д р ж у в а л, а потоа з а п л а к а.*

(Беспокойная это была ночь. До ветру не п у с к а л и, об этом старший конвоя п р е д у п р е д и л, еще когда попарно з а г о н я л и нас в церковь. И, как на грех, п р и с п и ч и л о одному богомольному из наших выйти по нужде. К р е п и л с я - к р е п и л с я он, а потом з а п л а к а л.)

В болгарской версии, действие *беше предупредил* происходит до или во время действия аориста *набљскаха*, но в любом случае, до действия, выраженного аористом *в му се приходи*, за которым далее следует типичная пара несовершенных аористов, достигающая кульминации в совершенном аористе. В македонской версии, плюсквамперфект – *беше беше потерало* непосредственно предшествует имперфектам, описывающим попытки человека контролировать себя, которые переданы немаркированными (не-утвердительными) имперфектами, и далее последовательность достигает своей кульминации во "взрыве" утвердительного аориста. В болгарской версии, сцена задается имперфектами и плюсквамперфектом, и далее история рассказывается аористами. В македонской сцена задается имперфектами и аористом, а далее история рассказывается путем нарастания от плюсквамперфекта, через немаркированный (неутвердительный) имперфект, до (утвердительного) аориста. Можно считать, что различия в двух версиях этой истории мотивированы различиями в кодировании временно-видовых категорий в двух языках, что, в свою очередь, влияет на употребление других категорий, например, статуса.

Как уже отмечалось выше, в македонском языке произошел значительный сдвиг в выражении временно-видовых отношений до такой степени, что несовершенный аорист является почти полностью уничтоженным – обычно в пользу несовершенного имперфекта, но иногда и в пользу совершенного аориста, в случае, когда в действие вовлечен телический процесс. Подобным же образом в болгарском языке старый плюсквамперфект используется гораздо шире, чем в македонском языке, где обычно происходит замена нетаксического прошедшего времени в зависимости от вида: аорист используется вместо совершенного плюсквамперфекта, а имперфект – вместо несовершенного плюсквамперфекта. Я считаю, что данные процессы не являются разобщенными явлениями. Скорее они указывают на новое кодирование темпоральности (в широком смысле этого термина) в македонском языке. Появление результативности и статуса способствовало тому, что суперординантный вид приобрел большую значимость, чем субординированный вид и таксис. В результате, некоторые типы кодирования временных различий, являющиеся морфологически маркированными в болгарском языке, в македонском языке связаны с дискурсом.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Деянова М. 1966 – Имперфект и аорист в славянските езици. София, 1966.
- Aronson H.I. 1977 – Interrelationships between aspect and mood in Bulgarian // *Folia Slavica*. 1977. V. 1.
- Chvany C. 1988 – Distance, directness and discreteness in Bulgarian and English verbal morphology // *American contributions to the Tenth International congress of slavists: Linguistics* / Ed. by A.M. Schenker. Columbus, 1988.
- Chung S., Timberlake A. 1985 – Tense, aspect and mood // *Language typology and syntactic field description*. V. 3: Grammatical categories and the lexicon / Ed. by T. Shopen. Cambridge, 1985.
- Denniston J.D. 1934 – *The Greek particles*. Oxford, 1934.
- Declès J.-P., Guentchéva Z. 1990 – Discourse analysis of aorist and imperfect in Bulgarian and French // *Verbal aspect and discourse* / Ed. by N.B. Thelin. Amsterdam, 1990.
- Fielder G.E. 1993 – *The semantics and pragmatics of verbal categories in Bulgarian*. Lewiston, 1993.
- Friedman V.A. 1977 – *The grammatical categories of the Macedonian indicative*. Columbus, 1977.
- Friedman V.A. 1986 – Evidentiality in the Balkans: Macedonian, Bulgarian and Albanian // *Evidentiality: The linguistic coding of epistemology* / Ed. by J. Nichols and W. Chafe. Norwood (NJ), 1986.
- Friedman V.A. 1993 – *The loss of the imperfect aorist in Macedonian: Structural significance and Balkan context* // *American contributions to the Eleventh International congress of slavists* / Ed. by R. A MacGuire and A. Timberlake. Columbus, 1993.
- Hendriks P., Pijnenburg H. 1987 – *The Bulgarian pluperfect and its Macedonian translation equivalents* // *Dutch studies in South Slavic and Balkan linguistics*. Amsterdam, 1987.
- Lindstedt J. 1985 – *On the semantics of tense and aspect in Bulgarian*. Helsinki, 1985.
- Usikova R.P. 1995 – *Towards a contrastive analysis of the Balkan Slavic languages: Macedonian and Bulgarian* // *Balkan Forum*. 1995. V. 31.

© 1996 г. К.Р. КЕРИМОВ

ЕСТЬ ЛИ КАТЕГОРИЯ ВИДА В ЛЕЗГИНСКОМ ЯЗЫКЕ?

Адекватное описание языка требует сопряжения трех основных аспектов его возможного анализа — предметного, функционального и исторического. Но история лингвистики сложилась так, что в поле ее зрения длительное время находились предметный (формально-структурный) и исторический аспекты [Ломов 1977: 5—6].

В изучении лезгинского языка (а также других дагестанских языков) ситуация в целом остается таковой и в настоящее время. Между тем в лингвистике в последние десятилетия в основном сложилась (во многом на материале русского и других славянских языков) теория функциональной грамматики — нового подхода к описанию языка, где объектом исследования являются комплексы разноуровневых средств, взаимодействующих при выполнении определенных семантических функций, — функционально-семантические поля (ФСП).

Импульсом к теории функциональной грамматики послужили: идея изучения языка с точки зрения того, как данный язык описывает определенные "зоны смысла", какими средствами передает те или иные функции (Ф. Брюно, Л.В. Щерба, В. Матезиус, Э. Кошмидер и др.); идея обязательного отражения в языках мира особых понятийных категорий — универсальных по содержанию и сугубо индивидуальных по способам их системного обнаружения в каждом отдельно взятом языке (О. Есперсен, И.И. Мещанинов); идея возможного расчленения лексической системы языка на совокупность полей, конstituенты которых обозначают так или иначе связанные друг с другом кусочки реальной действительности (Г. Ипсен, И. Трир, Л. Вайсгербер и др.); идея "составленности" различного рода сложнодинамических систем из частных систем, "ответственных" за определенные функции. Становление же этой теории в том виде, в каком она представлена в настоящее время в цикле коллективных монографий, изданных отделом теории грамматических и типологических исследований Санкт-Петербургского отделения Института языкознания РАН¹, происходило в процессе изучения категории глагольного вида в русском и других славянских языках и осознания морфологической категории вида лишь как наиболее грамматикализованной части более широкого явления — аспектуальности, понимаемой как семантический категориальный признак "характер протекания и распределения действия по времени" [ТФГ 1987: 40]. Именно в ходе аспектологических исследований в русистике сложился подход к описанию языка как системы функционально-семантических полей, и наиболее изученным в настоящее время является ФСП аспектуальности. Ни одна из грамматических категорий русского и других славянских языков не привлекла такого внимания исследователей, как категория вида и смежные с ней семантические категории [Шелякин 1975: 5].

В лезгинском же (как, видимо, и в других дагестанских языках) положение обратное. Констатируя здесь отсутствие видового противопоставления глаголов в том проявлении, в каком оно представлено в русском, исследователи оставляют за

¹ Имеется в виду серия академических изданий под редакцией проф. А.В. Бондарко и др. [ТФГ 1987; 1990; 1991; 1992].

рамками изучения аспектуальные значения вообще. Работ, посвященных семантике аспектуальности в лезгинском языке, практически нет. Из языков, родственных дагестанским, аспектуально-темпоральная система специально изучалась в нахских языках [Дешериева 1979]. Между тем семантика аспектуальности — неотъемлемая часть содержания глагола, занимающего центральное место в грамматической системе дагестанских (и не только дагестанских) языков. Отсутствие видового противопоставления глаголов в том виде, в каком оно представлено в славянских языках, не означает отсутствия средств выражения аспектуальных значений в лезгинском. Аспектуальность — один из центральных компонентов семантической структуры высказывания, и тот факт, что она остается за пределами изучения (а это сейчас и происходит в рамках уровневого подхода), делает описание языка ущербным. Как аспектуальные значения основ глагола и связанные с ними темпоральные и таксисные значения, так и аспектуальная семантика высказывания в целом представляют собой, на наш взгляд, ядро грамматического строя лезгинского языка, от адекватного описания которого зависит правильная интерпретация смежных с ним других подсистем.

Однако, как отмечалось выше, сфера аспектуальной семантики глагола остается вне поля зрения. В существующей литературе устоялась точка зрения, согласно которой лезгинский глагол не имеет категории вида, в чем заставляют сомневаться элементарные примеры. Ср.: *Гада векыз фенва* (<фена-ава) "Сын на сенокос ушел" и *Вун гынииз физва?* (<физ-ава) "Ты куда идешь?". Дейктическая темпоральная категория ("внешнее" время действия по Г. Гийому [Guillaume 1973: 46]) представлена в обеих формах одним и тем же показателем *-ва* (<ава) со значением наличия факта в момент речи. Различаются же формы именно аспектуальными значениями ("внутренним" временем действия).

В сравнительно-исторических исследованиях по лезгинским языкам вид рассматривается как одна из существеннейших категорий пралезгинского языка, сохраняющаяся в современном лезгинском в форме противопоставления так называемых видовых основ (разрядка моя. — К.К.): основы недлительного вида (терминатива) и основы длительного вида (дуратива) [Алексеев 1985: 75]. Этим практически и ограничивается характеристика видовых значений лезгинского глагола, если не считать употребления определений "совершенное" и "несовершенное" в названиях временных форм [Жирков 1941: 70—80; Топуриа 1959: 103—106; Гайдаров — Алипулатов 1965: 110—135; Гайдаров 1987: 87—131; Талибов 1966: 567—584 и др.].

Однако, что же как не категория вида "противопоставление видовых основ"? Ведь и в русском вид — это лексико-грамматическое противопоставление видовых основ.

Общим для исследований по лезгинскому языку является противопоставление в качестве конъюгационных основ глагола масдара на *-н* и целевой формы (деепричастия, абсолютива) на *-з*, причем без разъяснения характера этого противопоставления.

Следует обратить внимание на то, что за основу временных форм принимается отглагольное имя действия — масдар. Однако лезгинский масдар более близок по своим категориальным признакам к русскому отглагольному имени на *-нue/-енue/-mie/-ие* со значением "действия или состояния, названного мотивирующим глаголом", нежели к инфинитиву. Лезгинский масдар, как и указанное отглагольное имя русского языка, представляет собой именование действия как процесса, и в результате этой "субстантивации" аспектуальная семантика глаголов нейтрализуется. Поэтому, поиски видовых значений в форме масдара, а значит и во временных формах от него, как это принято считать, — некорректны. К тому же, если к деепричастию (абсолютиву, целевой форме) на *-з* и можно по аналогии с русским языком поставить вопрос "Что делать?" (*Заз ксуз кланзава* "Я спать хочу"; *Вуч ийиз?* "Что делать?" — *Ксуз* "Спать"), к масдару соответствующего вопроса и не поставишь. Искать видовые значения в

форме масдара лезгинского глагола — это равносильно тому, чтобы искать их в русском *решение* (из *решать* и *решишь*).

Представляется, что временные формы не могут образовываться от именной основы, и поэтому интерпретация лезгинской формы масдара на *-н* в качестве основы для образования группы временных форм прошедшего совершенного I, III, IV нуждается в пересмотре. Основой, от которой образуются эти формы, является, по нашему мнению, основа так называемого причастия совершенного вида, от которой, как это принято считать, образуется только (!) форма прошедшего совершенного II (*цун* "шить"; *цвайи* > *цвая*). Во-первых, так называемое причастие совершенного вида проще по формальному составу — оно всегда имеет вариант без гласного в исходе, к которому и присоединяются показатели времени (*цвайи/цвай*, а в речи просто [цва]); *Им за цвай перем я* "Это мною сшитое платье"; ср. *цва-на* "сшил", а также масдар *цун*; *-й* в *цвай* относится больше к нормам орфографии). Во-вторых, и по своей семантике отглагольное имя носит более абстрагированный от действия характер, нежели причастие или временная форма, т.е. с большим основанием может считаться производным. Кроме того, в отличие от именной формы, образованной от глагола, причастия и деепричастия сохраняют аспектуальные признаки. Приведенные соображения подтверждаются сопоставлением форм:

| | масдар | деепричастие | причастие | прош. сов. I |
|---------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| "хранить" | <i>хуь-н</i> | <i>хуь-з</i> | <i>хве-йи</i> | <i>хве-на</i> |
| "писать" | <i>кхьи-н</i> | <i>кхьи-з</i> | <i>кхье-йи</i> | <i>кхье-на</i> |
| "становиться" | <i>хьу-н</i> | <i>же-з</i> | <i>хьа-йи</i> | <i>хьа-на</i> |
| "гореть" | <i>ку-н</i> | <i>ку-з</i> | <i>ка-йи</i> | <i>ка-на</i> |
| "идти" | <i>фи-н</i> | <i>фи-з</i> | <i>фе-йи</i> | <i>фе-на</i> |
| "давать" | <i>гу-н</i> | <i>гу-з</i> | <i>га-йи</i> | <i>га-на</i> |
| "шить" | <i>цу-н</i> | <i>цва-з</i> | <i>цва-йи</i> | <i>цва-на</i> |
| "сказать" | <i>лугьу-н</i> | <i>лугьн-з</i> | <i>лагьа-йи</i> | <i>лагьа-на</i> |
| "держатъ" | <i>кьу-н</i> | <i>кьа-з</i> | <i>кьу-р</i> | <i>кьу-на</i> |

Как видим, основы причастия и прошедшего совершенного полностью совпадают. Очень часто с основой причастия и прошедшего совершенного совпадает и основа масдара, как в последнем примере. Однако нет прецедентов единой основы масдара и прошедшего совершенного при отличной от них основе причастия. Косвенным подтверждением первичности основы причастия по отношению к таковой масдара может служить и тот факт, что в историческом плане лабиализованные согласные, которые присутствуют в соотносимых основах именно причастия и прошедшего совершенного, древнее. А позднейшим их рефлексом является лабиализация гласных основы.

Таким образом, все четыре формы так называемого прошедшего совершенного имеют в своем составе в качестве конъюгационной основы ту же основу, что и так называемое причастие совершенного вида.

Отрицая наличие категории вида у лезгинского глагола, исследователи тем не менее вынуждены приводить в словарях рядом с основной словарной формой — масдаром и форму деепричастия несовершенного вида на *-з*, поскольку она последовательно образуется для всех глаголов и служит основой для образования целого ряда временных форм с аспектуальной семантикой, отличной от таковой у форм, образованных от другой основы. Морфологический показатель *-з* присутствует и там, где основы образуются супплетивно.

Правомерно ли при таком последовательном противопоставлении двух основ с различными аспектуальными значениями говорить об отсутствии и видовой оппозиции у лезгинского глагола? Разумеется, о наличии категории вида "можно говорить только там, где какие-то аспектуальные значения в пределах большей части (иногда всей) глагольной лексики получают регулярное выражение посредством парадигматически

противопоставленных друг другу грамматических форм глагола" [Маслов 1978: 24]. Полагаем, что такого рода грамматическое противопоставление в лезгинском языке есть. Оно отличается от оппозиции СВ и НСВ в русском как в формальном выражении, так и в плане содержательном — в области выражаемых значений и признаков. Именно недостаточной изученностью аспектуальных значений форм можно, на наш взгляд, объяснить наличие в грамматических описаниях лезгинского языка так называемых прошедшего I, прошедшего II, III и т.п. Между тем они различаются не только формально, но и выражаемыми аспектуально-темпоральными значениями, которые должны найти отражение в том числе и в их дефинициях².

Представлены в лезгинском языке и лексико-грамматические разряды способов глагольного действия (СД), образующиеся при помощи словообразовательных формантов, модифицирующих аспектуальную семантику исходного глагола. К ним относятся так называемые глаголы повторного действия [Талибов 1966: 568—570], образуемые при помощи аффикса *x-(xъ-)/-x-*: *атун* "приходить" > *хтун* "приходить еще раз"; *авун* "делать" > *хъувун* "делать повторно/дополнительно"; *къалурун* "показывать" > *къахлурун* "показывать повторно". Однако этот аффикс придает глаголам как значение повторяемости действия, так и значение комплетивности, например: *Хъинеъ!* "Доедай!".

К СД следует, видимо, отнести и глаголы, образуемые при помощи аффикса *-ma/-ma-* (<*ама* "еще есть, имеется"), рассматриваемые в литературе как формы настоящего II, прошедшего несовершенного II, давнопрошедшего III [Талибов 1966: 580]. Аффикс этот может присутствовать во всех формах от процессной основы на *-з*, а в формах от основы со значением целостного действия он встречается только у статических глаголов. Например, некорректны формы типа *фенма*, букв.: "пошел-еще-есть" и вполне естественны типа *ацукънама* "еще сидит", *ксанма* "еще спит". Такая несовместимость объясняется, на наш взгляд, следующим. Действие, обозначенное глаголами, оформленными аффиксами *-va/-va-* (<*ава* "есть, имеется") и *-ma/-ma-* (<*ама* "еще есть, имеется"), обладает признаком перцептивности. При этом аффикс *-ma/-ma-* придает признак продолжающейся или повторной наблюдаемости, а повторная или продолжающаяся перцепция больше совместима с процессным или стательным состоянием, нежели с совершившимся целостным фактом, выражаемым основой целостного вида динамических глаголов.

Приведенные примеры свидетельствуют о сложном переплетении в лезгинском языке категорий аспектуальности, темпоральности и способов глагольного действия, необходимости их разграничения.

Представляется, что неполно или же не совсем адекватно описаны в существующей литературе и некоторые другие "семантические зоны" грамматического строя лезгинского языка. Например, залоговость, и опять же, на наш взгляд, по той простой причине, что в лезгинском глаголе не обнаружилось аналогии оппозиции действительного/страдательного залога — морфолого-синтаксического ядра ФСП залоговости в русском языке. При констатации же отсутствия категории залога в лезгинском языке остается неясным, к чему отнести наличие в нем конструкции предложения со специальным эргативным падежом, служащей для выражения действия, исходящего от субъекта и направленного на объект, т.е. четко характеризующей отношение действия к субъекту и объекту. Видимо, в лезгинском

² Следует признать, что полнее, на наш взгляд, отражают аспектуальную семантику временных форм лезгинского глагола определения: даваемые им М. Хаспельматом [Haspelmath 1991: 120—161]. Однако и в этой работе содержится лишь обобщение, хотя и довольно продуктивное, уже имеющихся в литературе данных. Здесь также нет чего-либо нового относительно собственно видовых значений. Мы же исходим из того факта, что видовые значения лезгинского глагола почти не изучены, вследствие чего и описание семантики временных форм является недостаточно адекватным.

языке следует искать иного, нежели в русском, проявления функционально-семантической категории залоговости, с иным соотношением семантических признаков и соответственно конфигурацией ФСП.

Думается, что причина такой неадекватности кроется в односторонности ставшего традиционным уровневого (стратификационного, системно-дифференцирующего) подхода к сопоставлению лезгинского языка с русским. Но такое сопоставление — как имплицитное, так и эксплицитное — шло и идет в настоящее время в русле традиционно формально-структурной грамматики, с использованием методов и моделей русского языка при описании лезгинского, подобно тому, как в свое время грамматическая теория европейских языков складывалась под влиянием структурных особенностей классических — латинского и греческого. При таком подходе очень велика вероятность переноса категориальной сетки одного языка на другой. Объективно он в большей степени направлен на поиск единообразия в сопоставляемых языках, вследствие чего за рамками описания могут оказаться черты идеоэтнические, в данном случае, для лезгинского языка. Исследование же проявлений семантических понятийных категорий в различных языках обычно имеет своим результатом не обнаружение единообразия, а, наоборот, констатацию значительных расхождений [Серебренников 1972: 5].

С другой стороны, уровневый подход в контрастивном исследовании может приводить к тому, что за категориальное значение грамматической формы, обнаруженной по аналогии с соответствующей формой теоретически более изученного языка, может оказаться принятым одно из частных значений этой формы в менее исследованном языке. Так, условное значение глагольной формы на *-mla* [Жирков 1941: 80; Гайдаров 1987: 107; Топуриа 1959: 124 и др.] является, на наш взгляд, лишь одним из ее частных значений, а инвариантной для этой формы является семантика эпистематической модальности (сомнение, неуверенность в действительном существовании сообщаемого факта), от которой производным является значение условия. (Ср. также употребление этой формы в высказываниях типа *Marф къваdamla?* "Дождь пойдет (интересно)?", где не столько запрашивается информация, сколько выражается неуверенность, предположение.)

Преодолению означенных недостатков в описании лезгинского языка — как уже проявившихся в существующих грамматических исследованиях, так и возможных в дальнейшем — будет способствовать, на наш взгляд, применение функционально-семантической (полевой) модели описания. При традиционном уровневом подходе анализ значений концентрируется в пределах отдельных грамматических единиц, классов, категорий. Комплексное рассмотрение сходных значений, выраженных разноструктурными единицами, становится возможным лишь при выходе за рамки уровневого описания.

Интегрирующий разноуровневые средства функциональный подход рассматривается в качестве необходимого на определенном этапе развития лингвистических исследований дополнительно к традиционному [ТФГ 1987: 3]. Таким этапом, собственно, и явился функциональный подход в русистике — функциональная грамматика создается уже на базе детального уровневого описания (видимо, именно вследствие этого возникают в настоящее время затруднения в совмещении этих двух подходов).

По-другому обстоит дело в грамматическом описании лезгинского языка. При наличии ряда работ по сравнительно-историческому его исследованию, а также описанию в отдельности фонетики, морфологии, синтаксиса, лексики, фразеологии, пока отсутствует достаточно полная, цельная его уровневая грамматика³. Но из этого, на наш взгляд, не следует, что надо сначала создать полную формально-структурную грамматику лезгинского языка, затем функциоанльную, а потом уже их совместить.

³ Готовится к изданию грамматика лезгинского языка, которая задумана авторами как нормативная. Она построена на традиционном формально-структурном подходе, и разделы ее, соответствующие уровням языка, подготовлены Гайдаровым Р.И., Гюльмагомедовым А.Г., Мейлановой У.А. и Талибовым Б.Б.

Функциональный подход, благодаря его системно-интегрирующему характеру, позволяющему комплексно воспринимать и интерпретировать языковые факты, даст, видимо, больше пользы, если он будет совмещаться или даже где-то опережать формально-структурное описание, при котором, при всех оговорках, в основе оказывается чуждая классификационная система несравнимо более изученного русского языка. Поэтому применение функционально-семантической модели описания, при совмещении ее с традиционными подходами, позволит избежать неадекватной интерпретации языковых фактов при построении лезгинской грамматики.

Полагая в качестве основной задачи исследования выявление идеотнического своеобразия языка, нельзя не пользоваться признаваемым наиболее соответствующим этой цели "инструментом" — контрастированием на базе функционально-семантической модели описания.

Для означенной цели такая модель обладает рядом преимуществ перед системно-структурными. Она предоставляет универсальное основание для сравнения — семантическую функцию, в отношении к которой определяется набор средств выражения в каждом из сопоставляемых языков и отношения между этими средствами. Как отмечается в литературе, функциональный подход в контрастивных исследованиях настраивает на более критическую оценку устоявшихся терминов и правил и является сильным оружием лингвиста, обеспечивающим отчетливость обозрения родного языка снаружи [Балин 1987: 4]. Контрастирование на базе языковых понятийных категорий или ФСП дает возможность усовершенствовать описание как второго языка сопоставления, так и исходного (в нашем случае соответственно лезгинского и русского).

Обычно при сопоставлении в качестве исходного выступает язык, который по причинам теоретического и практического характера мыслится как основа сопоставления. На настоящем этапе развития контрастивной аспектологии роли такого языка-эталона больше всего соответствует русский, видовая система которого (вместе с другими славянскими языками) послужила толчком для развития аспектологии, и в центре внимания аспектологической теории находится, как правило, глагольная система русского языка. Именно в зеркале русской аспектологии описывается аспектуальность многих языков (немецкого, английского, казахского, турецкого, нахских и др.).

Целесообразность использования функционально-семантической модели для описания проявлений категории аспектуальности в лезгинском языке — а она все же должна как-то в нем проявиться, поскольку основные семантические категории универсальны [Ярцева 1981: 23] и сфера аспектуальности представлена во всех языках [Маслов 1975: 29; Бондарко 1983: 76] — видится в том, что ФСП — содержательная структура, не закрепленная за какой-либо одной грамматической формой, что должно способствовать сведению к минимуму заданности поиска форм и категорий в лезгинском языке по аналогии с русским.

Таким образом, в лезгинском языке следует искать не формы СВ и НСВ с противопоставлением "ограниченного пределом целостного действия" "неограниченному пределом нецелостному действию", а проявление семантической функциональной категории аспектуальности, которое может выразиться в оппозиции иных аспектуальных признаков и форм их выражения.

Аспектуальность понимается в функциональной грамматике как семантический категориальный признак "характер протекания и распределения действия во времени" (как понимал ее А.М. Пешковский [Пешковский 1956: 105]) и вместе с тем как группировка ФСП, объединенных этим признаком. Аспектуальные значения сосредоточены прежде всего в сфере глагольного предиката, в сфере действия (в широком смысле), аспектуальность же выходит за рамки действия предиката и характеризует высказывание в целом. Семантическая категория аспектуальности образует содержательную основу ФСП аспектуальности. ФСП — это базирующаяся на определенной семантической категории группировка грамматических и "строевых"

лексических единиц, а также других средств данного языка, взаимодействующих на основе общности их семантических функций [ТФГ 1987: 11, 40].

К числу фундаментальных семантических признаков поля аспектуальности относятся такие характеристики "внутреннего" времени действия, как ограниченность/неограниченность пределом, наличие/отсутствие внутреннего предела, процессность/целостность факта, кратность, длительность, фазовость, перфектность, различие между действием, состоянием и отношением [Маслов 1978: 21; Бондарко 1983: 77; ТФГ 1987: 40].

Проявления категории аспектуальности в каждом из языков определяются тем, какие из приведенных выше аспектуальных признаков реализуются в нем в качестве общих, инвариантных, и какие — частных. В русском языке доминантой в противопоставлении глаголов СВ и НСВ выступает оппозиция целостного факта (СВ) отсутствию этой целостности (НСВ), образуя так называемую привативную оппозицию [Бондарко 1971: 99—103]. Выражается оппозиция целостного факта нецелостному в отношении действия к одному из фундаментальных признаков аспектуальности — ограниченности/неограниченности действия внутренним пределом, которая реализуется в различных способах глагольного действия. Устанавливаются инвариантные признаки СВ и НСВ экспериментально, на основании их сочетаемости с группами "аспектуально значимых" слов [Бондарко 1971: 99—103].

1. Инфинитив СВ не сочетается с фазовыми глаголами (нельзя **начал открыть*). Значит СВ имеет признак, несовместимый с членностью действия на фазы. Это — целостность действия (Ц). НСВ может обозначать целостное действие (*Я читал эту книгу*), а может и не выражать. Значит для СВ целостность — "+", для НСВ — "+/-".

2. СВ не сочетается со словами типа "все": *Он все богател*, но нельзя *Он все разбогател*. Значит СВ не может выражать действие в процессе, для него процессность (Проц.) — "-". НСВ может выражать, для него Проц. — "+".

3. СВ сочетается с *однажды, как-то раз* и т.п., но не с *иногда, порой* и т.п. Первые указывают на локализованность (Л) действия во времени, вторые — на нелокализованность. Значит для СВ локализованность — "+/(-)". Заключение знаков "+" или "-" в скобки означает, что возможность выражения или невыражения признака ограничена. Для НСВ локализованность — "+/-".

4. СВ ограничено сочетается с *долго, два часа* и т.п., т.е. ограничено выражает признак длительности (Д) (нельзя *Он долго открыл*), но с длительностью сочетаются глаголы ограничительного (*поболеть, посидеть*) и длительно-ограничительного (*проболеть, просидеть*) способов действия, например, *Посидел/просидел два часа*. Но это лишь исключения. Значит для СВ длительность — "(+)/-", а для НСВ — "+/-".

Отношение СВ и НСВ к указанным признакам обобщается в таблице:

| Виды | Аспектуальные семантические признаки | | | |
|------|--------------------------------------|-------|-------|-------|
| | Ц | Проц. | Л | Д |
| СВ | + | - | +/(-) | (+)/- |
| НСВ | (+)/- | +/- | +/- | +/- |

Таким образом, доминантным аспектуальным признаком оппозиции СВ и НСВ является признак целостности глаголов СВ.

Такая схема установления видовой оппозиции приложима и к лезгинскому языку. Она дает возможность путем анализа "от содержания к форме" выявить свойственный именно для данного языка характер проявления функционально-семантической категории.

Если рассмотреть отношение деепричастия на -з и причастия совершенного вида лезгинского языка к приведенным выше аспектуальным признакам, то выявится, примерно, следующая картина.

Деепричастие сочетается с фазовыми глаголами типа *башиламишун* "начинать", *давамарун* "продолжать", *куэтягьун* "завершать" (*кхьиз башиламишун* "начать писать"), значит целостностью оно не обладает (Ц — "-"). Процессностью оно обладает (*Келиз гьеле жезма — мичли хьанвач* "Читать еще можно — не стемнело"), значит для него Проц. — "+".

В деепричастии на -з проявляются все существенные для семантики процессности элементы: динамичность (протекание действия от более ранних моментов к более поздним); "срединность", т.е. процесс протекает до и после фиксируемого в речи момента, но в фокусе лишь срединный момент. Основным свойством процессных ситуаций является наблюдаемость, установка высказывания на описание действия. В лезгинском наблюдаемость, непосредственное восприятие (перцептивность) специально выражена вспомогательными глаголами *ава*, *ама*, присоединяемыми во временных формах к основе (*физва < физ-ава* "идет, находится в процессе движения", *физма < физ-ама* "еще идет"). Причастие совершенного вида с "индикаторами" процессности типа *гьеле* "пока еще" не сочетается, значит для него Проц. — "-". Признаком же целостности, несовместимым с членимостью действия на фазы, оно обладает. Значит для причастия Ц — "+".

Обе формы сочетаются с длительностью, словами типа *йугьди* "весь день", *кьвед-пуд сятда* "в течение двух-трех часов" и т.п. Однако эта сочетаемость зависит от аспектуальных характеристик глаголов, по которым они образуют лексико-грамматические разряды способов действия, т.е. от отношения к внутреннему пределу действия. Например, формы причастия и деепричастия глаголов типа *кьин* "умирать", *лугьун* "сказать" (но не со значением "говорить" или "петь") с длительностью не сочетаются. Это обстоятельство может наложить ограничения, но не изменить в принципе отношения причастия и деепричастия к признаку длительности, поэтому оно может быть выражено как "+/-".

Деепричастие сочетается и с локализованностью и с нелокализованностью (*садра* "однажды, как-то раз"; *гагь-гагь* "иногда, временами"). Значит для него Л — "+/-". Причастие совершенного вида также может сочетаться с "индикаторами" и локализованности и нелокализованности, хотя и здесь возможны ограничения, связанные со способами действия.

Изложенное можно свести в таблицу⁴.

| Видовые основы | Аспектуальные семантические признаки | | | |
|---------------------|--------------------------------------|-------|-----|-----|
| | Ц | Проц. | Д | Л |
| деепричастие на -з | - | + | +/- | +/- |
| причастие сов. вида | + | - | +/- | +/- |

Как видим, так называемые деепричастие на -з и причастие совершенного вида лезгинского глагола противопоставлены друг другу в плане аспектуального содержания признаками процессности и целостности, образуя, таким образом, эквивалентную оппозицию (ср. привативную оппозицию целостности и отсутствия цело-

⁴ Разумеется, приведенный анализ обозначает лишь основные контуры описания семантических признаков аспектуальности в лезгинском языке. Для более подробного и точного исследования семантики видовой противопоставления очень важно предвзвешенно описать лексико-грамматические группы способов глагольного действия и проявления в них категории предельности/непредельности, выделить все аспектуально значимые слова, по сочетанию с которыми устанавливается возможность/невозможность выражения того или иного признака и др. Однако изложенное позволяет, на наш взгляд, выявить сам факт наличия видовой оппозиции у лезгинского глагола и определить доминирующие семантические признаки этого противопоставления. Поэтому и таблица, видимо, должна претерпеть уточнения, но не в части признаков целостности и процессности.

стности глаголов СВ и НСВ в русском). Противопоставление это идет, что весьма существенно, всегда в рамках единого лексического значения, не модифицируемого дополнительной деривацией. Обе эти формы представляют собой видовые основы, от которых образуются соответствующие ряды временных форм. Причем обе они включаются в состав временных форм целиком (ср. в русском языке, где суффикс инфинитива СВ и НСВ при образовании временных форм отбрасывается), если не считать *-й/-йи* в исходе причастия совершенного вида, которые можно отнести к орфографической традиции и вариантам, не несущим семантической нагрузки. Формальным показателем, противопоставляющим основы, можно признать суффикс *-з* основы "процессного вида", отличающий ее от основы "целостного вида"⁵. Суффикс этот присутствует в основе "процессного вида" и тогда, когда она супплетивна.

Однако возникает вопрос, правомерно ли деепричастия и причастия, т.е. атрибутивные формы глагола, рассматривать в качестве конъюгационных основ временных форм? Ответ на него, как представляется, зависит от интерпретации этих форм лезгинского языка. Если они производные, то где формы производящие, от которых они образованы? Таких форм, которые можно было бы соотнести в этом плане с инфинитивами русского языка, в лезгинском нет, т.е. нет форм, которые были бы нейтральны в плане категориальных грамматических значений и проще по формальному составу, чем эти основы "процессного вида" и "целостного вида". С другой стороны, формы эти сами по себе неизменяемые. При словоизменении определяемого ими стержневого слова сами они не изменяются: словоизменятельные аффиксы причастие совершенного вида, например, приобретает лишь при субстантивации. А так называемое деепричастие определяется еще то как "абсолютив", то как "целевая форма". Интерпретация его как деепричастия основана исключительно на одной из функций в высказывании. Приводятся примеры типа: *Аялди фу къачуз незва* "Ребенок, беря хлеб, ест"; *Стхаци шейер къачуз чамаданда хтуна* "Брат, беря вещи, складывал их в чемодан" [Галибов 1966: 57]. Мы бы перевели эти примеры как "Ребенок хлеб берет, ест" (*берет — ест, берет — ест...*) и "Брат вещи брал, складывал в чемодан", т.е. здесь имеются в виду не одновременные действия, а чередующиеся, сменяющие друг друга. Одновременное, в строгом смысле, действие с действием, передаваемым предикатом, форма на *-з* обозначает лишь при дублетном употреблении: *Ам хъуьрез-хъуьрез чи патав атана* "Он подошел к нам смеясь" (в случае, когда эта форма выполняет собственно функцию деепричастия).

Употребление же этой формы в целевом значении ограничено использованием ее при предикатах со значением движения, перемещения в пространстве: *Буба хеб къачуз фена* "Отец пошел покупать барана"; *За гада клелиз ракурда* "Я сына учиться пошлю". Собственно, в этом значении может использоваться и русский инфинитив, и лезгинская форма на *-з* в функциях, аналогичных функциям инфинитива в русском, используется чаще. А из категориальных грамматических значений в нем присутствует только значение процессности. Поэтому ближе к истине, видимо, определение ее как абсолютива.

Сложнее с основой "целостного вида", так называемого причастия совершенного вида. Эта форма выполняет в предложении только атрибутивную функцию. Однако может ли это служить препятствием тому, чтобы признать ее основой временных форм, если в языке нет формы, от которой она была бы производной, и если она чаще целиком, сохраняя свою видовую семантику, включается в состав соответствующих временных форм.

В плане интерпретации причастий и деепричастий лезгинского языка интерес представляют сопоставления, например, с фактами хиналугского языка, где основы

⁵ От строгих дефиниций, аналогичных русским "совершенный вид" и "несовершенный вид", которые бы отражали аспектуальное содержание этих основ в изложенном понимании, мы пока воздерживаемся. Эти формы, на наш взгляд, нуждаются в более точной теоретической интерпретации.

так называемых результативного и нерезультативного видов выступают в функциях соответственно простого настоящего и аориста, а также причастий, деепричастий и абсолютивов с соответствующими аспектуальными значениями. При этом только в роли деепричастий эти основы оформляются суффиксом *-йаь*, соотносящимся с союзом "и" [Керимов 1986: 12—20]. Аналогичные явления отмечаются и в других языках лезгинской группы, например, в табасаранском и агулском. В связи с этим уместно привести и замечание И.И. Мещанинова о том, что "лингвистическое изучение причастий склоняется к признанию их за весьма древнюю языковую форму, развивающуюся, по-видимому, параллельно глагольной, а может быть, даже предшествующую ей" [Мещанинов 1978: 286].

Все изложенное дает, на наш взгляд, основание представить в обобщенном виде схему образования временных форм лезгинского глагола следующим образом:



Что касается формы масдара, то она как по структуре, так и по семантике ближе к основе "процессного вида", т.к. она обозначает действие как процесс (не случайно, видимо, глаголы типа *кьин* "умирать", *фин* "пойти", "уйти" имеют параллельные формы масдара *кьиникь*, *финиф*, в которых редупликация как бы компенсирует недостающую референтному содержанию таких глаголов процессность). Однако быть производящей основой для временных форм масдар не может по причинам, о которых говорилось выше.

Мы не ставили здесь задачи дать целостное описание ФСП аспектуальности лезгинского языка в сопоставлении с русским. Однако приведенные суждения представляются вполне достаточными по крайней мере для постановки вопроса, вынесенного в заглавие статьи. Ее целью являлось также показать продуктивность использования в контрастивных исследованиях дагестанских и русского языков функционально-семантической (полевой) модели описания. Интерес к сопоставительному изучению русского и дагестанских языков, проявляемый в последнее время, позволяет считать, что иллюстрация применения одного из новых и перспективных подходов в этой области будет полезной.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Алексеев М.Е.* 1985 — Вопросы сравнительно-исторической грамматики лезгинских языков: Морфология. Синтаксис. М., 1985.
- Балин Б.М.* 1987 — Актуальная задача советской контрастивной грамматики // Контрастивная и функциональная грамматика. Калинин, 1987.
- Бондарко А.В.* 1971 — Грамматическая категория и контекст. Л., 1971.
- Бондарко А.В.* 1983 — Принципы функциональной грамматики и вопросы аспектологии. Л., 1983.
- Гайдаров Р.И., Алипулатов М.А.* 1965 — Лезги ч'ал: Педучилище патал учебник. Махачкала, 1965.
- Гайдаров Р.И.* 1987 — Морфология лезгинского языка (Учебное пособие). Махачкала, 1987.
- Дешериева Т.И.* 1979 — Исследование видо-временной системы в нахских языках (с привлечением материала иносистемных языков). М., 1979.
- Жирков Л.И.* 1941 — Грамматика лезгинского языка. Махачкала, 1941.
- Керимов К.Р.* 1986 — Глагол хиналугского языка. Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Махачкала, 1986.
- Ломов А.М.* 1977 — Очерки русской аспектологии. Воронеж, 1977.
- Маслов Ю.С.* 1975 — Русский глагольный вид в зарубежном языковедении последних лет // Вопросы русской аспектологии. Воронеж, 1975.
- Маслов Ю.С.* 1978 — К основаниям сопоставительной аспектологии // Вопросы сопоставительной аспектологии. Л., 1978.

- Мецианинов И.И.* 1978 — Члены предложения и части речи. Л., 1978.
- Пешковский А.М.* 1956 — Русский синтаксис в научном освещении. 7-е изд. М., 1956.
- Серебренников Б.А.* 1972 — О лингвистических универсалиях // ВЯ. 1972. № 2.
- Талибов Б.Б.* 1966 — Грамматический очерк лезгинского языка // Б. Талибов, М. Гаджиев. Лезгинско-русский словарь. М., 1966.
- ТФГ 1987 — Теория функциональной грамматики: Введение. Аспектуальность. Временная локализованность. Таксис. Л., 1987.
- ТФГ 1990 — Теория функциональной грамматики. Темпоральность. Модальность. Л., 1990.
- ТФГ 1991 — Теория функциональной грамматики. Персональность. Залоговость. СПб., 1991.
- ТФГ 1992 — Теория функциональной грамматики. Субъектность. Объектность. Коммуникативная перспектива высказывания. Определенность/неопределенность. СПб., 1992.
- Топурия Г.В.* 1959 — Основные морфологические категории лезгинского глагола (по данным кюринского и ахтынского диалектов). Тбилиси, 1959.
- Шелякин М.А.* 1975 — Основные проблемы современной русской аспектологии // Вопросы русской аспектологии. Воронеж, 1975.
- Ярцева В.Н.* 1981 — Контрастивная грамматика. М., 1981.
- Guillaume G.* 1973 — Langage et science du langage. 3-e. ed. P., 1973.
- Haspelmath M.* 1991 — A grammar of Lezgian. B., 1991.

ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ

© 1996 г. Е.Э. БАБАЕВА

СЛАВЯНО - ФРАНЦУЗСКИЙ ЛЕКSIKON А. КАНТЕМИРА

(Филологическая характеристика: концепция, структура)

*К тому же человекья жизнь редко одиночна.**А. Кантемир*

Антиох Кантемир, происходивший из рода Кан-Тимура, сын молдавского господаря, родившийся в Константинополе, выросший в России, в 13 лет выступивший с Петром I в Персидский поход, а в 23 года навсегда оставивший пределы отчизны, унаследовал от отца, Дмитрия Кантемира, судьбу посредника между культурами, говорящими на разных языках. Дмитрий Кантемир, полководец и государственный деятель, был полиглотом и лингвистом¹. А. Кантемир, занимавший одно из первых мест в политической и научной жизни России и Западной Европы, вошел в историю как дипломат и сатирик, однако его собственно лингвистическое наследие, составляющее предмет многолетних кропотливых трудов, изучено в гораздо меньшей степени².

Настоящая статья представляет собой попытку дать самую общую характеристику рукописному славяно-французскому лексикону А. Кантемира — одному из интереснейших источников по истории русской лексики и лексикографии XVIII в. и, одновременно, важному свидетельству того, что являл собой А. Кантемир как языковая личность.

В наследство, оставленное А. Кантемиром³, входила обширная библиотека, в описи которой среди многочисленной лингвистической литературы под номером 617 числится трехтомный русско-французский лексикон: "Dictionnaire Russe et François par monseigneur le Prince Cantemir, manuscrit, folio, 3 volumes"⁴. О том, что А. Кантемир рабо-

¹ Дм. Кантемира занимали вопросы теории и истории молдавского языка (так, например, он приложил к своему аллегорическому роману 1705-го года "Иероглифическая история" небольшой словарь "Скара").

² В творчестве А. Кантемира следует различать уровень его языковой практики (переводческая и сочинительская деятельность), немало способствовавший становлению литературного языка послепетровской эпохи, и уровень лингвистической рефлексии, к которому можно отнести рассыпанные по отдельным произведениям замечания, касающиеся орфографии, грамматики и, особенно, лексики церковнославянского и русского языков. Нельзя не обратить внимание и на тот факт, что литературная деятельность А. Кантемира началась с лексикографического труда: "Симфонии на Псалтирь" (составленная в 1726 г., она была напечатана годом позже). Стремление "изъяснять" слова было, возможно, воспитано в нем его учителем, Иваном Ильинским, автором "Симфонии на Четвероевангелие" и одним из составителей немецко-латинско-русского "Вейсманова Лексикона" (Петербург, 1731).

³ А. Кантемир умер в 1744 г. в возрасте 35 лет.

⁴ Подлинник описи хранится в РГАДА, ф. 181, франц. дела, св. 68.

тал над русско-французским словарем, упоминает и автор первой пространной биографии А. Кантемира, приложенной к лондонскому изданию его сочинений, аббат Гуаско⁵. Долгое время эта рукопись считалась безнадежно утраченной. Несколько лет назад Б.А. Градова обратила внимание на вложенный в рукописный латино-русский словарь (ГПБ, собр. А.А. Титова, № 3440) не принадлежащий ей титульный лист от некоего славяно-французского лексикона⁶. Дальнейшие поиски привели исследовательницу в РГБ, где в собр. Дурова (Дур., № 41) ею был обнаружен трехтомный славяно-французский словарь, содержащий пометы, сделанные рукой А. Кантемира, и, несомненно, являющийся итогом его многолетних трудов в области лексикографии.

На титульном листе, найденном Б.А. Градовой, значится: "Лѣѣикон славено-францѣскій в' ползю и употрѣбленіе хотѣщагѣ приобрѣсти францѣскагѣ языка глаганіе. Преписанъ и подписанъ в' цѣтвѣющемъ градѣ сѣтѣгѣ Петра в' лѣтѣхъ ѿ рѣжѣва Іса Хрѣта МДССХХV и МДССХХVI" (1725—1726). Это же заглавие продублировано на французском языке. Итак, словарь, к которому относился данный титульный лист, имел, насколько можно судить по заглавию, объектом описания французский язык и был предназначен для русских (можно предположить, что русский язык выступал в нем в качестве метаязыка).

Обратимся теперь к титульному листу трехтомного рукописного словаря, хранящегося в РГБ. На нем значится: "Лѣѣиконъ славенорѣскон с францѣскимъ" ("Dictionnaire Russe et François")⁷. Адресат данного лексикона не указан, однако даже беглое знакомство с его структурой показывает, что он совершенно непригоден для изучения французского языка. Словарь, являющийся одновременно двуязычным и толковым, описывает особенности употребления ц.-сл. и русских слов, дает их грамматические характеристики и явно предназначен для франкоговорящих, желающих понимать разговорный и литературный языки. Объектом лексикографического описания является славянский языковой материал (включая элементы всех его стилистических пластов), в качестве же метаязыка выступает французский⁸, который хотя и обладает самостоятельным статусом (в той степени, в какой это можно наблюдать в случае двуязычных словарей), прежде всего служит средством толкования (перифраз) разных аспектов (грамматических, семантических, стилистических и др.) лексем, представленных в словнике, так что в целом в лексиконе преобладают корреляции типа словоформа/синтагма (лексема/синтагма), а не словоформа/словоформа (лексема/лексема).

Исходя из этого, можно предположить, что речь идет, видимо, о разных словарях, т.е. титульный лист, найденный Б.А. Градовой в ГПБ, не связан непосредственно с лексиконом, хранящимся в РГБ.

⁵ "Il avait commencé un Dictionnaire Russien et François, qui n'est pas fini" ("он начал работу над русско-французским словарем, которая осталась незавершенной") — [Gouasco 1749: 141].

⁶ Подробнее см.: Градова 1985: 56—57; Градова 1987. Воспроизведение титульного листа: Россия—Франция 1987: 40.

⁷ Отметим, что на л. 3 термин *славенорусской* заменен на *русской*. Несомненно, А. Кантемир имел в виду описать некую единую лексическую систему, хотя, как показывает материал словаря, отчетливо различал генетические и функциональные расхождения ее элементов.

⁸ На первых нескольких листах можно встретить метаязыковые сведения на русском языке, дублирующие французский текст и предшествующие ему, однако их число минимально (они практически не выходят за пределы словника на букву А). Вряд ли их следует объяснить желанием А. Кантемира использовать для толкования слов два языка, скорее всего в подобных глоссах можно видеть перенесение фрагментов текста из некоего словаря — источника, которым он пользовался (заметим, что на букву А выладеет самое большое число заимствованной лексики, реестры которой с краткими пояснениями были довольно широко распространены в первой четверти XVIII в. — вопрос о лексикографических источниках словаря А. Кантемира является предметом отдельного исследования).

Неизвестный нам "славенофранцузский" лексикон создавался (или переписывался) в 1725—1726 гг. В 1726 г. А. Кантемиром выполнен первый перевод с французского языка ("Перевод некоего итальянского письма"). Конец 20-х годов был своего рода французским периодом в творческой биографии А. Кантемира⁹. Известны его особый интерес в это время к французской литературе, его связи с кругом янсенистов, в частности, с аббатом Жюбе де ля Куром, агентом Сорбонны, прибывшим в Россию со специальной миссией в 1728 г., который в письме к архиепископу Бархману от 16 апреля 1730 г. отмечает, что "князь переводит с французского на русский превосходно и с большой легкостью" [цит. по: Успенский, Шишкин 1990: 205, подробнее см.: там же § 4]. В период, непосредственно предшествующий первому переводу с французского языка (и завершению работы над неизвестным нам "славенофранцузским" лексиконом), т.е. в 1724—1725 годах, А. Кантемир находился в Петербурге, где совершенствовал свои знания у петербургских академиков. Есть некоторые свидетельства, что в это время А. Кантемир усиленно занимается французским языком. В письме из Лондона к маркизе Монконсель от 1 августа 1737 г. А. Кантемир пишет, что начал изучать французский язык "parmi les glaces du nord" ("окруженный северными льдами" [Майков 1903: 87]), — можно предположить, что употребленная им метафора относится именно к Петербургу¹⁰.

Весьма вероятно, что сохранившийся в ГПБ титульный лист относился к лексикографическому труду, неким образом связанному с занятиями А. Кантемира французским языком в период до 1726 г., но вряд ли есть основания считать, что этот лексикон непосредственно связан с обширным трехтомным словарем, хранящимся в РГБ, в собрании Дурова, иначе говоря, соотносить эти две рукописи как начальный и конечный этапы одной большой работы¹¹.

По отношению к трехтомному словарю из собрания РГБ мы располагаем лишь одной датой, которая может пролить свет на хронологию его появления. На л. 3 первого тома есть запись — "achevé le 27 avril 1737" ("закончен 27 апреля 1737"). Однако словарь никак нельзя считать законченным: при полностью составленном словнике он последовательно доведен до буквы *И*, после которой можно найти лишь выборочные толкования отдельных слов и выражений, число метаязыковых помет стремительно падает по мере приближения к концу словника¹². Таким образом, указанная на титульном листе к первому тому (и ко всему словарю в целом) дата может относиться к завершению работы над словником, либо над первыми сорока семью тетрадами, составляющими первый том словаря. В письме к Христиану Гроссу из Лондона от 21 июня 1737 г. А. Кантемир просит прислать ему ряд книг, необходимых для того, чтобы "улучшить русско-французский словарь", над которым он "начал работать не так давно" ("Je vous y joins aussi une liste de livres russiens, dont j'ai besoin pour perfectionner le dictionnaire russe et françois que j'ai commencé il y a quelque temps...") — [Майков 1903: 86]. Настойчивая просьба о присылке необходимых для работы (видимо, над словарем) книг, в частности из библиотеки

⁹ Предполагалось, что в это же время начнется и французский период его биографии, во всяком случае, в 1729 г. планировалась его поездка во Францию, однако его миссия во Франции состоялась почти десятью годами позже, в 1738 г.

¹⁰ В дневнике Петра Даниловича Апостола под седьмым декабря 1725 г. записано: "Послал молдавскому князю [т.е. А. Кантемиру] словарь де Поме" (François Pomey. Dictionnaire françois et latin. Lyon, 1664 — [Берков 1961: 197]).

¹¹ Естественно, этот вывод носит умозрительный характер, поскольку мы располагаем лишь теми сведениями о "славенофранцузском" лексиконе, которые можно извлечь из титульного листа, свидетельствующие лишь об установке автора, и ничего не знаем о реальном содержании рукописи.

¹² Первый том (далее — I) содержит буквы *А-И* (572 лл.), второй (далее — II) — буквы *Ј-О* (379 лл.), третий (далее — III) — буквы *П-ѳ* (437 лл.).

Ивана Ильинского (умершего в марте 1737 г.), повторяется и в письме к тому же Христиану Гроссу от 2 сентября 1737 г. [Майков 1903: 90]. Возможно, активная работа над словарем в середине 1737 г. ведется неслучайно: именно в это время А. Кантемиру поручено вступить в переговоры с французским послом в Лондоне с целью восстановить прерванные польской войной дипломатические отношения между Россией и Францией. Вскоре после успешного выполнения возложенной на него миссии А. Кантемир был назначен посланником в Париж, куда он прибыл в сентябре 1738 г. Имея в виду происходивший перелом в отношениях между Россией и Францией, А. Кантемир мог начать работу над словарем (или же вести ее более интенсивно, если она была начата ранее), исходя из культуртрегерских соображений — знакомства французской аудитории с русской культурно-языковой средой, со всеми условиями курса¹³.

Рукопись написана рукой одного из секретарей А. Кантемира и, частично, им самим [Градова 1987: 17]. Вероятно, А. Кантемир надиктовал секретарю текст, а затем собственноручно правил его и вносил добавления. О том, что текст мог диктоваться, говорят и некоторые ошибки в правописании, в частности, характерно написание во французской части лексикона форм причастия (*participe passé*) вместо формы инфинитива для глаголов первой группы и наоборот, что может объясняться одинаковым произношением их показателей (*parlé* и *parler*), и некоторыми другими примерами отклонения от орфографии французского языка в пользу его фонетики.

Лексикон в целом (как словник, так и метаязыковой текст), строится на принципе систематизации реализующихся (с разной степенью частотности) и потенциальных возможностей языка, а также фрагментов картины мира, раскрывающихся через язык.

На уровне сл о в н и к а эта систематизация проявляется в отборе единиц языка, подлежащих толкованию, в порождении симметричных словообразовательных гнезд и в регулярно представленном вычленении внутренней формы слова, ее разложении на составляющие элементы и закреплении за каждым из них по возможности устойчивого перевода на метаязык.

I. Словник лексикона формировался по нескольким осям, он представляет собой систему, объединяющую множество подсистем, причем для закрытых подсистем (например, части речи) характерна максимальная представленность составляющих ее единиц, а для открытых (например, стилистически нейтральная лексика) — тенденция к широкому последовательному ее охвату.

I.1. В состав словника входят единицы, рассмотренные в вертикальной (парадигматической) и горизонтальной (синтагматической) плоскостях. Минимальной единицей, получающей толкование в лексиконе, является б у к в а (звук). Славянский алфавит, являющийся замкнутой системой, представлен в словнике полностью. Максимальное толкование единицы алфавита (представленное не для всех букв) складывается из нескольких позиций: название (а), порядковый номер в алфавите (б), фонетическое содержание (в), правила употребления (г), числовое значение (д).

А — (а) qu'on nomme азъ

(б) première letre del Alphabet Russe

(в) se prononce toujours comme en François dans le mot ananas... Il est a remarquer que les Gentishommes et leurs imitateurs changent souvent L'o en a tant au comencement qu'au milieu de mots, dela viennent les deux sortes de Prononciations qui distingent les Gens de

¹³ Работа над словарем в последующие годы, видимо, была затруднена объективными причинами: обилием дипломатических забот и, начиная с 1740 года, катастрофически ухудшившимся здоровьем и слепотой. Пропаганда русской культуры и русского языка не переставала быть для Кантемира предметом огромной важности. Известно, например, что во время аудиенции у французского короля 13 июля 1739 г. он беседовал с Людовиком XV "о письменах, о языке русском и о подобных любопытных материях" [Стоюнин 1880: 593].

mise avec le Peuple, ceux la par Exemple disent: Агурецъ, Акошко, пападья, башмакъ et ceux ci огурецъ, окошко, попадья, бошмакъ...

(д) elle est aussi un letre numerale... avef un tire et avec une queu signicie 1000 [I, л. 4]¹⁴.

I — (б) c'est la onzieme letre del'Alphabet Russes

(г) dans presque tous les Substantifs verbeaux elle est changé en ъ. ex. гуляніе — гулянье... Les russes ne se serent jamais de cette letre qu'avant une voyelle. Il n'ya pas un mot russe qui comence par cette letre si ce n'est pour prendre la place de e comme... jöbъ au lieu de ебъ...

(д) Г̣ vaut 10 [III, л. 2]¹⁵.

Отдельные толкования могут получать последовательно вычлененные ч а с т и с л о в, например: "вичь Particule qu'on ajoute au nom du pere pour les gens de quelque distinction. ex. Петр Алеѣевичъ. Pierre fils d'Alex" [I, л. 154]¹⁶.

Центральным объектом описания являются л е к с е м ы, представляющие собой все грамматические классы слов (как знаменательные, так и служебные), однако самостоятельные позиции в словнике занимают и с л о в о ф о р м ы, такие, например, как падежные формы местоимений, формы им. пад. мн. числа существительных, степени сравнения прилагательных и наречий, временные формы глагола, причастные и деепричастные формы. Во всех подобных случаях толкование включает грамматическую характеристику и отсылку к исходной словоформе.

Многочленные языковые единицы толкуются А. Кантемиром внутри словарной статьи, т.е. они помещаются под заголовочным словом, формирующим данную единицу, однако принципы экспликации остаются тем же, что и при основной позиции словника.

Двигаясь от лексемы далее по синтагматической оси, А. Кантемир приводит отдельные с л о в о с о ч е т а н и я, которые могут быть как свободными, так и связанными, а также этикетные формулы. Например: "аглицкѣ часы" [I, л. 50б], "вилая капуста" [I, л. 151об], "бѣганная лошадь" [I, л. 122], "домашний быть" [I, л. 121], "курачѣ бодрость" [I, л. 99], "брюхатая жена" [I, л. 113], "чортов палець" [III, л. 414] и др. Употребление одной словоформы может быть проиллюстрировано целым списком словосочетаний, например: "денги" — "готовы денги", "наличны денги", "мертвы денги", "подложные денги", "фалжибные денги", "худыя денги", "ходячя денги", "банковые денги", "держанные денги" [I, л. 292—293об].

Наконец, в словаре толкуются целые в ы с к а з ы в а н и я, среди которых встречаются цитаты (снабженные ссылками; наряду с многочисленными цитатами из Библии встретилась одна цитата из Уложения 1649 г.), пословицы (например, "Аза вѣ глаза не знаетъ" [I, л. 8], "бодливой корови Богъ рога не даетъ" [I, л. 99], "не вывѣдавъ бродѣ не бросаися вѣ водѣ" [I, л. 112], "возвращатся на свою блевотинѣ" [I, л. 112], "чья душа чесноку не фла та не воняеть" [III, л. 410 об], "напугана ворона и чучела боится" [II, л. 201об], "повинную голову мечь не сѣчетъ" [I, л. 263], "голѣ какъ голикъ"

¹⁴ "А — (а) ее называют азь, (б) первая буква русского алфавита, (в) произносится всегда как во французском слове *ананас*... Необходимо отметить, что дворяне, а также те, кто им подражает, часто меняют *о* на *а* как в начале, так и в середине слова, отсюда берутся два типа произношения, отличающие людей порядочных от простонародья, так, первые говорят, например, *Агурецъ, Акошко, пападья, башмакъ*, а другие *огурецъ, окошко, попадья, бошмакъ*, (д) она также может обозначать число... под титлом и с хвостиком обозначает 1000" — (здесь и далее перевод наш. — Е.Б.).

¹⁵ "I — (б) одиннадцатая буква русского алфавита, (г) почти во всех отглагольных существительных заменяется на ъ, например, *гуляніе* — *гулянье*... Русские используют эту букву только перед гласной. Нет ни одного слова, которое начиналось бы с этой буквы, разве что она заменяет *е* как в следующих словах *jobъ* вместо *ебъ*... (д) обозначает 10".

¹⁶ "вичь Частица, которую добавляют к имени отца тех, кто отличается благородством. Например, Петр Алеѣевич. Петр сын Алексея".

[I, л. 262об], "знать собачей клесть" [II, л. 33], "разорить дом до подошвъ" [III, л. 93об], "не пойманы" не вор, не подымана, не блядь" [III, л. 111об] и др.), и свободные предложения (например, "архїерей благословилъ мнѣ на трети женѣ женитця" [I, л. 81], "он бышь вчерась здѣсь былъ" [I, л. 121], "из самого города до той деревни все безпѣтица" [I, л. 58], "безстыдной члѣвкъ без краски сноситъ попрыоки" [I, л. 60об] и др.).

1.2. Единицы, составляющие словник, проецируются на плоскость системных лексических связей и образуют различные лексико-семантические поля. Наряду с нарицательными именами широко представлены географические названия (*Америка, Анатоля, Александрїа, Асія, Ассїря, Астраханъ, Афрїка, Балтика, Вавилонъ, Дунай, Днепр, Кавкас, Канарїа, Лївіа, Малта, Кабарда, Китай, Халдея* и некот. др.), имена языческих богов (например, *Зевсъ, Марсъ, болванъ перѣжный*), названия книг (отдельные позиции в словнике занимают практически все четьи и служебные книги, упомянут также "Алкоранъ... *Livre de Muhamed: Alcoran*" [I, л. 10]), античных героев ("Ираклій... *Hercule*" [I, л. 548]), знаков зодиака.

Среди имен нарицательных большое место занимает терминология (юридическая, философская, риторическая, грамматическая, музыкальная, ботаническая, картежная и др.), образуя собственно подсистемы внутри словника наряду с нетерминологическими лексико-семантическими группами слов (простейшие из которых, например, названия месяцев и времен года, как замкнутые, даны полным списком).

Словник лексикона как бы очерчивает границы культуры, которая складывается из современных А. Кантемиру западно-европейских представлений об энциклопедичности знаний. При наложении двух абрисов, культурных и бытовых реалий выявляются области полных и частичных несопадений.

К области полных несопадений относятся номинации предметов и явлений, незнакомых адресату словаря. Эту асимметричность А. Кантемир не старается преодолеть, он лишь подробно разъясняет фрагмент внеязыковой реальности, не полагаясь на перевод¹⁷, который представлен для данного разряда слов непоследовательно и носит приблизительный характер. А. Кантемир изменяет при этом код метаязыка: механизм перевода на метаязык переключается на механизм построения нарративного текста на метаязыке (иначе говоря, двуязычный словарь трансформируется в толковый). Приведем некоторые примеры: "воевода... *l'empire russe en gouvernemens et (sic!) subdivisés (sic!) en provinces. Les gouvernemens ont pour chef leur*

¹⁷ К подобной практике он прибегал, например, в комментариях к "Разговору о множестве миров" Фонтенеля. Так, в одном из примечаний он объясняет: "Маркїзѣ. Маркїзанство есть тѣло дворянства знатнаго, у насъ еще не въ обыкновенїи. Во Франціи и Італїи Маркїзы слѣдуютъ за Графами. Въ Англїи и въ Германїи чинъ ихъ между Дюкомъ и Графомъ" [Бовье 1740: предисловие переводчика]. Подобного рода толкования реалий как нельзя лучше выявляют адресата сообщения; в лексиконе же в качестве такового выступает западный (франкоязычный) читатель. Со сменой аудитории связан и разный способ представления одного и того же слова в лексиконе и в "Разговоре о множестве миров", так, если в последнем подробно изъясняются все значения слова *материя*, которые оно имеет во французском языке, и потом уточняется, в каком именно из них слово употреблено в данном контексте, то в словаре приводится лишь соответствующий перевод без дополнительных комментариев — при этом имеется в виду, что оно функционирует ровно так же, как в языке описания. Любопытно, что понятия, неизвестные русской картине мира, не встречаются в лексиконе (хотя в нем довольно широко представлены собственно языковые заимствования), за исключением конфессиональной области, о чем будет сказано ниже подробнее. Примером нарушения принципа устранения слов, обозначающих "чужеземную" реалию может служить одно из значений слова *дельфинъ* — "Premier fils du Roi de France" ["Первый сын короля Франціи", I, л. 292]. А. Кантемир приводит слово *дофин* в той огласовке, в которой оно было впервые употреблено в русском языке в конце XVII в. [Сл. русск. яз. 1991: 244] и в силу этого соединяет его в одну лемему со словом *дельфин*. Названия животного и растительного мира широко представлены в лексиконе, они составляют его подсистему; появление же слова в основной позиции требует, в силу тенденции к полноте и логической завершенности, фиксации всех его значений, т.е. в данном случае принцип всеохватности побеждает принцип умолчания.

Gouverneur et les superieurs d'une province, qui sont Subalternes au Gouverneur, s'appellent воевода"¹⁸ [I, л. 166], "балахонъ... habit de toile, la plupart blanche dont les gens du petit peuple et particulièrement les garçons de boutiques s'abillent"¹⁹ [I, л. 28], "выводъ... Certaine païement que font les paisans pour leurs femmes, lorsqu'ils les tirent d'un village, qui n'appartient pas à leur Maître"²⁰ [I, л. 209], "ботвинье... Certaine soupe faite de feuilles de bêtaves avec de l'eau, aigree avec du pain et qu'on mange à la glace"²¹ [I, л. 105], "битка... C'est un grand банка, dont on se sert dans les jeux pour abbatre ces petis os qui sont rangé ensemble"²² [I, л. 72], "балалайка... instrument de musique à deux cordes comun parmi le petit peuple en Russie"²³ [I, л. 28], "дыба... Potence dont on se sert pour donner la question au criminel"²⁴ [I, л. 358], "гривенникъ... Dix sous en espece. Monoie de Russie, dont il y a dix dans un Roubel"²⁵ [I, л. 272об].

С точки зрения противопоставленности культур России и Франции центральным пунктом расхождения являлась конфессиональная область, содержащая наряду с общими реалиями и понятиями зону несовпадений между православием и католичеством, закрепленную в языке. При рассмотрении той трактовки, которую эта оппозиция получает в лексиконе А. Кантемира, нельзя не учитывать его близость к кругам янсенистов и знакомство с проектом воссоединения двух церквей²⁶. За пределами знака равенства, установленного между соотносимыми основополагающими представлениями ("Иисусъ... Jesus" — [II, л. 3]), можно выделить наименования собственно католических и собственно православных понятий и реалий. По отношению к этой лексико-семантической группе принцип, проводившийся А. Кантемиром при представлении выявленных интерференцией зон полного не совпадения (а именно, экспликация "чужих" для адресата денотатов при опущении "чужих" для носителей языка-объекта описания денотатов) перестает действовать. Возникающая в данном случае асимметрия преодолевается последовательным введением номинаций, относящихся к миру католицизма, и уравниванием их с номинациями, функционирующими в мире православия, единым подходом к их метаязыковому представлению.

При соотнесении таких номинаций А. Кантемир прибегает к нескольким способам преодоления асимметрии на языковом уровне.

1. Понятие или явление, свойственное католицизму, получает французский эквивалент, т.е. создается видимость перевода на метаязык, тогда как реально происходит пересчет с метаязыка на язык — объект описания, например, "папа Pape", "папештво Parauté", "папистъ Papiste" [III, л. 7], "папствую faire les fonctions d'un pape" [III, л. 8], "безпогрѣшность папской Infallibilité du Pape" [I, л. 56], "кардинал... Cardinal" [II, л. 13об], "меса... La Messe" [II, л. 133], "капела... Chapelle" [II, л. 12]. На л. 545об [I] рукой А. Кантемира вписаны следующие слова: "инквизиѣа, инквизиторски, инквизиторскѣи, инквизиторша, инквизитор", видимо перевод к ним предполагалось внести позже.

2. Понятие или явление, свойственное православию, переводится на французский язык, при этом утрачивается его специфическое значение или устанавливается не-

¹⁸ "Русская империя поделена на губернии. Каждая губерния управляется губернатором; те кто управляет губернией и подчиняются губернатору, называются воевода".

¹⁹ "Одежда из полотна, обычно белая, которую носят все люди из простонародья и в особенности посылные в лавках".

²⁰ "Плата, которую вносят крестьяне за своих жен, если берут их из деревни, не принадлежащей их господину".

²¹ "Суп, который готовится на воде из листьев свеклы и заквашивается хлебом, едят его ледяным".

²² "Большая банка, которой при игре сбиваются костяшки, составленные вместе".

²³ "Двуструнный музыкальный инструмент, обыкновенный среди простонародья".

²⁴ "Крюк, которым пользуются, допрашивая преступников".

²⁵ "Десять су одной монетой. Мелкие деньги у русских, в одном рубле содержится десять таких монет".

²⁶ О связях А. Кантемира с Европой и, в частности, с янсенистами, а также о его религиозных воззрениях см., например [Grabhoff 1966; 1963; Успенский, Шишкин 1990].

правильное соответствие, например: "клирость... в. клирь" — "клиръ... Clergé" [т.е. слову *клирос* приписывается значение "духовенство" — II, л. 30], "дѣакъ... Commis. Clerc. Tonsuré" [т.е. слову "дьяк" приписывается значение "постриженник" — I, л. 299]. Следует отметить, что эта группа слов значительно уступает по количеству предыдущей группе.

3. Между понятиями и явлениями, функционирующими в разных конфессиональных сферах, ставится знак равенства, что также снимает расхождения (на языковом уровне), например: "капелмейстер... в. уставщик" [I, л. 12], "агнецъ... l'Ostie" [I, л. 506], "обѣдня... Messe. Liturgie" [II, л. 284], "жертвенникъ... Autel. Sanctuaire" [I, л. 385], "игумень... Abé" [I, л. 508], "мѣрской попь Pretre seculier" [II, л. 140], "жермонахъ... Pretre regulier" [II, л. 3], "кирка... Eglise" [II, л. 23]²⁷.

Ряд слов, относящихся к церковному обиходу, получает в лексиконе предельно размытое, неконкретное толкование, например: "Акаѳистъ... Certaine priere Ecclesiastique. Acatiste"²⁸ [I, л. 8], "охтоихъ в. осмогласник. осмогласник... Livre Ecclesiastique ainsi nommé"²⁹ [II, л. 369], вероятно, как необходимые для адресата словаря лишь для общей ориентации.

Наряду, по всей видимости, с сознательной "подгонкой" двух конфессиональных миров, выступающих в лексиконе как единое целое, А. Кантемир допускает неточности двоякого рода: во-первых, подмену существующего термина близким ему словом, но иной словообразовательной структуры (например, "обмываніе... Ceremonie Ecclesiastique à laver le pié" — вместо "омовение" [II, л. 268], "купальня... baptister" — вм. "купель" [II, л. 84, "канонъ... Certaine Recueil des hymnes ecclesiastiques. Office" — вм. "канонник" [II, л. 11], "памятникъ... livre ou on s'inscrit le mort pour en faire mention dans les prieres del'eglise" — вм. "памяток" [III, л. 6], "встретеніе... Chandeleur" — вм. "сретенъ" [I, л. 203]), во-вторых, неправильное истолкование термина (например, "мясопустъ... Carnaval. Le dernier jour de Carnaval. Mardie gras" [т.е. "последний день масленицы" — II, л. 171]).

На фоне научной и профессиональной терминологии, а также бытовой лексики, легко переводимой на язык адресата в силу общности денотатов, область конфессиональных номинаций благодаря методам ее представления в словаре становится частью описания картины мира, которая таким образом предстает адекватной картине мира читателя, хотя и более пространной, включающей ряд явлений и предметов (конкретно-бытового характера), незнакомых ему.

1.3. Единицы, формирующие словник, занимают разные позиции на стилистической шкале. Ядро словника составляет нейтральная лексика, однако в нем представлены библеизмы и разговорная (просторечная) лексика.

Библеизмы, как правило, иллюстрируются цитатами из Священного Писания (т.е. помещаются в гомогенный контекст, исключающий их нейтральность), например: "багряница... совлекаша с' него багряницу" [I, л. 27] и др.

Разговорная лексика может сопровождаться наряду с переводом отдельными комментариями и иллюстрироваться помещением ее в контекст, который может быть разной синтагматической сложности. Например, "воттена... Tenès. Voilà. Expression d'Admiration qui repond en quelque façon au François: Mon dieu, que dites vous!" [I, л. 189], "еже ей ей. Espece de sermens. En verité" [I, л. 371], "Ажно ou Ажъ... à ce que je vois, à ce que je remarque. Ex. Ажно ou ажъ ты не дѣракъ. А ce que je vois vous n'etes pas fol" [I, л. 7].

В сфере разговорной лексики функционировали, вероятно, и многочисленные за-

²⁷ Слово *кирка* (*кирха*) появилось в русском языке в начале XVIII в. и обозначало любовь неправославную церковь.

²⁸ "Одна из молитв".

²⁹ "Название церковной книги".

имствования, характеризовавшие некий социальный жаргон (*щегольской*³⁰), — например, *амурицкь, амурицица, амурюся* (I, л. 111) — наряду с другими, незаимствованными, словами, имевшими маркированное употребление (см., например, *автор* в значении "писатель", междометие *a!* в значении "радостное восклицание", *жестокій* как соответствие франц. *dur*, наличие слова *милой* — *Cheri* (II, л. 137)³¹, а также слов *жаманъ, жаманны⁴, жаманюса* (I, л. 380).

В словнике представлена лексика, обычно подлежащая табуизации³², например: *ебанѣ, ебачь, ебу* (I, л. 365), *мудо, мудици* (II, л. 157), *пизда, пиздојобъ* (III, л. 55). Особенности функционирования подобных словоформ нейтрализуются наличием французских эквивалентов, соотносимых с ними по семантике, но переводящих их в иной стилистический регистр.

II.1. Формирующие словник единицы расположены по алфавитному принципу, но при этом они могут образовывать словообразовательные ряды, устроенные симметрично. Так, при именах существительных словообразовательный ряд выглядит следующим образом: имя — имя + увелич. суфф. — имя + уменьшит. суфф. — прилаг. Например: *абатъ—абатище—абатишко—абатский* (I, л. 30б—4) и т.д. Число позиций может быть увеличено — для названий людей по роду их деятельности помещаются две лексемы, соотносимые с мужским и женским полом (*абат—абеса*). На одну позицию (например, имя + увелич. суфф./уменьшит. суфф.) может быть приведено несколько лексем: *бауль—баулище—баулецъ, бауликъ, баулокъ, бауличкь, баулишко* (I, л. 34). Ср.: *казарма—казармище—казармка* (II, л. 6), *камзоль—камзольище—камзольикъ, камзольишко—камзольный* (II, л. 10), примеры подобного рода легко умножить. При глаголе наиболее типичная позиция — это наречная форма, достаточно часто встречается также отглагольное имя со значением действие по глаголу. Вот один из примеров широкого словообразовательного гнезда: *качаю—качаюся—качанѣ—качель—качелище—качелишко, качелка—качельный—качельщикъ—качельщица* (II, л. 17).

Увеличение позиций происходит и за счет постановки в качестве основной толкуемой единицы словоформ, например, возвратной формы глагола, форм причастий, краткой формы прилагательного, степеней сравнения прилагательного.

II.2. Механизм порождения симметричных словообразовательных рядов (т.е. регулярное использование одних и тех же формальных показателей) актуализирует механизм вычленения общности семантики (переданной данными формальными показателями). Общие морфемы (например, суффиксы) начинают функционировать как отдельная единица описания внутри слова, они получают устойчивый эквивалент в метаязыке, который прибавляется к лексеме, передающей значение основной морфемы (корня). Таким образом, слово разлагается на составные части, каждая из которых получает самостоятельную экспликацию (части, несущие лексическую семантику, толкуются переводом на метаязык, причем их иерархия — корень/аффиксы — передается иерархией метаязыка: одним и тем же аффиксам соответствует один и тот

³⁰ Слова *щоголь, щоголихи* присутствуют в словнике, однако, поскольку они находятся в самом конце лексикона, к ним не подведено ни перевода, ни толкования. Однако в словаре толкуется слово *дощоголять* — "Achever de faire le petit Maitre" (т.е. "закончить вести себя как петиметр" — (I, л. 344)). Ср. упоминание об аканье как элементе щегольского жаргона выше (при разъяснении двух типов произношения, приведенных в связи с буквой *a*).

³¹ О "щегольском жаргоне" вообще и в частности об этих словах см. [Успенский 1985; Успенский, Лотман 1994].

³² По отношению к данной группе лексики возникает вопрос о том, что именно подлежит табуизации: семантика или фонетика? В пользу второго говорит тот факт, что иностранец легко может преодолеть наложенный традицией запрет. В этом смысле любопытно, что А. Кантемир ощущал себя "чужеродцем" (см., например, его эпиграму "Автор о себе" или же его самоопределение в предисловии к "Симфонии на Псалтирь", где он говорит о себе как о человеке "иноземической породы").

же метатекст, подчеркивающий механизм деривации; части же, несущие грамматическую семантику, поясняются устойчивыми грамматическими пометами). Так, например, суфф. *-еу-* всегда получает эквивалент “*petit*” (“*маленький*”) (“*адресецъ... petite adresse*” [I, л. 60б], “*баѡлецъ... petit coffre*” [I, л. 34], “*кораблецъ... petit vaisseau*” [II, л. 53] и т.д.), суфф. *-ишк-* совмещает два компонента “*petit*” и “*mauvais*” или “*vilain*” (“*дурной*”, “*отвратительный*”) (“*баѡлишко... un petit vilain coffre*” [I, л. 34]), суфф. *-ость-* передается словом “*l’etat*” (“*состояние*”) (“*багрянность... L’etat de celui que est rougre*” [I, л. 27], “*ближність... etat de celui que est près*” [I, л. 87] и т.д.), суфф. *-ств-* словом “*charge*” (“*должность*”) (“*адвокатство... La charge d’Avocat*” [I, л. 60б], “*адмиралство... La charge d’Amiral*” [I, л. 7] и т.д.).

В некоторых случаях механическое сочленение семантики корня и аффикса приводит к размытости семантики слова или же к противоречивости внутренней формы слова. Например, слово *водица* выводится из суммарного значения корня (“*вода*”) и суфф. (“*маленький*”), что в целом дает “*petite eau*” (“*маленькая вода*”, — [I, л. 165]); слово *божок* раскладывается на части “*Бог*” и “*маленький*” (“*un petit Dieu*” — [I, л. 100]); слово *божишко* — на “*Бог*” и “*маленький, плохой*” (“*un petit vilain Dieu*” [I, л. 100]); в словообразовательном ряду *Библия—Библейка—Библейце* (возникшем явно из соображений симметрии построения словника) лексемы различаются семантикой, привносимой суффиксами, что дает соответственно “*Библия*” — “*маленькая Библия*” — “*большая Библия*” (“*Bible*” — “*une petite Bible*” — “*un grand (sic!) Bible*” — [I, л. 71], ср. *миня—минейка—минейце* [II, л. 138]); прибавление суфф. *-иц-* к корню *год* дает общее значение слова *годище* — “*длинный год*” (“*longue année*” — [I, л. 262]); слово *лѣто*, осложненное приставкой *без-*, имеющей, как видно из многочисленных толкований Кантемиром слов, включающих этот префикс, значение “*отсутствие того, что названо корнем*”, — (*безлѣтной*) — объясняется следующим образом: “*C’est une année sans été*”³³ ([I, л. 48], ср.: “*безустный... qui n’a pas de bouche*”³⁴, [I, л. 62]). Подобный принцип вскрытия внутренней формы слова приводит к восприятию морфем как самостоятельных объектов толкования, а поскольку толкование подразумевает перифразы, для отдельной морфемы может подбираться ряд эквивалентов, синонимичных в языке описания, что также порождает неадекватность суммарного результата, например: “*домишко... un vilaine maison, petite mechante maison*” (“*плохой дом, маленький злой дом*” [I, л. 321]). В отдельных случаях механическое выведение значения слова из суммы значений его формантов вытесняет общепринятое значение, например, слово *безмѣстїе*, выходявшее из употребления в XVIII в., могло употребляться в двух значениях “*нелепость*” и “*отсутствие местничества*” ([Сл. русск. яз. 1984: 177]), однако А. Кантемир определяет его как “*недостаток места*” (“*Defaut de place*” — [I, л. 480б]).

Внимание А. Кантемира к внутренней форме слова и к продуктивным типам словообразования толкает его к заполнению узусных лакун в системных связях³⁵. Приведем пример окказионализма, формальная и семантическая структура которого выведена из словообразовательных аналогий и чисто логических конструкций: А. Кантемир образует слово *витательница*, соотнося его с существовавшим словом *витатель*. Семантически оба образования возводятся к слову *виталня*, которое получает перевод “*постоялый двор*” (“*Auberge*”). Поскольку логически лицо, названное по данному месту временного проживания, может быть как хозяином постоянного двора, так и его обитателем, А. Кантемир наделяет слово *витатель* обоими значениями, хотя, как

³³ “Год, в котором не было лета”.

³⁴ “Не имеющий рта”.

³⁵ Вопрос о соотношении лексической системы, зафиксированной в словаре А. Кантемира, с той, которая реально представлена в литературе и других источниках того же времени, является предметом отдельного исследования. Отметим лишь, что окказионалисты наряду с неологизмами составляют довольно обширный пласт словника.

следует из других источников, оно употреблялось лишь в значении "гость, постоялец". Далее оба эти значения переносятся на слово *вительница*, образованное А. Кантемиром по известной ему модели, преобразуясь аналогично другим существительным, связанным деривацией с именами, имеющими семантику профессия + лицо муж. пола (ср.: *аптекариша* — "владелица аптеки" ("Aptocairese") и "жена аптекаря" ("la femme de l'Aptocaire") — [I, л. 15]³⁶). Соответственно, А. Кантемир выделяет для слова *вительница* знач. "гостя" (<"гость", "Hôte ou etrangere") и знач. "владелица постоялого двора"/"жена владельца постоялого двора" (<"владелец постоялого двора", во франц. переводе стоит "Femme aubergiste", что может значить как профессиональную деятельность, так и номинацию по профессии мужа, — [I, л. 154]). Наличие в словнике лексемы *иностраннѣ* заставляет А. Кантемира включить в него слово *нашестраннѣ* (II, л. 219)], по модели *архїандритѣ*, *архїерей* он образует слова *архїевнух* ("главный евнух") и *архїснаногаѣ* ("тот, кто стоит во главе синагоги"), используя существовавшую в языке модель сложных слов с первой частью *аэро-*, синонимичной более распространенному форманту *воздухо-*, он производит ряд составных прилагательных *аэровиднѣ*, *аэросмѣсныѣ*, *аэрошарнѣ* (и одновременно ряд дублетов: *воздуховиднѣ*, *воздухосмѣсныѣ*, *воздухошарнѣ*), — интересно, что замена заимствованного *аэро-* в последнем случае повлекла за собой и замену второго корня, являющегося полонизмом), а также глагол *аэрошествоую*. Примеры подобного рода многочисленны.

Таким образом, лексемы, составляющие словник, при переводе на метаязык, могут рассматриваться двояким образом. Во-первых, они выступают как синтетические единицы, толкуемые в целом, а во-вторых, как сочленения, подлежащие анализу. Процедура "раскрытия" внутренней части формы слова используется А. Кантемиром системно, что служит выявлению внутренней логики языка, при этом его не смущает представленная порою нелогичность и даже абсурдность результата подобного анализа. Симметричность порождения словообразовательных рядов требует симметричности в истолковании лексем, содержащих идентичные морфемы.

Итак, при организации словника сочетается "воля" языка, который диктует свои законы и навязывает картину мира, требующую фиксации, и "воля" автора, выражающаяся в отборе единиц или в тенденции к отказу от отбора (в зависимости от того, на какой пласт языка направлено его внимание), а также в заполнении лакун (формальных и семантических), обнаруженных при системном взгляде на внутреннюю форму языка и отдельных лексем (словоформ). Автор проявляет себя в стремлении упорядочить картину мира в соответствии с определенной логикой (которая диктуется, с одной стороны, интерференцией двух культур и связанным с ней намерением подчеркнуть или завуалировать области расхождений, а с другой стороны, общим представлением о полноте картины мира и, следовательно, культурно-бытового контекста) и выявить присущую собственно языку-объекту описания логичность (методом порождения макро- и микроединиц на формальном и семантическом уровнях).

Выше отчасти уже шла речь о метаязыке как о носителе языковой и внеязыковой информации о единицах, включенных в словник. Для того, чтобы понять, что именно составляет зону толкования в лексиконе, необходимо охарактеризовать

³⁶ Формант *-ш-* и связанная с ним словообразовательная модель реализована в целом ряде лексем, вошедших в словник, причем обычно им сообщается устойчивая многозначность: профессия + лицо жен. пола, жена + (профессия + лицо муж. пола), ср.: "адмиралша... La femme d'Amiral. Amiral" [I, л. 7], "генералша... La femme du General La generale" [I, л. 251] и т.д. Только такой же механизм — перенос всех знач. сущ. м.р. (муж. пола), на соотносимое с ним сущ. ж.р. (жен. пола) с типологически устойчивой трансформацией (+ жен. пол.) — можно наблюдать и для пар с другим набором формантов (например *-ник/-ница-*: *заваникъ—заваница*, *дворникъ—дворница* и т.д.), причем включение в словник одной лексемы влечет за собой появление соотносимой с ней вне зависимости от того, представлена ли она в реальном узусе или нет, то же самое можно сказать и о перенесении значения (системы значений) с одной лексемы на другую.

общую схему словарной статьи, т.е. способ построения метаязыкового текста. Она выглядит следующим образом³⁷:

Заголовочная позиция

Грамматические пометы

[Специальные пометы]

Перевод на метаязык: семантика, сочетаемость

[Внелингвистический комментарий]

[Примеры использования единицы в устных/письменных формах]

[Перевод приведенных примеров использования единиц на метаязык]

[Сравнение с единицами других языков]

[Сведения о происхождении слов]

[Указание на системные связи: синонимы и антонимы]

В лексиконе широко представлены отсылочные словарные статьи (для слов, являющихся синонимами, а также для слов, имеющих несколько вариантов написания).

Рассмотрим компоненты словарной статьи более подробно.

Вторую позицию после заголовочной единицы последовательно занимают грамматические пометы. Они являют собой систему грамматических сведений, имеющую свою внутреннюю организацию. Прежде всего для всех единиц указывается принадлежность к тому или иному грамматическому классу³⁸, затем отмечаются более частные грамматические характеристики³⁹. Для имен существительных таковыми являются:

1) сведения о роде (*M/F/N*). Для слов, имеющих согласование как по мужскому, так и по женскому роду, указывается двойная родовая принадлежность (*M. et F.*). В этот разряд попадают такие слова, как *блѣдодѣя*, *бѣдняшка*, *бѣлорѹчка* и т.д.

2) сведения о форме род. пад., например, "балбѣръ, а" ([I, л. 29]), "баечка, и" ([I, л. 28]), "банки, некъ" ([I, л. 30]), "балій, я" ([I, л. 29]) и т.д.

3) сведения о числе имени существительного. По умолчанию число существительного определяется как единственное. Для слов *pluralia tantum* число последовательно указывается, например: "бѣбны usité en pluriel seulement"⁴⁰ ([I, л. 114]). Отдельные имена существительные попадают в словник дважды: в форме им. пад. ед. числа и в форме им. пад. мн. числа, например, наряду со словом *амазонка* представлена форма мн. числа *амазоны* ([I, л. 12]). Форма им. пад. мн. числа может указываться при форме ед. числа, особенно если ее образование представляет некоторые сложности или же если она имеет свои особенности функционирования, например, по частотности употребления превосходит форму ед. числа — "вилка... usité plutôt en pluriel вилки"⁴¹ ([I, л. 152]).

Для имен прилагательных:

1) сведения о форме род. пад., например, "бараней, бяго" ([I, л. 31]),

2) сведения о краткой форме (если она не представлена как самостоятельная заголовочная единица, например, "балбѣръный, енъ" ([I, л. 29]),

3) сведения о функционировании в субстантивированной форме, например, "багрянородный, енъ adj, qui a force de Substantif"⁴² [I, л. 27],

³⁷ В квадратные скобки мы помещаем компоненты словарной статьи, реализованные не для всех единиц словника, иначе говоря, представленные непоследовательно (при этом на данном этапе для нас не существенна иерархия этой непоследовательности, т.е. различие более и менее частотных компонентов).

³⁸ Помимо значимых классов слов А. Кантемир различает союзы (*conjonctions*), предлоги (*prépositions*), частицы (*particules*) и междометия (*interjections*).

³⁹ Более частные характеристики, за исключением, пожалуй, указания рода имен сущ., представлены непоследовательно.

⁴⁰ "Употребляется только во множественном числе".

⁴¹ "Употребляется чаще во множественном числе".

⁴² "Имеет силу существительного".

4) сведения о нулевой степени сравнения при форме компаратива или суперлатива, например, "болѣи compar. de большой et великой" ([I, л. 101]), "блажаишѣи Superl. de благи" ([I, л. 85]). Аналогичная система отсылки существует и для степеней сравнения наречий.

При личных местоимениях:

1) сведения о роде, например, "она Pron.f." ([II, л. 310]),

2) сведения об исходной форме. Парадигма личных местоимений почти полностью вошла в словарь (т.е. каждая форма личных местоимений получила самостоятельную словарную статью). В этих случаях при заголовочных словоформах содержится соответствующая отсылка и указываются частные грамматические характеристики, например, "À Nombre duel du Pronom онъ" ([I, л. 4]).

Для глагола:

1) сведения о классе глагола, например "neutre" (N), — класс глаголов, обозначающих ненаправленное действие (например, *алалакаю* — [I, л. 10]), "actif" (A), класс глаголов, обозначающих действие, направленное на другой объект (например, *волочу* — [I, л. 180]), "réciproque" (R), класс глаголов, обозначающих действие, направленное как на субъект, так и на объект (например, *дружуся* — [I, л. 350]), "déropent" (D), класс глаголов, обозначающих действие, замкнутое на субъекте (например, *молюся* — [II, л. 150]). Для отдельных глаголов указана принадлежность к двум классам, в соответствии с которой различаются два значения, например, "бранюся V.D. Dire des sottises. § V.R. Se quereller avec quelqu'un" (т.е. "говорить глупости" и "ссориться" [I, л. 108]).

2) сведения о принадлежности глагола к классу многократных глаголов ("frequen-tatif"), например: "бываю... Frequentatif du verbe substantif есмь" ([I, л. 120]),

3) сведения о двойном управлении глагола, например, "ласкаю... кому Flatter кого Caresser" (т.е. различаются значения "лестить" и "ласкать" [II, л. 93]),

4) сведения о безличном употреблении, например, "варюся... usité en troisieme per-sonne"⁴³ ([I, л. 128]), "болить Impersonnellement signifie il fait mal"⁴⁴ ([I, л. 103]),

5) сведения о формах словоизменения в наст. и прош. времени, а также о форме инфинитива⁴⁵, например, *бдоу, ишѣ, илѣ, ѣлѣ, ить, ѣтъ* ([I, л. 35]). Может отмечаться также дефектность парадигмы, например, "взлѣдѣть... On n'a point de tems present de l'indicatif pour ce verbe et on s'en sert du primitif qui est блѣждѣть"⁴⁶ ([I, л. 148]),

6) сведения об исходной форме глагола в том случае, если в качестве заголовочного слова представлена форма словоизменения, а также о конкретных грамматических характеристиках, например, "былѣ Le passé du verbe subst. есмь" ([I, л. 120]). Из всей парадигмы формообразования чаще всего в инициальной позиции оказываются формы причастий и деепричастий.

Для предлогов указываются падежи, которыми они управляют, т.е. толкуется предложно-падежная форма, например, "во... Quand il marque le repos d'une chose vo demande un Narratif, mais quand il marque le mouvement, vo regit l'accusatif"⁴⁷ ([I, л. 164]).

Система помет, помимо собственно грамматических, включает в себя разнообразные сведения о единице, помещенной в инициальную позицию.

I. На уровне словообразовательной характеристики слова А. Кантемир использует пометы "diminutif" (уменьшит. — *Dim.*) и "augmentatif" (увеличит. — *Aug.*).

⁴³ "Употребляется в третьем лице".

⁴⁴ "Употребленное безлично обозначает причиняет боль".

⁴⁵ В заголовочной позиции А. Кантемир помещает обычно форму I л. ед. числа наст. вр.

⁴⁶ "Этот глагол не имеет формы настоящего времени индикатива, для чего используется первообразный *блужу*".

⁴⁷ "Во требует предложного падежа, когда обозначает покой, и винительного падежа, когда обозначает движение".

II. Большинство помет используется А. Кантемиром для уточнения сферы применения единицы.

II.1. А. Кантемир помечает принадлежность лексемы к иной языковой системе (подсистеме). Так, он выделяет церковнославянизмы (*Esc.*) двух типов: собственно церковнославянизмы и церковнославянские значения в системе значений слова. Например, "балсамую... mot Escl. peu usité"⁴⁸ ([I, л. 29]), "баба... femme acoucheuse (ce sens est Esclavon...)"⁴⁹ ([I, л. 250б]). Для ц.-слав. в обоих пониманиях этого термина А. Кантемир часто подводит собственно русские параллели: "Алчны"... голо"ныи" ([I, л. 11), "Il est à remarquer que добро en Russe est (sic!) благо en esclavon signifie la même chose..."⁵⁰ ([I, л. 3010б]).

А. Кантемир помечает генетические ц.-слав., однако они имеют и функциональную закрепленность, т.к. иллюстрируются цитатами (или же ссылками) на Библию.

Крайне последовательно он отмечает и диалектные слова (значения слов), например: "гладышь... Dans quelques provinces signifie oeuf"⁵¹ ([I, л. 255]).

II.2. В области книжной лексики собственно стилистической можно считать помету "поэтическое употребление" ("poetiquement"), например, "дерево... poetiquement vaisseau" (т.е. "поэтически корабль" [I, л. 294]).

Помета, маркирующая другой стилистический полюс ("terme bas" — просторечие), встречается крайне редко. Так, например, к просторечным отнесен глагол *балакать* [I, л. 28].

К особенно редким относится и помета "щегольское употребление" ("terme du galanterie"), так, она встречается во вставке, относящейся, по всей видимости, к словам *другъ, другиня* [I, л. 3490б].

Довольно последовательно А. Кантемир помечает особый пласт просторечной лексики — "шуточные" номинации ("terme burlesque"). Внутри этого пласта лексики самой обширной лексико-семантической группой являются глаголы со значением "ударить, стукнуть по голове", например: *благословляю, колпачу, всучаю, гвожжу, звѣзду, деру, гнѣтъ* и др., глаголы со значением "красть", например, *збиваю*, существительные со значением "гуляка, кутила", например, *ерыхало, лазарь*.

II.3. Особенно последовательно А. Кантемир использует терминологию сферой. В лексиконе представлены термины из сферы коммерции ("terme de commerce", например, *ажѳо*), юриспруденции ("terme de barreau", например, *взношеніе*), коневодства ("terme de manege", например, *выежжаю*), фортификации ("terme de fortification", например *бастіонъ*), строительства ("terme de maçon et de charpentier", например, *пазъ*), судоходства ("terme de mer", например, *бѣжированіе*), военного дела ("terme de guerre", например, *зимовы*), картежных и других игр ("terme de jeu de cartes", например, *держать банкъ, кройка*, "terme du jeux (sic!) des Dames", например, *играть в' дамы*, "terme de jeu d'echec", например, *ладья*), книгопечатания ("terme d'imprimerie", например, *звѣздка*), музицирования ("terme de musique", например, *басъ*), риторики ("terme rhetorique", например, *аллегоріа*), поэтики ("terme de poesie", например, *вириши*, "terme de prosodie", например, *анapestъ*), философии ("terme philosophique", например, *блготѣчность*), грамматики ("terme de grammaire", например, *аномаль*, "terme d'orthographe", например, *вмѣстительная*), физики ("terme de physique", например, *вихоръ*), математики ("terme d'arithmetique", например, *дѣлитель*).

II.4. В отдельных случаях А. Кантемир отмечает коммуникативную устанoвку, заложенную в слове. С этой точки зрения он различает "ласка-

⁴⁸ "Редко используемое церковнославянское слово".

⁴⁹ "Акушерка (это значение является церковнославянским)".

⁵⁰ "Отметим, что *добро* в русском языке и *благо* в церковнославянском обозначают одно и то же".

⁵¹ "В некоторых областях обозначает яйцо".

тельные слова" ("expression tendre", "mot caressant", например, "блядочка... C'est aussi un mot caressant, qui est bien drole, mais il est d'usage entre deux personnes qui sont familières"⁵² — [I, л. 91]), слова, выражающие сочувствие ("expression de compassion", например, бѣдняшка) и, наконец, слова, выражающие негативное отношение говорящего к адресату, — ругательства ("injure", например, "блядь сынъ... c'est une espece d'injure" — [I, л. 92]).

Область толкования на метаязыке может вырастать до сравнительно просторного текста. В этом случае наряду с глоссой, передающей собственно значение, следуют различные уточнения: 1) локализирующие его семантическую или лексическую сочетаемость, например, "девятеро Neuf. (en parlant des hommes et des animaux)" (т.е. "о людях и животных" [I, л. 291]), "закуренный... Allumé (en parlant de pipes à tabac)" (т.е. "зажженный — о трубке" [I, л. 423]); 2) поясняющие понятие или предмет при помощи отсылки к определенному классу явлений, например, "Домино... (Habit de Masquerade) Domino" (т.е. маскарадный костюм [I, л. 321]), "линь... (Poisson) Tenge. Merlue" (т.е. рыба [II, л. 102]), "липа... (Sorte d'arbre) Tilleuil (sic!)" (т.е. вид дерева [II, л. 102]); 3) детально описывающие фрагмент реальности (для лексем, относящихся к той области действительности, которая не находит соответствия в картине мира адресата словаря (см. об этом выше).

Для отдельных словоформ А. Кантемир приводит эквиваленты из других языков (латинского и итальянского), например, "бѣдняшка... repond parfaitement al'Italian Poveretto, Poverino" ([I, л. 122об]), "палаю... Ital. Fiammegiare" ([III, л. 5]).

Описание одного языка через другой заставляет А. Кантемира порой отталкиваться от метаязыка, сопоставляя словоформы или синтагмы. В крайнем выражении этой тенденции толкование слова сводится к отсылке к знанию системы значений французского слова: "бездна... Abyme (ce mot a toutes les significations d'abyme en François)"⁵³ ([I, л. 40]).

Выход за границы языка-описания и метаязыка приводит к спорадическим указаниям на происхождение слова: "диванъ... (mot Turc) Assemblée. Conseil" ([I, л. 297]).

Для различения прямых и переносных значений А. Кантемир использует собственно лексикографические пометы *Met.* и *Fig.*, которыми он маркирует "метафорическое" употребление в полисемантической системе слова.

Системный взгляд на вошедшие в лексикон единицы диктует соотнесение их между собой, что выражается в большом количестве отсылок. Особенно частотным является обращение к синонимическому ряду ("изводъ... в. выво" — [I, л. 515], "кавка в. галка" — [II, л. 5]). Отсылка к синонимам характерна для заимствованной лексики, например, "Адвокатъ... Стряпчей" [I, л. 6], "Адресъ... на^дпись, по^дпись" [I, л. 6об]), "аллегоріа... рѣчь реторическая" [I, л. 11], "Агнець... Егньонокъ" [I, л. 6]. В лексиконе встречаются также не прямые отсылки, скрытые в метаязыковом тексте. Так, слово может толковаться через указание на его антонимическое другому слову, например, "безпечальё... le contraire du chagrin... La Gaieté... § le contraire d'inquietude. Tranquillité d'ame"⁵⁴ [I, л. 55].

Для иллюстрации всего вышесказанного приведем несколько словарных статей полностью:

бѣгаю V.A. Courir. Ex. бѣгаю по полю Courir sur le champ, sur le près. § S'enfuir. S'echapper. Ex. слѣга мой бѣжа^д Mon valet s'est echappé, s'enfuit" ([I, л. 122]);

"банщикъ, а, S.m. celui qui tiene le baigne pour le service du maitre ou du Publique. Baigneur." ([I, л. 30]);

⁵² "Это также ласковое выражение, которое, несмотря на свою кажущуюся странность, очень распространено между людьми, находящимися в близких отношениях".

⁵³ "Пропасть (имеет те же значения, что и французское слово)".

⁵⁴ "Антоним к слову горе. Веселость. § антоним к слову беспокойство. Спокойствие души".

"дѣтки Pl. Dim. de дѣти Petits enfans" (I, л. 363));

"нама Dat. du nombre duel du pronom я. à nous deux" (II, л. 196));

"изо Part. derivée de из' dont on se sert pour lever la cacophonie en quelque mot, comme изо усть au lieu de изъустъ" (I, л. 532));

"камень S.M. Pierre камень дорогой Pierre precieuse дереванный Tuf мелничный Pierre à moulin жирновой верхный Pierre à moulin de dessus жирновой нижний Pierre à moulin de dessous искусной или опытной Pierre de touche voies оселка разноцветно Pierre bigarré пенковы Pierre ponce незагораемы Amianthe гробный на гробный Epitaphe. Pierre de tombeau зеленый Pierre verte. Prassilithe пузырьный Adj. Pierre de vessie почешной Adj. Pierre de reines угли charbon перуной Pierre de foudre v. чортовъ палець краеугольный la pierre angulaire камень тесанной Ardoise § каменѣемъ побѣваю V.A. Lapidet каменѣемъ побѣгы Adj. Lapidé" (II, л. 80б—10));

"ипарены Adj. etuvé § baigné § Fig. battu, etrillé" (I, л. 553)).

Итак, метаязык в лексиконе по-разному соотносится с языком-объектом описания. Во-первых, в нем можно выделить словник, порожденный необходимостью перевода словник-объект описания (соответствие словоформа/словоформа, ряд словоформ: таким образом происходит вторичная кодификация лексической системы французского языка и соположение двух систем, а следовательно, представлений о мире). Перевод на метаязык может ограничиваться одной лексемой или же состоять из краткого синонимического ряда. Во-вторых, в нем выделяется ряд помет, служащих для уточнения узуса единиц, входящих в словник. И, наконец, метаязык содержит зону толкования, в которой происходит совмещение механизмов передачи как лингвистической, так и внелингвистической информации.

Сложность организации метаязыкового текста диктовалась ориентацией автора на многослойность информации, заложенной в словнике. В словаре А. Кантемира описывается не только лексическая, но и графическая, словообразовательная и грамматическая (включая синтаксическую) системы русского и отчасти (гораздо менее последовательно) ц.-слав. языков, причем их семантическая структура передается лексическими и грамматическими средствами метаязыка, который имеет свою внутреннюю организацию (ядро ее составляет собственно перевод-толкование, а периферию — пометы разной значимости).

После перераспределения сфер влияния между ц.-слав. и русским языками (происходившего в первой четверти XVIII в.) последний из объекта периферийной (фрагментарной) кодификации превратился в объект самостоятельного анализа. Важным этапом в этой трансформации послужил взгляд на Россию как на возможного "собеседника", подразумевавший двустороннее движение: изнутри (выражавшееся в установке на изучение иностранных языков) и извне (выражавшееся в установке на изучение русского языка иностранцами). Таким образом прикладное (т.е. ориентированное на употребление носителями и других языков) описание предшествовало собственно научному. Первые пространные кодификации грамматического строя русского языка содержатся в трудах, предназначенных для иностранцев, или же, наоборот, в описаниях иностранных языков, сделанных для русских, — точно так же фиксация лексики связана со взаимным освоением языкового пространства. Фрагментарно лексический уровень языка мог фиксироваться и в грамматических трактатах. Так, например, в славяно-русской грамматике И.-В. Пауса, предназначенной для иностранцев, рассыпан русско-немецкий словарь, поскольку каждый грамматический класс слов иллюстрируется списками лексем с переводом на немецкий язык⁵⁵, в состав грамматики нидерландского языка В. Севела, переведенной Я. Брюсом для ознакомления русских с этим языком, входила "Роспись родам многих имен", из

⁵⁵ И.-В. Паус является автором немецко-русского словаря, оставшегося, как и грамматика, в рукописи ("Dictionarium Germano-Russicum", см. [Михальчи 1969: 12]).

которой впоследствии вырос русско-голландский лексикон. Показательно в этом смысле, что первые серьезные попытки описания лексической системы русского языка связаны именно с языковым "обменом": таковыми являются, с одной стороны, "Вейсманов лексикон" (1731 г.); где русский язык вступает наряду с латинским в качестве метаязыка (что имело как следствие его кодификацию ровно в той же степени, в какой являлись кодификацией грамматической структуры русского языка эквиваленты парадигм иностранных языков, приведенные в грамматиках иностранных языков для русских), а с другой стороны, труд А. Кантемира, ориентированный на иностранцев. Однако, если на уровне графики, словообразования, морфологии и синтаксиса можно видеть ф и к с а ц и ю явлений, свойственных каждому из этих срезов языка (присутствующую с разной степенью полноты и в лексиконе А. Кантемира), то по отношению к лексике более правомерно говорить о ф и к с а ц и и-к о н ц е п ц и и. Лексика как открытая система требовала для последовательной кодификации определенных базовых принципов, позволяющих ограничить ее⁵⁶. В качестве такого принципа А. Кантемир, как кажется, выбрал суммирование системных возможностей, скорректированное пересчетом на культурно-языковой план метаязыка. Однако наряду с обращенностью русской культурно-языковой ситуации вовнутрь (т.е. с ее восприятием как "вещи в себе") и вовне (т.е. ее проекцией на иную культурно-языковую плоскость) в словаре А. Кантемира прочитывается еще одна реальность — некий идеальный культурно-языковой конструкт, синтезированный автором. В этом смысле лексикон довольно ярко обрисовывает лингвистический портрет автора, его методы филологической работы со словом, и, таким образом, может считаться не только важным свидетельством "биографии" слов, но и одним из интереснейших памятников творческой биографии А. Кантемира.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Берков П.Н. 1961 — Первые годы литературной деятельности Антиоха Кантемира (1726—1729) // Проблемы русского просвещения в литературе XVIII века. М.; Л., 1961.
- Бовье Ф. Бле 1740 — Разговор о множестве миров г. Фонтенелла, Парижской академии наук секретаря, с французского перевел и потребными примечаниями изъяснил князь Антиох Кантемир в Москве в 1730 г. СПб., 1740.
- Градова Б.А. 1985 — Первые переводы Антиоха Кантемира // Исследование памятников письменной культуры в собраниях и архивах Отдела рукописей и редких книг [Гос. Публичной библиотеки им. Салтыкова-Щедрина]. Л., 1985.
- Градова Б.А. 1987 — А.Д. Кантемир — составитель первого русско-французского словаря // Краткие тезисы докладов научной конференции "Россия—Франция. Век Просвещения" (по материалам выставки в Париже и Ленинграде) 12—14 мая 1987 г. Л., 1987.
- Майков А.Н. 1903 — Материалы для биографии А.Д. Кантемира. СПб., 1903.
- Михальчи Д.Е. 1969 — Славяно-русская грамматика Иоганна Вернера Паузе. Дисс. на соискание уч. ст. д-ра филол. наук. Л., 1969.
- Россия—Франция 1987 — Век Просвещения. Русско-французские культурные связи в 18 столетии. Каталог выставки. Л., 1987.
- Сл. русск. яз. 1984 — Словарь русского языка XVIII в. Вып. 1. А—Безпристрастие. Л., 1984.
- Сл. русск. яз. 1991 — Словарь русского языка XVIII в. Вып. 6. Грызтьяс—Древный. Л., 1991.

⁵⁶ В качестве концепции мог выступать, например, принцип толкования "темных" (непонятных, заимствованных) лексем, имевший традицию функционирования в великорусской книжности (см., к примеру, на материале европейских заимствований "Лексикон вокабулам новым" с пометами Петра I — (опубликован в [Смирнов 1910]), или принцип семантических полей (распространенный в начале XVIII в. в Европе, он имеет своим прообразом книгу Яна Амоса Коменского "Orbis pictus"; с подобным типом словарей А. Кантемир был, несомненно, знаком: в его лексиконе есть слово "имяноположеніе" — "Nomenclature" — [I, л. 546]), или же принцип специализации (разного рода терминологические словари и индексы).

- Смирнов Н.А. 1910 — Словарь иностранных слов, вошедших в русский язык в эпоху Петра Великого // Сб. ОРЯС. СПб., 1910. № 2.
- Стоюнин В.Я. 1880 — Князь Антиох Кантемир в Париже // Вестник Европы. 1880. № 8—9.
- Успенский Б.А. 1985 — Из истории русского литературного языка XVIII—начала XIX века. М., 1985.
- Успенский Б.А., Лотман Ю.М. 1994 — Споры о языке в начале XIX в. как факт русской культуры ("Пронсшествие в царстве теней, или судьбина российского языка" — неизвестное сочинение Семена Боброва) // Б.А. Успенский. Избр. труды. Т. II: Язык и культура. М., 1994.
- Успенский Б.А., Шишкин А.Б. 1990. — Третьяковские и янсенисты // Символ. 1990. № 23.
- [Guasco O. de] 1749 — Vie du Prince Antiochus Cantemir // Satyres de Monsieur le Prince Cantemir avec l'histoire de sa vie. Traduites en François. A Londres, 1749.
- Graßhoff H. 1963 — A. Kantemir Verhältnis zu den Jansenisten: Eine französische Übersetzung der 1. Satire aus dem Jahre 1744 // ZSL. Bd. VIII, 1963. H. 1.
- Graßhoff H. 1966 — Antioch Dmitrievic Kantemir und Westeuropa: Ein russischer Schriftsteller des 18. Jahrhunderts und seine Beziehungen zur westeuropäischen Literature und Kunst. B., 1966.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

РЕЦЕНЗИИ

Ф.Д. Ашнин, В.М. Алпатов. "Дело славистов". 30-е годы. М., Изд-во "Наследие". 1994. 286 с.

История науки — это создание теорий, напряженная, часто мучительная проверка их истинности, становление новых концепций, новых методов исследования. Это, как было когда-то сказано, драма идей. Но вместе с этим история науки — драма (часто — трагедия) людей. Истории науки принадлежат не только мысли Коперника, но и судьбы Галилея и Джордано Бруно.

Трагедия науки и людей науки возникает тогда, когда она оказывается в плену. В плену антинауки: инквизиции (не обязательно средневековой), массовой невежественности, партийной тупости, идеологической одержимости. Трагичны страницы русской науки во время ее великого пленения "единственно правильной идеологией". Книга Ф.Д. Ашнина и В.М. Алпатова раскрывает трагедию лингвистики в советской России. Каждое слово — достоверно, проверено, документально обосновано. Тон книги серьезный, сдержанный, без подчеркивания эмоций (эмоции авторы оставили на долю читателя). Иногда мелькнет искра иронии, сарказма, возмущения издевательствами над людьми, когда этого возмущения нельзя было сдерживать. Объективный тон рассказа позволяет авторам создать образы людей, их смелой и упорной стойкости, достоинства, преданности науке, умения не сломиться в трагических обстоятельствах. Относительно других, тех, кто не выдержал натиска следствия, тоже сказано сдержанно, в достойном тоне. Об одном из откровенных подследственных сказано так: "Не надо только ставить ему в вину его грех, своей трагической судьбой он с лихвой искупил ее" (57)¹.

Две противоположные мысли возникают у читателя книги. Первая: брали и уничто-

жали кого попало, лишь бы дать контрольную цифру. В создании "Российской национальной партии" обвинили и выдающихся ученых, и простых служащих, не связанных с наукой, и девочку 18 лет... Всех связали лживым обвинением. Но вразрез с этой мыслью возникает другая: конечно, были и контрольные цифры, но был и целенаправленный отбор. Им нужно было уничтожить самый верх науки, наиболее талантливых, наиболее влиятельных ее создателей. Судили и уничтожили блестящих языковедов-русистов Н.Н. Дурново, Г.А. Ильинского, П.А. Бузука (украиновед, славист, специалист по общей теории языка). Долго мучили М.Н. Сперанского, В.И. Перетца, В.В. Виноградова, В.Н. Сидорова, А.М. Селищева. Судя по документам, предполагали захватить в свои сети Р.И. Аванесова (80), Л.А. Булаховского (80), С.П. Обнорского (80), М.Н. Петерсона (80), Д.Н. Ушакова (77, 157). Но их "версии не стали развивать" (80)... Разве этот перечень не охватывает как раз наиболее значительных ученых-специалистов по русистике?

О том, что отбор у "инстанций" был всегда чутко направлен против наиболее талантливых, говорит кампания 1948 года. Генетику погромили; появился аппетит так же урезонить другие науки. В лингвистике главным "забойщиком" был Ф.П. Филин². По его предложению президиум Академии наук СССР принял решение: запретить преподавание Р.И. Аванесову, В.В. Виногра-

² О роли Ф.П. Филина в погроме лингвистики в 1948 г. см. работу В.М. Алпатова [Алпатов 1991: 148—149]. Назвав лингвистов, которые подверглись преследованиям, автор замечает: "Филину не откажешь во вкусе: он не задел ни одного малоизвестного ученого" [Алпатов 1991: 148]. См. также рецензируемую книгу, с. 164, 179.

¹ В скобках указаны страницы книги.

дову, П.С. Кузнецову, М.Н. Петерсону, А.А. Реформатскому, В.Н. Сидорову. Снова безошибочный отбор.

Знакомась в книге Ф.Д. Ашнина и В.М. Алпатова с ходом следствия по делу "Российской национальной партии", мы опускаемся, круг за кругом, в "мир наоборот", в мир антилогик. Интересно читать у Замятина и Оруэлла про этот мир. Читатель понимает, что в художественном произведении есть место выдумке, гиперболе. Документы, собранные и сопоставленные друг с другом в книге Ф.Д. Ашнина и В.М. Алпатова, показывают ужас мира не выдуманного, а подлинного.

Обвиняемые должны были выдумать преступную партию, которой не существовало, выдумать свои роли (шпиона, диверсанта, контрреволюционного агитатора, вредителя, вербовщика в антисоветские агенты), выдумать свои преступные действия. Само название партии стало делом их вынужденной активности. Н.Н. Дурново пишет: "Название партии я долго не мог придумать, поэтому его нет ни в январских, ни в февральских показаниях, и оно появляется только в марте" (108).

Как материал для обвинений в документах следствия появлялись такие характеристики: "из старой дворянской семьи", "бывший книгоиздатель", "по происхождению чех" (60).

Филолог-украинистка признает: "Вела антисоветскую линию", которая заключалась в том, что она в своих книгах сближала нормы украинского языка с нормами русского языка (146). После таких признаний не кажется странным, что Д.И. Хармс на допросе признал контрреволюционным свое стихотворение для детей "Миллион"³ [Хармс 1994: 292].

Главным преступлением П.И. Нерадовского, искусствоведа, работника (одно время — директора) Русского музея, "было создание в 1922 г. и сохранение вплоть до дня ареста экспозиции залов, посвященных русскому искусству дореволюционного периода, которая, как сказано в деле, "тенденциозно подчеркивала мощь и красоту старого дореволюционного строя и величайшие достижения искусства этого строя" (37). В прошении о реабилитации П.И. Нерадовский писал: «Даже экспозиция памятников искусства XVIII века вменялась мне в вину, как "прославление дворянства",

как будто я мог переделывать памятники этой эпохи» (209).

В этом мире наоборот действует презумпция виновности: если человек чего-нибудь не делал, не говорил, не думал, но не может доказать это "не", то считается, что он именно это делал, говорил и преступно думал. Дурново уже после осуждения объясняет, почему, он оговорил себя на следствии: "Так как я не могу доказать, что мои связи с эмигрантскими и чехословацкими политическими деятелями носили именно тот характер... какой они действительно имели! [т.е. неполитический], то у прокуратуры... не может быть полной уверенности в их правдивости" (117). Авторы книги замечают: «Ученому и в голову не приходит понятие презумпции невиновности, в показаниях он находит даже нормальным то, что "преступный характер связей с зарубежными и эмигрантскими кругами" должны доказывать следователи» (118—119). Такая мысль не приходит в голову Дурново потому, что в том мире, в какой он попал, такой мысли не существовало; господствовало ее "обратное" извращение.

Мир за решеткой подчинялся своим законам — "законам наоборот". Категоричность этих законов поддерживалась тем, что и вне решетки тоже господствовал мир наоборот — и хотя многие люди его не принимали, им приходилось об этом молчать: иначе грозила решетка.

Так, Н.Я. Марр, классик марксистского языкознания до июня 1950 года, писал, что "по пластам некоторых стадий" русский язык ближе грузинскому, чем любому славянскому (93). Возможно, был расчет, что вождю это понравится.

Движение декабристов истолковывалось так: в начале XIX века в Европе поднялись цены на хлеб; помещикам стал невыгоден малопроизводительный труд крепостных, они превратились в сторонников наемного труда, отсюда их свободолюбие. Но в середине 20-х годов цены на хлеб упали, отсюда — неудача декабристского восстания. Пушкин от свободолюбивых стихов перешел к охранительным. Эта концепция М.Н. Покровского вошла в обязательную школьную программу, ее изучали дети в 7 классе.

Другая официальная точка зрения: все писатели представляют классовые интересы. Л.Н. Толстой выражает взгляды патриархального крестьянства. Пушкин — среднепоместного капитализирующего дворянства, Гоголь — мелкопоместного консервативного дворянства... Идеологам не

³ Допрашивал Хармса в 1931 году тот же чиновник ОГПУ, который впоследствии участвовал в фабрикации дела "Русской национальной партии".

приходил в голову вопрос: почему же Пушкина, Гоголя, Толстого читают и любят тысячи непатриархальных некрестьян? Эта мысль не была в числе указанных и спущенных вниз. (Потом ее спустили: классики оказались народными "выразителями" и тем самым предшественниками "великой партии".)

Своеобразны были приемы дискуссии. В одном научном учреждении некий общественник-активист (притом дипломированный ученый) критиковал В.В. Виноградова за его взгляды, выходящие за пределы дозволенного, и рекомендовал "ударить Виноградова по кумполу" (180). "Дать по кумполу" (уволить с работы, арестовать, выслать и т.д.) — это был очень ходовой полемический прием. Действовал безотказно.

Этот свободный мир навыворот рождал у обвиняемых чувство безысходности. Они понимали, что обращение к логике, к здравому смыслу, доказательствам совершенно бесполезно: они не имеют цены в мире наоборот. Вот почему они признавались во всем, что было угодно следствию: из чувства полной безысходности. Антилогика за решеткой была поддержана антилогикой вне решетки.

Психология обвиняемого "органами" убедительно раскрыта в объяснении Г.А. Бонч-Осмоловского (63—68). Это — описание психического состояния автора, антрополога, ни в чем невинного, но "завербованного" советской охранкой в члены "Российской национальной партии". Убедительно показано, как, не применяя в прямом смысле пыток, человека заставили сломиться.

Другая причина, почему они признавались — приемы ведения следствия. Пыток в прямом смысле слова в начале 30-х годов обычно, видимо, не применяли. Требовали признаться, запугивали, проводили очные ставки с людьми, уже потерявшими себя. "Если человек продолжал стоять на своем, процедура могла повторяться несколько раз и следователи угрожали револьвером. В результате подследственный приходил в невменяемое состояние. Участники данного дела впоследствии вспоминали, что они сходили с ума, думали о самоубийстве, им казалось, что следователи их гипнотизируют. В такой ситуации хотелось одного: чтобы этот кошмар как можно скорее кончился. Ради этого подписывали самые нелепые показания" (53). «И даже в этой ситуации, — продолжают авторы, — несколько человек, арестованных по делу "Российской национальной партии", сумели

все выдержать и не признать себя виновными» (53).

Пытки не применялись? "В.Н. Сидоров еще до ареста страдал туберкулезом коленного сустава. Его состояние во время следствия, где его нарочно заставляли часами стоять на допросах, было крайне тяжелым" (121). Значит, неверно, что пытки не применялись. Просто набор разрешенных пыток был еще не так широк, как впоследствии.

"Мы вовсе не заинтересованы в вашем осуждении. Ведь не с головы же мы получаем!" — говорил следователь одному из обвиняемых (65). Именно с головы! "Не добирай меня сотым до сотни!" — просил Б.Л. Пастернак, обращаясь к эпохе. Но именно все время добирали сотым до сотни, тысячным до тысячи, миллионным до миллиона! Набирают "двадцатипятипятисотников" — отправляют в деревню, делать колхозы. Набирают "добровольцев" на ударную стройку (не специалистов, нужных стройке, а любых, на кого направлен указующий перст). "Ленинский набор" — набирают в партию, после смерти Ленина, чтобы получать установленные сверху контрольные цифры. Набирают "врагов народа", чтобы обеспечить рабочей силой стройки ГУЛага. И просто набирают "разоблаченных" и осужденных, чтобы заслужить одобрение ЦК партии.

Конечно, здесь не до логики. Н.Н. Дурново, в своей исповеди, написанной уже после осуждения, хочет объяснить, почему на следствии он принужден был прибегнуть к самооговору. "Мои показания следователю, — пишет Н.Н. Дурново, — вызваны отчасти моим болезненным состоянием..." Далее он приводит другие причины своего самооговора. "Ввиду всего этого, боясь, что отрицание политического характера моей поездки в Чехословакию, Вену и Югославию и моей дальнейшей политической активности только затянет следствие..., я решил признать и то, и другое. Признание моей политической активности вело к признанию моего участия в политической организации. В качестве такой организации я мог назвать только кружок лиц, бывавших у акад. Сперанского и проф. Ильинского, так как у меня лично никто не собирался" (109). Из посылки (ложной посылки, вымученной следователем) логично вытекают все следствия. Но в мире антилогик сама логика становится предательницей. "В моих показаниях, — пишет Н.Н. Дурново, — говорится, что собрание, на котором было решено организовать партию для борьбы с Советской властью, было назначено в

понедельник и в этот день состоялось. Это явная несообразность, так как на понедельник никто не приглашался, приходил кто хотел, и всегда мог прийти человек, присутствие которого на конспиративном собрании было бы нежелательно. В действительности такого собрания не было" (116). "Так как"! Причинно-следственная связь! Да не нужна она в мире наоборот...

Центральная часть книги Ф.Д. Ашнина и В.М. Алпатова — публикация документа, который авторы условно, но удачно назвали "Исповедь" Н.Н. Дурново. Это — обширный текст (108—118), глубоко освещающий взгляды и переживания Дурново. Он решил говорить правду и только правду. Даже если она свидетельствует против него (в глазах официозов) и может ухудшить его участь. Он, например, прямо заявляет об отрицательном отношении к советской власти. Он говорит что в евразийской концепции Н.С. Трубецкого принимает только ее критическую часть, то есть, по официальной терминологии, антисоветскую.

По своей исторической ценности "Исповедь" стоит так же высоко, как письмо, Д.И. Ушакова Сталину, опубликованное Ф.Д. Ашниным⁴ [Ушаков 1990: 287—290].

"Исповедь" Н.Н. Дурново — это послание заключенного. Кому послание? На Соловки приехал прокурорский чин, с задачей — контролировать. Заключенному Дурново позволили написать объяснительную записку. Он написал многостраничную исповедь, заявляя, что не требует пересмотра дела. Он хочет, чтобы ему дали работать. Авторы книги заключают: "Видно, как хотел выговориться человек, уже третий месяц томящийся в одиночной камере..." (118). Думаю, что надо говорить не о словоохотливости Дурново; его исповедь направлена не прокурорскому чину, — она обращена в века, как голос свободного человеческого

духа, с надеждой, что она достигнет когда-нибудь неполицейского читателя. Чувство достоинства и верность своим убеждениям — вот содержание этой исповеди. Мнение о евразийской теории Н.С. Трубецкого; высокая оценка своих современников-русистов, причем как раз нелюбезных "органам" — Н.С. Трубецкого и Р.О. Якобсона (о последнем Дурново пишет: "Он самый талантливый из моих учеников"); собственные политические взгляды; характеристики ученых — обеляющие их... Многое вместили в себя страницы его исповеди.

В Соловках, в одиночной камере, Дурново продолжает напряженную научную деятельность. Он написал "Граматику сербохорватского языка", передал рукопись начальству, для пересылки домой. "Попытки разыскать рукопись, представляющую значительный научный интерес, пока не дали результатов" (125). Его письма домой полны просьбами прислать книги из его библиотеки, нужные ему для научной работы. "...Несмотря на ужасные условия жизни и надвигающуюся слепоту Н.Н. Дурново все-таки старался не терять времени и работать! На Соловках, где в это время еще сохранялись традиции лагеря 20-х гг., это все еще было возможно... В более новых лагерях... какая-нибудь научная работа уже была невозможна" (125).

Значит, в мире наоборот были люди, для которых этот мир был неприемлем. Авторы рисуют мощный характер А.М. Селищева, другого подвижника науки; он не был сломлен допросами и не признал себя виновным. К счастью, он смог, "по отбытии срока", продолжить свою научную работу, осуществить свою неистовую преданность науке... А Н.Н. Дурново, без предъявления новых обвинений, был в 1937 году расстрелян. Тогда же погиб Г.А. Ильинский и много других заключенных⁵.

В книге Ашнина—Алпатова говорится о всех, обвиняемых по делу "Российской национальной партии"⁶, естественно, больше всего внимание авторов привлекли люди, много сделавшие для науки. Но для человеческой совести не менее горьки и

⁴ Он пишет: "Пусть... возьмут у В.Н. Сидорова... мои книги и из них пришлют мне корректурный экземпляр моего "Повторительного курса грамматики русского языка", выпуск 1, изд. 2-е" (124). Авторы книги констатируют: "Издание не осуществилось". Но корректурный экземпляр сохранялся в библиотеке Сидорова. В 1964 году Владимир Николаевич подарил его мне. В хрущевскую оттепель возникла надежда на издание этой книги; впрочем, реальных возможностей, как выяснилось, не было. В настоящее время книга находится в моей библиотеке; когда-нибудь она будет издана. Во втором издании (существующем в одном корректурном экземпляре) много теоретически важных дополнений.

⁵ "Пик репрессий 1937—1938 гг. совпал с решением по стратегическим соображениям ликвидировать старейшие Соловецкие лагеря... Поэтому в конце 1937 г. шла массовая ликвидация заключенных... Уничтожили тысячи людей..." (136).

⁶ Г.Г. Шпета в 1937 г. не беспокоили новыми допросами. Кто-то из гопеушников написал "его" новые чудовищные признания. Результат — расстрел. [Поливанов 1990: 160—164].

тяжки те немногие строки, которые посвящены незнаменитым узникам. Варвара Трубецкая, девушка 18 лет, арестована ни за что (как и все ее "однодельцы"); ее сослали, а в 21 год расстреляли. У верующих людей есть такие слова, которые ничем нельзя заменить: созданы Божье. Каждый человек. Когда человека убивают за то, что он созданы Божье, — это невозможно простить. Николая. И не будет прощено⁷.

С чем имя Дурново уходит в историю, в вечность? Навсегда вошли в культуру России его научные труды.

Он (вместе с Д.Н. Ушаковым) определил многообразнейшие системы русских диалектов, со сложными позиционными взаимодействиями звуков (в некоторых говорах с диссимилятивным яканьем появление определенного гласного обусловлено пятью-шестью позиционными условиями). Впервые, при охвате огромного материала, главным объектом исследования стали позиционные чередования. Это — центральная тема в трудах Московской (Фортунатовской) лингвистической школы.

Он на основе анализа позиционных фонетических данных и типов грамматических систем создал строгую классификацию русских говоров — и показал (опять-таки вместе с Д.Н. Ушаковым) эти звенья русского языка на карте, теоретически выявленные типы четко "прикрепил" к местности.

Он впервые дал монографическое описание говора одного села (Парфенки, бывшее его поместье), и это позволило выяснить такие отношения между речевыми явлениями, которые ускользают от внимания при глобальном, многоохватном описании говоров.

Его история русского языка — исследование о том, как одно языковое состояние (в области фонетики и грамматики) порождает другое языковое состояние, как одни

синхронные отношения перетекают в другие, создавая непрерывную жизнь языка.

В грамматических трудах "Повторительный курс грамматики русского языка", выпуски I и II, "Грамматический словарь") Дурново поддерживал, совершенствовал, перестраивал грамматическое учение Ф.Ф. Фортунатова, усиливая в нем наиболее ценную идею: язык есть отношение.

Перечень научных ценностей, созданных Н.Н. Дурново, можно продолжить. Но и сказанного достаточно для вывода: Дурново — величественная глава в истории русской филологии. Теперь мы можем назвать и еще одно высокое творение Н.Н. Дурново — этическое: его исповедь. Ей тоже не суждено забвение.

Есть еще один образ необыкновенной светлоты, нарисованный в книге; о нем сказано немного, он не был жертвой охранки... Д.Н. Ушаков. Отбыв срок, А.М. Селищев возвращается в Москву. Репрессированный работу найти не может. Помощь нашел у Д.Н. Ушакова. «Ученый иного поколения и иной научной школы, но всегда высоко ценивший Селищева... Д.Н. Ушаков решает помочь опальному коллеге, не думая о возможных для себя последствиях. Имя Ушакова не раз фигурировало во время следствия по делу "Российская национальная партия" и попало в список лиц, материалы по которым выделены в отдельное производство» (157). А.М. Селищев нашел пристанище на кафедре Д.Н. Ушакова. Так же у Д.Н. Ушакова нашел работу другой каторжанин — В.Н. Сидоров. Напомним, что В.В. Виноградова опять-таки Ушаков привлек к работе над "Толковым словарем русского языка". Да, любовь к человеку, смелая и самоотверженная. И к науке.

Какой-нибудь посторонний и нелюбопытный наблюдатель может удивиться, что 20—30-е гг., годы страданий для миллионов людей, были временем высокого подъема русской культуры — искусства и науки. Продолжалось мощное движение, начавшееся еще в девятисотые годы. Поэзия, художественная проза, музыка, театр, филология переживали расцвет.

Обусловленный не политической обстановкой, а саморазвитием, самодвижением духовных сил человека, автономией его духа. В поэзии работали: А. Ахматова, М. Кузмин, О. Мандельштам, В. Нарбут, М. Волошин, Н. Клюев, С. Клычков, С. Есенин, В. Маяковский, Н. Асеев, Б. Пастернак, Д. Петровский, С. Маршак, К. Чуковский, А. Пиотровский (его гениальные переводы Эсхила и Аристофана — значительный вклад в русскую поэзию),

⁷ Ее убили за одну фразу: будто бы после смерти Кирова она сказала, что не пожалела бы и вождя. Если она действительно это сказала, то мнение ее не было одиноким. В середине 30-х годов в подмосковных деревнях пели: *Ераплан летит, Крыло приставлено. Убили Кирова, а надо Сталина*. В эти годы в Подмосковье ходил ряд свирепых частушек с обидим зачином: *Ераплан летит, Крыло припаяно... Ераплан летит, Крыло приварено... Ераплан летит, Крыло приклеено...* В рифме было имя собственное (включая Каина). Пели эти частушки с опаской, среди своих. Я (школьник) записывал подмосковный фольклор, услышал эти частушки... и записал их? Нет. Запомнил.

Н. Тихонов, В. Луговской, К. Вагинов, Д. Хармс, Н. Заболоцкий, П. Васильев, Б. Корнилов, К. Некрасова, Д. Кедрин, С. Липкин (перевод калмыцкого эпоса "Джангар")... Это еще далеко не полный перечень. И только внутри страны совет. Перечень имен показывает, какая им выпала судьба: одним положен был физический предел, другим суждена немота (творчество продолжалось, но выход к читателю был невозможен), третьим внушена была бездарность: мощное начало и бесславное завершение... Немногие избежали печальных исходов.

Ряд замечательных филологов, работавших в 20—30-е гг., не менее замечателен и богат именами. Предоставляем читателю самому вспомнить их. И судьбы были такими же. Но талант, чувство долга, вера в родную культуру давали им силы для работы. Ведь это важно: смерч прошел не по пустыне, а по плодоносным садам и нивам. Это был пир во время чумы — но именно пир. Мы должны тем, кто тогда работал.

В книге есть тщательно составленный именной указатель (составитель — С.А. Крылов). Он очень помогает пользоваться книгой. Все же есть "недоумения". Почему Пушкин Борис Сергеевич, архивист,

по алфавиту идет раньше Пушкина Александра Сергеевича, писателя? И странна квалификация: Сталин — "вождь Советского государства"... Разве есть такое амплуа — "вождь государства"?

Много труда вложили авторы в эту книгу. Ф.Д. Ашнин начал собирать документальную основу книги тогда, когда доступ к архивам был очень трудным. Работе в архивах, преодолевая препятствия, он отдал годы. Вместе с В.М. Аллатовым он написал очень нужную книгу. Многие, многие страницы ее читать больно. И все же она не вызывает чувства отчаяния или беспомощности. Сам выход в свет этой книги — знак того, что справедливость побеждает. В конце концов. К сожалению, часто — не скоро.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Аллатов М.В.* 1991 — История одного мифа. Марр и марризм. М., 1991.
Полыванов М.К. 1990 — О судьбе Г.Г. Шпета // ВФ. 1990. № 6.
Хармс Даниил. 1994 — Сочинения. Т. II. М., 1994.
Ушаков Д.Н. 1990 — Неизвестное письмо // Язык: система и подсистемы. М., 1990.

М.В. Панов

The Slavonic languages / Ed. by B. Comrie and G.G. Corbett. L.; N.Y., 1993. 1078 p.

Недавно вышел из печати новый компендиум по славянскому языкознанию — книга "The Slavonic languages", написанная ведущими славистами Европы, Америки и Австралии. Масштаб предпринятой работы связан, без сомнения, с интересом, испытываемым обществом к политическим, экономическим и социальным изменениям, происходящим в настоящее время в славянских странах (с. 1).

В то же время данная книга уже своей установкой отличается от других трудов подобного рода. Если, например, московское издание (Слав. яз. 1977) и лондонское (De Bray 1951) отвечают в первую очередь практическим нуждам изучающих или преподающих славянские языки, то рецензируемое издание предназначено для весьма широкой аудитории: как для заинтересованных в практическом изучении языка, так и для профессиональных филологов — от начинающих славистов до индоевропеистов и лингвистов-типологов, в том числе и для тех, кто не владеет славянскими языками

(в связи с чем весь языковой материал приводится с транслитерированными параллелями (с. 17)). Изданная с большим вниманием к читателю, книга снабжена и предметным указателем.

Монография включает описания живых славянских литературных языков, лехитского языка со спорным статусом — кашубского (более распространенной является его трактовка как диалекта польского), а также мертвых языков — старославянского и полабского. Самостоятельные главы посвящены славянской азбуке, праславянскому языку, славянским языкам эмиграции. Тем самым оказывается охваченным и социолингвистический материал, так что по широте аспектов описания данная книга представляет собой уникальный в славистике труд.

Каждая глава написана специалистом по данному языку. Как принято в фундаментальных справочных изданиях, читателя знакомят в первую очередь с устоявшимися в славистике мнениями, предоставляя при

этом возможность ориентироваться в существующих подходах к конкретной проблеме: все главы книги снабжены списком основной литературы.

Собственно описание конкретных языков представляет собой обширную справку по синхронии и диахронии. Отметим, что мы не располагаем другими энциклопедическими изданиями, предоставляющими информацию столь обширного диапазона по славянским языкам. Все перечисленные ниже уровни языка рассматриваются в двух ракурсах: в плане рефлексии важнейших праславянских явлений и в плане синхронного описания современного состояния, отвечающего, как указывалось, прикладным и исследовательским задачам. Читатель получает сведения по истории функционирования каждого языка (включая его литературный вариант) с древнейших времен, далее — по фонетике, морфологии и акцентологии, по морфологии (сюда входит и небольшой раздел по словообразованию), синтаксису (этому языковому уровню уделено особое внимание, что связано с новейшими достижениями в данной области и является отличительной чертой рецензируемой книги), лексике и диалектологии. Незначительные отступления от этой схемы сделаны лишь в главах, посвященных праславянскому, кашубскому и полабскому языкам, а также славянским языкам эмиграции по причинам, связанным с характером языкового материала.

Все перечисленные уровни лингвистического анализа конкретных языков единообразным образом оформлены как параграфы и подпараграфы внутри каждой главы, так что желающий получить сведения, например, по славянскому словообразованию может прочитать информацию под одним и тем же номером в главах, посвященных конкретным языкам. Описание славянских языков по единой схеме обеспечивает полноту охватываемого материала, ясность и компактность изложения и, конечно, делает возможным сравнение приводимого материала по языкам, что является большим достоинством рецензируемой работы.

Монография открывается Введением (гл. 1), написанным Б. Комри и Г.Г. Корбетом. Здесь определяются задачи издания и исходные позиции авторов; указываются основные единицы анализа и важнейшие типологически релевантные черты славянских языков на всех рассматриваемых в дальнейших главах уровнях анализа.

В главе 2 "Алфавиты и транслитерация" (ее автор — П. Кабберли) рассматривается

история алфавитов, которыми когда-либо пользовались славянские языки, а также обсуждаются применяемые — в том числе и в рецензируемом труде — системы транскрипции и транслитерации.

Очерки по конкретным славянским языкам написаны следующими авторами (перечисляем их в порядке следования в книге; предполагаем, что этот перечень информативен, в частности, и как указатель славистических центров): старославянский — Д. Хантли, Торонтский ун-т; болгарский — Э.А. Скэттон, Нью-Йоркский ун-т; македонский — В.А. Фридман, ун-т Северной Каролины; сербо-хорватский — В. Браун, Корнелльский ун-т; словенский — Т.М. С. Пристли, ун-т Альберты; чешский и словацкий — Д. Шорт, Лондонский ун-т; серболужицкий — Дж. Стоун, Оксфордский ун-т; польский — Р.А. Ротстейн, Масачусетский ун-т; кашубский — Дж. Стоун, Оксфордский ун-т; полабский — К. Полянский, Ягеллонский ун-т, Краков; русский — А. Тимберлейк, Шеффилдский ун-т; белорусский — П. Майо, Шеффилдский ун-т; украинский — Г.А. Шевелев, Колумбийский ун-т.

Мы бы хотели подробнее остановиться на главах, посвященных праславянскому языку и функционированию славянских языков в эмиграции.

Глава 3 "Праславянский язык" (автор — А.М. Шенкер, Йельский ун-т) открывает описание отдельных славянских языков. Построенная по общепринятой схеме, данная глава в то же время ярко демонстрирует типологический подход к материалу, который, возможно, здесь не всегда оправдывает себя. Так, например, в разделе "Диалекты" приводятся признаки различных языковых уровней, позволяющие осуществлять диалектное членение внутри праславянского (с. 114—119). В одном ряду оказываются помещенными такие явления, как метатеза плавных, судьба *l*-эпентетикум и, например, спирализация *g > γ* или *h*, прошедшая в ряде славянских языков. Отметим, однако, что праславянская хронологизация последнего явления нуждалась бы в дополнительной аргументации. Кроме того, спирализация *g* — повидимому, единственный факт, дающий автору основание противопоставлять как древнейшие диалектные зоны северо-восточный восточнославянский (North Eastern East Slavonic) юго-западному восточнославянскому (South Western East Slavonic) в рамках восточнославянского (с. 117): во всяком случае, другие факты, позволяющие дифференцировать восточнославянский, не

приводятся. Это диалектное противопоставление внутри восточнославянского отнесение А. Шенкером к X в.

Указывается, например, и сохранение праславянского носового резонанса лехитскими языками и словенскими и болгарскими диалектами. Оставляя в стороне возможность поздней рестициации носовых в этих языках, укажем, что и сохранение праславянского признака само по себе никак не свидетельствует о специфическом месте, занимаемом этим признаком в системах праславянских предков данных диалектов. В то же время такая трактовка материала отражает подходы, бытующие в лингвистической литературе, краткий список которой приводится в конце главы.

Глава 18, посвященная славянским языкам в условиях эмиграции, написана Р. Сассексом (Квинслендский ун-т). Поскольку в отечественной лингвистике язык эмигрантов специально не изучался, мы считаем полезным остановиться на этом разделе книги подробнее.

За пределами данной главы остаются славянские языки, оказавшиеся в иноязычной среде в результате переделки национальных границ, например, после мировых войн. Не рассматриваются и языки, функционирующие недалеко от своей славянской родины (такие ситуации возникали, например, в результате сталинских переселений народов). Славянские языки в условиях дележа границ XX столетия, как и бытование русского языка в СССР в прошлом и на его теперешней территории, представляют, действительно, особые исследовательские проблемы.

Здесь речь идет о славянах, живущих вдали от родины, в странах с национальными неславянскими языками. Это прежде всего славяне, живущие в Западной Европе, Северной Америке и Австралии. Основные страны славянской эмиграции — Австралия, Канада и США. Автор говорит о языковой политике, направленной на поддержание языка, как отличительном признаке славянских общин в эмиграции (раздел 2.1). Языковая политика определяется следующими факторами: социальными и нравственными ценностями, с которыми связано осознание людьми своей этнической принадлежности (2.2); предоставляемыми эмигрантам языковыми правами (2.3); выбором языка-образца, вынесенного предыдущими поколениями эмигрантов из метрополии или современного литературного языка метрополии и др., что определяет направление языковой политики (2.4); степенью своеобразия языка и широтой

функционирования языка и культуры (2.5). Все эти факторы определяют языковую экологию (2.6), от которой и зависит жизнеспособность языка эмигрантов в контексте чужого национального языка.

В данной главе рассматриваются и собственно языковые специфические черты славянских языков в условиях эмиграции на всех тех уровнях, что и в предыдущих главах. Такой анализ, естественно, невозможен без определения понятия нормы. Как отмечает автор, в лингвистике укрепилась традиция, при которой языки в эмиграции рассматриваются как отклонения от нормы (с. 1009). С другой стороны, приветствуется трактовка языков эмиграции как формирующей с потенциальной собственной нормой. в таком случае — региональных вариантов соответствующих национальных языков. Возможность такого подхода была продемонстрирована Д. Престоном и М. Тернером, проанализировавшими падежную систему польского языка в западной части Нью-Йорка и обнаружившими ее специфическую организацию (там же). Здесь следует иметь в виду, что язык метрополии вовсе не обязательно умирает в третьем-четвертом поколении эмигрантов, хотя именно так и бывает в огромном большинстве случаев. При благоприятных внешних условиях и немалых внутренних усилиях на его поддержание язык в условиях эмиграции может проявлять и определенную устойчивость. Такой пример представляет польская община в Техасе.

Материалы, представленные в данной главе, заставляют задуматься над проблемами, которыми до недавнего времени отечественная славистика не занималась. Так, здесь отсутствует стандартный для рецензируемой книги раздел по словообразованию, что с очевидностью указывает на неразработанность этого вопроса. Автор ограничивается утверждением, что в речи эмигрантов не образуются новые слова из исконных элементов (с. 1011). Можно, однако, предположить, что в данном случае могут представлять интерес по крайней мере три направления изучения словообразовательных процессов: 1) анализ последовательности распада словообразовательных классов слов: результат, получаемый в данном случае, прояснял бы сущность словообразовательных явлений подобно тому, как это происходит при изучении афазии; 2) гибридизация — образование новых слов при помощи и своих, и заимствованных морфем; этот процесс активно происходит и в современных литературных языках славянских метро-

полий; 3) образование окказионализмов из собственных элементов (на материале русского языка художественной литературы и публицистики см. об этом недавнюю статью Ю.Н. Караулова [Караулов 1992]).

Отметим, что русский материал учитывается в данной главе в меньшей степени, чем материал других славянских языков. Это объясняется тем, что активная русскоязычная эмиграция, происходящая в последние годы и численно, очевидно, поставившая выходцев из бывшего СССР по крайней мере вровень с выходцами из Украины и Польши, пока еще не полностью учтена даже в переписях, не говоря уже о лингвистической литературе. В то же время можно предположить, что социокультурное обследование русского языка в данном случае принесло бы результаты, отличные от обследования других славянских языков. Мы связываем это с тем, что у эмигрантов последней волны — в отличие от представителей послереволюционной эмиграции, стоявших на почве русской культуры до 1917 г., — отсутствует установка на сохранение русского языка. Но в то же время ясно, что реальные связи, в том числе языковые, эмигрантов последней волны с Россией будут более тесными, чем это было прежде. Это вытекает из отсутствия необходимости (которая была у эмигрантов, выехавших из России после революции) вести войну на два фронта: за выживание — с национальным языком принимающей

страны и за качество своего русского языка — отталкиваясь от коммунистической России (о последнем обстоятельстве см. с. 1011).

Следует сказать, что в книге "The Slavonic languages" не рассматривается социокультурное положение современных славянских языков в метрополиях, что, очевидно, и естественно, поскольку время для подведения итогов к моменту написания книги еще не настало. Но тем большую актуальность приобретает эта задача сейчас.

Таким образом, рецензируемая книга не только служит введением в славистику для лингвистов-типологов и других заинтересованных лиц, но и, как всякое крупное итоговое исследование, ставит новые проблемы перед самими славистами.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Караулов Ю.Н. 1992 — О русском языке зарубежья // ВЯ. 1992. № 6.
Слав. яз. 1977 — Славянские языки (Очерки грамматики западноевропейских и южнославянских языков) / Под ред. А.Г. Широковой и В.П. Гудкова. М., 1977.
De Bray R.G.A. 1951 — Guide to the Slavonic languages. L., 1951 (3-rd ed): I — Guide to the South Slavonic languages; II — Guide to the West Slavonic languages; III — Guide to the East Slavonic languages. Columbus, 1980).

М.А. Осипова

А.М. Щербак. Введение в сравнительное изучение тюркских языков. СПб.: Наука. 1994. 191 с.

Новый труд А.М. Щербака завершает пятитомную монографию автора, посвященную сравнительно-историческому рассмотрению важнейших составляющих тюркской языковой системы [Щербак 1970; 1977; 1981; 1987]. Как подчеркивается в общем названии работы, сравнение современных тюркских языков и диалектов выступает как принцип и основа дальнейших исторических выводов. В пятом, итоговом томе выделены наиболее важные и традиционно спорные вопросы сравнительно-исторических исследований в тюркологии. Вместе с тем данный том может рассматриваться и как введение в изучение тюркских языков, их генетической общности, внутреннего членения и связей с другими языками в свете алтайской гипотезы. Это определяет композицию работы. Главы I и IV посвящены соответ-

ственно классификации тюркских языков (с. 12–42) и проблеме генетического родства тюркских языков с нетюркскими языками (с. 147–185). II глава работы "Особенности развития фонетической структуры, морфологического типа, синтаксиса и лексики тюркских языков" (с. 43–132) распадается на четыре раздела: "Фонетическая структура", "Основные пути развития морфологии", "Синтаксический строй" и "Лексика", в которых автор возвращается к проблемам, рассмотренным в предыдущих томах монографии, или излагает свое понимание сравнительного подхода к тем языковым сферам, которые в предыдущие тома монографии не вошли (синтаксис и лексика). Глава III "Вопросы реконструкции древнейшего состояния тюркских языков" посвящена принципу сравнения родственных языков как основ-

ному приему реконструкции, а также явлению нерегулярности фонетических изменений.

При всей органической включенности настоящего тома в монографию он может рассматриваться как самостоятельная книга в силу значимости проблем общей тюркологии, рассматриваемых в ней. Это же делает неоспоримым труд А.М. Щербака для задач вузовской тюркологии: это и введение в тюркское языкознание, и работа, завершающая цикл общетюркологических дисциплин.

Концепция работы отражает последовательно отстаиваемые автором принципы классической компаративистики, ограничиваемые пределами одной языковой семьи. Отбор проблем, рассматриваемых в книге, определяется как их объективной важностью для сравнительно-исторических исследований в тюркологии, так и авторским пониманием их значимости. Многочисленность затрагиваемых вопросов и, как правило, их дискуссионность вынуждают делать аналогичный отбор и в настоящей рецензии.

Естественно обращение автора к вопросу о классификации тюркских языков: в истории тюркологии было сделано немало попыток дать новые или уточненные схемы классификации, однако остается общим местом упрек в отсутствии разработанных принципов решения этой проблемы, в частности типа языка [Гаджиева 1980; 100]. Поиски дифференциальных признаков в существующих классификациях в основном направлены на использование их интегрирующей функции, в силу чего сложилось достаточно устойчивое представление о языковых группах в составе тюркской языковой семьи. В отечественной тюркологии одной из лучших признается классификация А.Н. Самойловича [Самойлович, 1922] (выделение на основе фонетических признаков шести групп). В современных попытках классификации основное внимание уделяется поиску признаков в рамках уже выделенных подгрупп или на участках их ареального контактирования. Автор не ставит задачи пересмотреть классификацию, подтверждая правомерность соотношения соответствующих групп тюркских языков (огузская, кыпчакская, карлукская и др.) с существовавшими этнолингвистическими объединениями – племенными союзами. Предлагается увеличение числа классификационных признаков (не только фонетических, но и морфологических и лексических). Внимание к дифференцирующей функции признака обусловило введение понятия диагностического при-

знака (с. 24). Так, соотносительное место аффикса принадлежности и падежа в тюркской словоформе являет собою диагностический признак тюркских языков в отношении к монгольским, а наличие в якутском местоимения *bəjə* "сам" выделяет его среди других тюркских языков. Понятие диагностического признака важно для спорных случаев отнесения того или иного языка к определенной группе (например, халаджского к огузским). Здесь, правда, остается неясным, как будут соотноситься признаваемые для халаджского диагностическими признаки огузского типа (презент-*ijor*, перфект-*miş*, конструкции с *-dik* и др., т.е. признаки интегрирующие его в юго-западную группу) с признаками типа *алта* "пусть возьмет" или сохранение анлаутного *к* в палатальном ряду (типа *kin* ~ *kün* "день"), т.е. признаками, явно выделяющимися халаджский из огузских языков. Несомненно важно введение дополнительных признаков в классификацию, однако, думается, выбор формы перфекта не выглядит предпочтительным, например, в сравнении с формой презенса (к тому же выбор перфекта был бы значим в своем системном своеобразии – наличие одной/нескольких перфектных форм); случайным, во всяком случае не поясненным в работе, кажется выбор лексических признаков классификации.

В разделе, посвященном фонетической структуре слова, значимой представляется постановка вопроса о структуре слога и слоговых акцентах в прототюркском как базе для решения проблемы тюркской долготы, фарингализации, геминации и др. По мнению автора, для протоязыка можно предположить существование односложных слов типа СГ(Г), первичных по отношению к структурам СГС, в которых при отсутствии противопоставления глухих (сильных) и звонких (слабых) средством расширения выразительных возможностей языка выступало противопоставление акцентных типов односложного слова: с вершиной на гласной и с вершиной на согласной части. В вокальновершинном типе слога (слова) за долгим гласным следовал слабый, краткий согласный; в консонантнотвершинном типе слога краткий гласный предшествовал длительно произносимому согласному. Перерыв в артикуляции гласного, условием которого было качество и количество последующего согласного, обуславливал смещение вершины слогового акцента в сторону согласного и приводил к его геминации или фарингализации гласного. Гипотеза о противопоставлении слоговых

акцентов выглядят предпочтительнее в объяснении первичной долготы по сравнению с идеей стяжения сочетаний гласных с согласных и выпадения согласных.

Из вопросов, рассматриваемых в разделе "Основные пути развития морфологии", хотелось бы остановиться на проблеме образования грамматической формы. В старом тюркологическом споре, принадлежит ли основное место в этом процессе грамматикализации лексических единиц или слиянию однофункциональных аффиксов в результате фузии [Кононов 1971:115], автор основным считает первый путь, подчеркивая, что разложение морфем часто носит умозрительный характер и приводит к сомнительным этимологизации (как пример приводятся аффиксы мн.ч. *-ла-р*, дат. п. *-к-а* и др. – с. 74). Несомненный интерес представляет концепция автора об этапах сложения грамматической формы в тюркских языках: древнейший пласт (1) – имена действия, из которых развились финитные глагольные формы и формы неполной вербальности, или деепричастия; следующий пласт (2) – формы грамматических падежей и форма мн. числа; более поздний пласт (3) – формы "наречных" падежей (дательного, местного, исходного, продольного, предельного и других), формы неполноты признака прилагательных, залоговые формы и некоторые формы наклонений; новейший пласт (4) – формы настоящего конкретного времени, определенного и неопределенного "имперфектов", ряд форм именного и глагольного словообразования (с. 76). Наименее доступными для этимологизации признаются формы первых двух пластов: как полагает автор, поиски их лексических прототипов или аффиксальных морфем, из которых они развились, не дали результатов (с. 77). Заметим, что и найденные прототипы далеко не всегда убедительны (в том числе и те, которые приводит автор, в частности глагол *ол-* "быть", полагаемый в основе формы страдательного залога (с. 80). Если признать вслед за автором, что морфологические показатели могут восходить к самостоятельным словам не непосредственно, а через промежуточную морфему (с. 73), то придется признать допустимость приема разложения морфемы, что не отрицает и автор, но не в поисках ее лексической этимологизации, а функциональной основы самой фузии. При этом, очевидно, должен учитываться принцип, согласно которому функциональная сущность морфологической единицы может быть понята лишь в

составе единицы более высокого ранга. Если, скажем, подойти с этих позиций к залоговым формам, то их современному статусу предшествовало, по-видимому, восходящее к древнейшему пласту (1) положение предикативных дейктических единиц субъектно-объектного согласования, давших древнейший тип глагольной имени, которое на определенном этапе могло становиться глагольной основой – залогом в современном его понимании [Грунина 1993:21–22].

Синтаксису (как и лексике) в монографии не отведено специального тома, что объясняется исходной позицией автора в использовании сравнительного метода в синтаксических исследованиях как мало-результативного (с. 83). Поэтому в разделе "Синтаксический строй" рецензируемой работы основное внимание уделено спорным проблемам тюркологии в этой области, в частности проблеме исходной именной природы тюркского предложения; лично-местоименной природе предикативных показателей и неприятию идеи посессивного спряжения и посессивной конструкции предложения; спору вокруг сложных синтаксических конструкций ("оборотов") с глагольными именами и др. Как представляется не совсем справедливо утверждение автора о том, что концепция посессивного спряжения "к настоящему времени утратила свое научное значение" (с. 91). Историко-типологические исследования, новое прочтение несправедливо забытых трудов И.И. Мещанинова позволяют предположить наличие посессивного оформления в пратюркском как элемента определенных структурно-семантических схем предложения, рефлексом которого в современном состоянии является конструкция глагольное имя + *бар/юк*.

Интересна позиция автора в споре, оживающем в тюркологии при каждой смене научной парадигмы, – о конструкциях типа тур. *бенім окуду Бум кітаб*, узб. *мен ўқйдан кітаб // менін, ўқйдан кітабим*, тув. *мээн, номчаан номум // мээн номчаанім ном* "книга, которую я читал/читаю". Традиционный подход к этим конструкциям только на уровне поверхностных синтаксических структур, толкуемых в терминах членов предложения, "спотыкался" на проблеме предикативности в таких образованиях. Внимание к содержательному аспекту предикации позволило в обороте и предложении выделить общее – предикативную конструкцию, или пропозицию с актуализацией одного из таких предика-

тивных центров через синтаксическую категорию предикативности. Сложный комплекс, включающий неактуализованные предикативные конструкции, получил название полипредикативного, а само явление как полипредикативность [ПК 1980:160]. Думается, такое решение отвечает пониманию предикативности, с которой как условию решения статуса оборотов говорит автор (с. 97). Однако в разграничении предикативных центров разного характера в одном предложении автор видит лишь учет содержательной стороны явления без внимания к формальной стороне, что "превращает в беспредметное занятие рассуждения о критериях выделения различных синтаксических структур" (с. 100). Представляется, что такое замечание слишком категорично. В подходе к проблеме в 50–60-х гг. интуитивно правильно критерием "придаточности" (т.е. неактуализованного предикативного центра) выдвигалось выражение самостоятельного (отдельного) субъекта при глагольном имени. Если в современном развернутом обороте глагольное имя выступает с реализованным актантным потенциалом (субъект – объект) типа тур. *онун бу китаби бана гетирдјјини бјліјорум* "я знаю, что он принес мне эту книгу", то исторически глагольное имя могло реализовывать только один актант – объект или субъект (типа современных тув. конструкций *тарійр чэр* "земля, которую будут пахать" и *тарійр кјжі* "человек, который будет пахать"). Мы полагаем, что развитие оборота шло изнутри через развертывание актантного потенциала глагольного имени (узб. модель *мен ўкјган к і тоб*) с дальнейшим выражением согласования, принципиально возможного как при глагольном имени (в силу его грамматического синкретизма), так и при имени (семантическом объекте): **мен, тарійр чэрім* → *мээн, тарійр чэрім* // *мээнү тарійрім чэр* "земля, которую я буду пахать". Поэтому вряд ли правомерно исключение из оборотов конструкции типа тур. (бенім) *окудуђум китаб* "книга, которую я читал" (с. 92). Отсутствие "правильной" конструкции в тур. **бенім окудук китабим* связано с утратой глагольным именем причастных свойств, сохранение которых в форме *-ајак* делает возможными обе структуры, ср. *сорајак соруларім* // *сора-јајім сорулар* "вопросы, которые я задам". Таким образом, реализация субъектного актанта, отличного от субъекта в главной предикативной конструкции, как и его

форма, должны служить критерием в определении типа полипредикативных конструкций.

Раздел, посвященный лексике, раскрывает в основном проблемы лексикологии, актуальные для исследования (стратификация лексики, истоки ее формирования, тематические группы лексики и др.). Вопросы семасиологии остались за пределами работы, хотя их освещение имело бы смысл в силу малой разработанности в отечественной тюркологии как проблем исторической лексикологии, так и семантической реконструкции.

Основной принцип реконструкции древнейшего состояния – сравнение родственных языков – развернуто представлен на примере анализа ротацизма и ламбдаизма в чувашском языке как собственно тюркской проблемы. По мысли автора, для доказательства вторичности этих явлений в чувашском языке не обязательны алтаистические соображения. Данный раздел интересен тем, что он не завершает традиционный спор, а придает ему большую остроту. Так, в исследовании О.А. Мудрака противоположные результаты также выводятся из пратюркской системы [Мудрак 1994:5, 28, 52].

Полемический характер носит заключительная глава работы "К проблеме генетического родства тюркских языков с нетюркскими языками". По-видимому, она требует специального освещения и анализа, невозможного в ограниченной по объему общей рецензии. А.М. Щербак принадлежит к той группе тюркологов, которые не принимают неостратическую гипотезу, усматривая в работах ее сторонников "отсутствие убедительных фактов и ненадежность предложенных реконструкций" (с. 151). Алтайская общность не трактуется в трудах А.М. Щербака не как генетическое родство, но как результат длительного контактирования, тесного с монгольскими языками и слабого с тунгусо-маньчжурскими. В данной части работы значительное место уделено анализу тюрко-монгольских глагольных параллелей трех типов: совпадающих полностью, имеющих различие в виде "дополнительного" гласного и различающихся "дополнительными" сочетаниями гласных с согласными. Здесь также рассматривается старый тюркологический спор о типе пратюркского корнеслова и возможности (или невозможности) падения конечного гласного. Теория моносиллабизма, которую отстаивает автор, согласуется с его неприятием идеи утраты конечного гласного в тюркских языках.

Заметим, что эта идея, идущая от сторонников алтайской теории, получает в работах последнего времени все большую поддержку. Несмотря на десятки глагольных основ, совпадающих полностью или почти полностью, генетическое родство тюркских и монгольских языков, как полагает автор, признать невозможно в силу принципиальных различий в их основном словарном фонде (например, в числительных, в глаголах, образующих ядро этого разряда лексики, типа "брать", "давать", "знать" и многие другие), различий в порядке присоединения аффиксальных морфем, выражения отрицания и др. Все это, по мысли автора, говорит в пользу контактной природы тюрко-монгольских схождений, при этом алтайская гипотеза имеет большую значимость для реконструкции монгольского праязыка, предполагающей четкое отграничение тюркских элементов.

Как кажется, среди тюркологов отношение к алтайской гипотезе не столь однозначно, как у автора рецензируемого труда. Думается, что она еще будет привлекать внимание новых поколений тюркологов, учитывая и все растущее стремление согласовать данные компаративистики с теми результатами, которые обеспечивает типологическая лингвистика.

В заключение хотелось бы еще раз подчеркнуть масштабность монографии А.М. Щербака в целом, как и настоящего труда, своего рода свода кардинальных проблем тюркологии. Книга несомненно войдет в фонд тюркологической литера-

туры, чтобы быть востребованной поколениями тюркологов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Гаджиева Н.З. 1980 – К вопросу о классификации тюркских языков и диалектов // Теоретические основы классификации языков мира. М., 1980.

Грунина Э.А. 1993 – К истории тюркского залога: Рефлексив, пассив // Вестник шелкового пути: Вопросы тюркской филологии. М., 1993.

Мудрак О.А. 1994 – Обособленный язык и проблема реконструкции праязыка (историческая фонетика, морфонология и интерпретация): Автореф. дис. ...-ра филол. наук. М., 1994.

Кононов А.Н. 1971 – О фузии в тюркских языках // Структура и история тюркских языков. М., 1971.

ПК 1980 – Полипредикативные конструкции и их морфологическая база. Новосибирск, 1980.

Самойлович А.Н. 1922 – Некоторые дополнения к классификации турецких языков. Нг., 1922.

Щербак А.М. 1970 – Сравнительная фонетика тюркских языков. Л., 1970.

Щербак А.М. 1977 – Очерки по сравнительной морфологии тюркских языков: (Имя). Л., 1977.

Щербак А.М. 1981 – Очерки по сравнительной морфологии тюркских языков: (Глагол). Л., 1981.

Щербак А.М. 1987 – Очерки по сравнительной морфологии тюркских языков: (Наречие, служебные части речи, изобразительные слова). Л., 1987.

Э.А. Грунина

Человек – Текст – Культура / Под ред. Н.А. Купиной, Т.В. Матвеевой. Екатеринбург, 1994. 237 с.

В предисловии к монографии ее общая концепция сформулирована редакторами следующим образом: "Реализованы два основных подхода к тексту как к объекту лингвистического анализа – антропоцентрический и культуроцентрический". Коллектив авторов стремился "преодолеть известные стереотипы, сложившиеся в лингвистике текста, повернуть теорию текста к человеку и культуре народа" (с. 3). В соответствии с этой проблематикой книга состоит из двух частей: "Человек и текст", "Текст и культура".

Нужно отметить, что замысел монографии реализован в ней в полной мере:

каждый из девяти небольших разделов книги, будучи автономным, характеризуется ярко выраженной оригинальностью исследовательской позиции и объединяется с другими разделами направленностью на изучение человеческого фактора в тексте, включая культурологические аспекты последнего. Пожалуй, концентрированная представленность в монографии новых, эвристически значимых гипотез и решений по широкому кругу вопросов – психолингвистических, стилистических, генетических, лингвокультурологических – составляет главную ее особенность. Авторскому коллективу удалось обосновать целый ряд

перспективных подходов к изучению текста как "гуманистической структуры", т.е. к его изучению в неразрывной связи с человеком и культурой.

Первая часть монографии открывается работой Л. В. Сахарного "Человек и текст: две грамматики". Обобщая последние данные по полушарной асимметрии головного мозга и опираясь на результаты собственных экспериментов, автор приходит к выводу о том, что, вопреки сложившимся представлениям, в речевой деятельности активно участвует не только левое, но и правое полушарие. В связи с этим и ставится вопрос о двух грамматиках: лево- и правополушарной, взаимодействие которых обеспечивает нормальную речь. Интерпретируя экспериментальные данные, Л.В. Сахарный приводит важные сведения о речедетельностных функциях правого полушария. В частности, последнее осуществляет "грубые" операции обработки синтаксической структуры сообщения, напоминающие актуальное членение (в отличие от определяемых левым полушарием "тонких" формально-логических операций). Именно правое полушарие обеспечивает цельность текста, в связи с чем она рассматривается как базовая категория правополушарной грамматики.

Получает развитие авторская концепция семантической деривации текста (многоуровневого тема-рематического структурирования цельности). Так, рассматриваются механизмы внешней вербализации темарематических комплексов, разновидности последних, объединение комплексов в более сложные структуры.

Особенно интересной представляется обобщенная модель механизмов построения текста, бесспорное достоинство которой состоит в соотношении порождающего процесса с работой левого и правого полушарий головного мозга, что существенно уточняет научные представления о закономерностях речевой деятельности.

И. Я. Чернухина в разделе "Виды речемыслительной деятельности и типология текстов" справедливо указывает на необходимость переосмысления традиционной трактовки интра- и экстралингвистического. "Настало время упрекнуть лингвистов в том, что по сложившейся традиции они относят воплощенную в речи мысль к экстралингвистическим явлениям" (с. 60). На материале поэтических текстов автор разрабатывает актуальную для стилистики и поэтики проблему дифференциации типов речи в соответствии с типами

воплощенного в них мышления. Выделяются и характеризуются такие разновидности мысли, как отражение, воспоминание, репродукция, интерпретация, рефлексия и — в зависимости от преобладания в речи того или иного речемыслительного типа — соответствующие виды поэтических текстов, а также тексты смешанного типа.

Очень интересна, на наш взгляд, гипотеза об интуитивном процессе дробления первоначального структурного зачина мысли на универсальные семы и о последующем их воплощении в узуальных семемах, тропах, окказионализмах. Моделирование этих процессов позволило автору рассмотреть разновидности речемыслительной деятельности — семемную, семно-семемную, семную, нежестко коррелирующие с типами мышления. Плодотворность этих теоретических представлений убедительно доказана анализом стихотворений М. Цветаевой.

Вместе с тем положение автора об универсальности выделенных разновидностей мышления для любой творческой деятельности и соответственно для разных функциональных стилей (публицистического, научного), с нашей точки зрения, требует оговорки. По-видимому, и в публицистическом, и в научном стиле можно обнаружить специфические проявления указанных видов мышления, однако едва ли последние определяют своеобразие этих стилей. Во всяком случае, указанные автором разновидности мышления именно в этом составе присущи прежде всего художественной речи. Естественно предполагать, что функциональные стили характеризуются не только модификацией универсальных мыслительных процессов, но и специфическим составом и сочетанием видов мышления, что, однако, должно стать предметом специальных изысканий.

Фундаментальная проблема текстовых взаимодействий, производства одних текстов на основе других исследуется Л. М. Майдановой (раздел "Речевая интенция и типология вторичных текстов"). С учетом различий интенции субъекта речи рассматриваются речевые жанры, основанные на воспроизведении текста, циклизации первичных текстов, представляющие собой своеобразный диалог с текстом, завершение первичного текста или его продолжение. Тем самым предлагается совершенно новый подход к типологии речевых произведений. Кроме того, прослеживая закономерности создания вторичных текстов, автор вскрывает конститутивные признаки целого ряда речевых жанров — реферата, изложения, тематической под-

борки статей, пародии, рецензии, комментарии и др., опираясь при этом на обширный материал различных функциональных стилей.

Исследования О. Б. Сиротининой "Тексты, текстолды и дискурсы в зоне разговорной речи" и Т. В. Матвеевой "Непринужденный диалог как текст" внешне противоположны по своим выводам, однако, на наш взгляд, в действительности они имеют разный предмет и в конечном счете дополняют друг друга. Так, О. Б. Сиротинина предлагает типологию различных проявлений разговорной речи по отношению к двум традиционным трактовкам текста – его пониманию как сознательно организованной речи и как реальной реализации речевого замысла. С этих позиций показано, что в разговорно-бытовой сфере общения лишь изредка встречаются собственно тексты-рассказы, неоднократно повторенные рассказчиками; более употребительны текстолды, характеризующиеся ослаблением текстовых параметров как в отношении организации сообщения, так и с точки зрения последовательной реализации первоначального замысла, а также тексты-разговоры, текстовой статус которых оправдывается лишь применительно к воплощению замысла. В основном же разговорная речь представлена дискурсами (обменом реплик без особого речевого замысла), которые в обще-принятом смысле текстами не являются. Важно констатировать, что поскольку традиционные трактовки текста, бесспорно, отражают его существенные признаки, то основанная на этих признаках типология надежно разграничивает неоднородные явления разговорной речи.

Между тем Т. В. Матвеева в результате тонкого и глубокого анализа непринужденного диалога убедительно показала, что обычно не осознаваемый его участниками замысел специфичен: он характеризуется сочетанием эмоционально-волевой и социально-практической доминанты при господстве первой (с. 128). Поэтому разговорный диалог "спаян" не интеллектуальными, а эмоционально-коммуникативными проявлениями замысла. Особенно же важно то, что обнаруживается текстовая системность речевой ткани диалога – в текстовых категориях темы ("я-темы"), времени, пространства, тональности; играет роль также ситуативное единство диалога и относительное постоянство состава его участников. Все это позволило Т. В. Матвеевой вполне обоснованно интерпретировать непринужденный диалог как своеобразный, неканонический текст.

Таким образом, если О. Б. Сиротинина справедливо указывает на несоответствие дискурсу (непринужденного диалога) традиционным трактовкам текста и на существенные отличия этой господствующей разновидности разговорной речи от собственно разговорных текстов и текстолдов, то Т. В. Матвеева раскрывает незамечавшиеся ранее признаки целостности непринужденного диалога, что углубляет понимание его природы и позволяет использовать при его изучении понятийный аппарат лингвистики текста и психолингвистики.

Исследованию специфики разговорно-бытовой речи посвящен и следующий раздел монографии – "Культурно-речевые аспекты разговорного текста" (авторы Н. Е. Богуславская и И. А. Гиниятуллин). На основе анализа ряда речевых параметров – логичности, выразительности, ясности, правильности, чистоты – делается важный вывод: в непринужденном диалоге "снижается значимость коммуникативных качеств собственно языкового плана. Зато неизмеримо возрастает... значимость качеств прагматического и этического характера" (с. 145). К тому же каждое из этих качеств проявляется в разговорной речи по-иному, чем в письменных монологических текстах различной стилиевой принадлежности. Беспорный интерес вызывает и представленная в работе программа обучения диалогу как коммуникативной деятельности. В целом же исследование доказывает актуальность оценочно-нормативного, лингводидактического изучения разговорной речи, намечая перспективные аспекты такого изучения.

Вторая часть монографии открывается работой Л. Н. Мурзина "Язык, текст и культура", в которой живые, плодотворные идеи структурной лингвистики органично соединяются с динамической концепцией языка, восходящей к гумбольдовскому понятию *energeia*.

По мнению автора, если следовать духу теории Э. Бенвениста, то высшим уровнем языка в самой широкой его семиотической трактовке нужно признать не предложение и даже не текст, а культуру, поскольку культура в основе своей семиотична, а тексты являются ее единицами. Текст, образуя предшествующий культуре уровень языка, получает свою определенность только как ее элемент. Поэтому в культуре следует видеть "не просто объект одной из смежных наук, но и нечто большее – феномен, без рассмотрения которого сам язык не может быть осмыслен глубоко и полно" (с. 162).

Ценной представляется идея Л.Н. Мурзина о двойственной природе культуры: "Культуру нельзя представить в виде некоей застывшей массы текстов. Культура в сознании носителей непрерывно видоизменяется: она живет постольку, поскольку ее компоненты – тексты – интерпретируются, она умирает без интерпретации" (с. 167). В этом смысле культура выходит за пределы языка и принадлежит миру творческой духовной жизни человека. Заметим, кстати, что интерпретация текста, согласно Л.Н. Мурзину, обязательно приводит к порождению нового текста, чем лишней раз подтверждается актуальность постановки вопроса о вторичных текстах (см. соответствующую главу монографии).

В разделе "Типологические характеристики художественного текста на фоне традиций русской литературы XIX–XX вв." (автор Н. А. Кожина) массив художественных текстов указанного периода рассматривается с точки зрения их типологических признаков, в частности, анализируются типы повествования, варианты соотношения прямых и непрямых значений языковых единиц в узком и широком контексте, включая употребление тропов, многообразные типы повтора. Тщательное рассмотрение обширного фактического материала, несомненно, обогащает сведения об устойчивых проявлениях организации художественного текста. По-видимому, в ряде случаев анализ функционирования языковых единиц и речевых явлений выиграл бы при использовании элементов статистической методики и учета базовых для художественного текста экстралингвистических факторов.

Завершающая монографию работа Н. А. Купиной и Г. В. Битенской "Сверхтекст и его разновидности" посвящена обоснованию нового для лингвокультурологии объекта. Исходя из широкого понимания культуры как совокупности материальных и духовных ценностей общества, авторы пришли к оригинальной и

глубокой мысли о целесообразности исследования речевого выражения ценностной ориентации социума на материале не только отдельных произведений, но и сверхтекста. Последний определен как совокупность высказываний, текстов, ограниченных темпорально и локально, объединенных содержательно и ситуативно, характеризующихся цельной модальной установкой, определенными позициями адресанта и адресата, особой нормой (с. 215). Представленный в разделе опыт анализа сверхтекста (речевой действительности периода путча 19–21 августа 1991 г.) свидетельствует об объединенности его составляющих по всем указанным в определении признакам, т.е. демонстрирует его своеобразную целостность. В результате получает интересное развитие концепция неканонического текста (см. также раздел "Непринужденный диалог как текст").

Предложенная авторами типологизация сверхтекстов, определяя важнейшие виды последних в отношении типа целостности, маркированности конца, коммуникативной рамки, вида структурирования, вместе с тем указывает аспекты дальнейшего изучения этого важного для лингвокультурологии и социолингвистики феномена.

Заканчивая краткий критический обзор монографии, еще раз подчеркнем перспективность разрабатываемых авторами подходов к языку и тексту, эвристическую значимость содержащихся в ней идей. Отметим также, что выход в свет этой интересной книги весьма симптоматичен: лингвистика текста, очевидно, не может более ограничиваться статической трактовкой языка, изучением в основном лишь логико-семантических параметров речевых произведений. Поэтому предпринятое авторским коллективом целенаправленное исследование текста в его отношении к человеку и культуре, несомненно, будет стимулировать интерес лингвистов к этой фундаментальной проблематике.

М.Н. Кожина, В.А. Салимовский

Пожалуй, ни один диалектологический регион не изучен в лексикографическом отношении так разносторонне, как Томский. Здесь представлены разные типы областных словарей, составленных диалектологами Томского университета: один из самых крупных дифференциальных словарей диалектной группировки — семитомный Среднеобский словарь (см. [Палагина "ред." 1964; Блинова "ред.", Палагина "ред." 1975; Палагина "ред." 1983]), первые и пока единственные в диалектной лексикографии — Словарь просторечий говоров Среднего Приобья (Томск, 1977), Словарь вторичных заимствований [Гордеева, Ольгович, Охолина, Палагина 1981], двухтомный Мотивационный словарь [Блинова "ред." 1982], Идеографический словарь [Раков 1988], первые диалектные инверсарии группы говоров [Янценецкая "ред." 1973; Янценецкая "ред." 1979] и одного говора [Иванова 1985] и некоторые другие.

Одним из последних достижений этого творческого коллектива явился опубликованный четырехтомный "Полный словарь сибирского говора" — единственный из завершенных словарей полного типа.

В нашей диалектной лексикографии количество полных областных словарей невелико из-за сложности осуществления этой идеи. Принимая во внимание известную условность этой "полноты", можно назвать такие словари двух типов: словари говоров однородных диалектных массивов (см. [Псковский сл. 1967; Брянский сл. 1976]) и словари одного говора (см. [Акчимский сл. 1984]) и рецензируемый сл. — далее — ПССГ.

По справедливому признанию составителей ПССГ, "в ряду полных диалектных словарей особое место принадлежит словарю одного говора, одной микросистемы, ибо только на базе такого словаря возможно подлинно системное исследование словарного состава говора в многих аспектах, что дает материал для сопоставительно-типологических исследований. Полные словари имеют большое историко-культурное значение, внося существенный вклад в решение экологии культуры, в данном случае — экологии речевой культуры народа" [ПССГ, т. 1:3].

Как положительную сторону этого словаря следует отметить, что для исследования был выбран типичный старожильский говор Томского региона — говор села Верши-

нино, одного из старинных сибирских селений, в качестве дополнительного источника привлекались материалы двух соседних сел — Батурино и Ярского, однотипных по говору. На собрание сведений ушли многие годы, почти полвека (1947—1993 гг.), что позволило получить достаточно полную и разностороннюю информацию о лексике говора не только в традиционных для диалектной лексикографии аспектах (семантическом, грамматическом, экспрессивно-стилистическом, прагматическом и др.), но и в новых, нетрадиционных, аспектах (с точки зрения социально-речевой дифференциации современного говора, с точки зрения системной принадлежности лексических единиц говора, в статистическом плане и некоторых других).

Составление словаря заняло 10 лет. В этой работе принял участие коллектив диалектологов Томского и Кемеровского университетов, Томского и Омского пединститутов. Огромное впечатление производит размах работы: список информантов словаря содержит 154 фамилии, в создании картотеки приняли участие более 300 человек. Положительной стороной словаря является то, что он базируется на всей совокупности известных источников: в записях диалектной речи (преимущественно магнитофонных) в ее естественном проявлении, на данных картотеки, насчитывающей сотни тысяч карточек, на материалах многочисленных исследований сотрудников Томского университета.

Достоинством и отличительной чертой рецензируемого словаря по сравнению со словарями дифференциального типа является то, что он включает всю лексику и фразеологию говора, которую удалось собрать в 40—90 гг. нашего века — лексику общерусскую, диалектную, просторечную. Словарь охватывает свыше 32 тыс. слов, ЛСВ, фразеологических сочетаний, в него вошли общеупотребительные и малоупотребительные слова, частотные и малочастотные, неограниченного употребления и имеющие ограничения, устаревшие слова и неологизмы и т.д. В словарь не включены лишь топонимы и антропонимы.

В словаре принята оригинальная подача лексикографируемого материала, позволяющая экономно показать всю полноту сведений о лексике говора: в первой части каждого тома словаря приводятся сло-

варные статьи, отобранные по дифференциальному принципу, во второй — словник лексических единиц, не имеющих диалектной специфики в семантике, словообразовании и т.д. Этот прием (безусловно, вынужденный) начинает использоваться в словарях недифференциального типа, например, в Словаре говора деревни Акчим Пермской области [Акчимский сл. 1984].

Структура словарной статьи учитывает богатый опыт русской диалектной лексикографии и включает такие компоненты, как заглавное слово, толкование его значения, грамматические пометы, стилистические и семантические пометы, иллюстративный материал. Кроме того, в структуру словарной статьи введены новые компоненты, повышающие ее информативные возможности: 1) пометы, характеризующие заглавное слово с точки зрения его системной принадлежности: О — общерусское, ДО — диалектный вариант общерусского слова, Д — собственно диалектная единица и т.д., что позволяет определить степень общности и различия лексики говора и других форм национального языка, прежде всего — языка литературного; 2) пометы, характеризующие заглавное слово в плане социально-речевой дифференциации диалекта (пометы I, II, III указывают на преимущественность употребления заглавного слова в том или ином социально-речевом типе говора); 3) пометы, отражающие зависимость употребления заглавного слова от пола информанта (м — преимущественно в речи мужчин, ж — преимущественно в речи женщин); 4) пометы статистические, дающие сведения о числе фиксаций заглавного слова в источниках словаря (а оно разное: от единичной фиксации до нескольких тысяч словоупотреблений), что косвенно характеризует относительную частотность лексической единицы.

Каждый компонент словарной статьи обоснован четкой теоретической позицией, находящей свою опору в достижениях современной лексикологии и теоретических изысканиях в области диалектной лексикологии составителей словаря (О.И. Блиновой, В.В. Палагиной, З.М. Богословской, Л.Г. Гынгазовой и других представителей томской школы). Это касается разработки критериев вариантности лексических единиц с учетом теории тождества и отдельности слова, критериев определения эмоционально-экспрессивных коннотаций, формально-семантической структуры слова (пометы переносное, образное), его стилиевой принадлежности и т.п., что частично

отражено во вводной части словаря [ПССГ, т. 1].

Заглавное слово дается в исходной форме, в орфографической записи с указанием ударения. Значение слова определяется, как правило, описательным способом, с учетом состава сем. Для грамматической характеристики установлен дифференциальный подход: она указывается, когда по исходной форме трудно определить частречную принадлежность слова, род и т.п., а также когда необходимо показать какие-либо лексико-грамматические или формальные особенности (переходность, вид, управление и т.п.). Стилистические и иные пометы показывают стилиевую приуроченность слова (высокое, разговорное, сниженное), сферу употребления (детское, фольклорное), эмоциональную оценочность и т.д.

Таким образом, словарь задуман и выполнен так, что является фундаментальной базой для самых разнородных лексикологических исследований. Словарь обладает исключительно большими достоинствами для изучения лексической системы говора. Например, хорошо показана многозначность слова в рамках одной системы. Обычно из-за неясности этого вопроса считается, что многозначность слова складывается в результате объединения материалов разных говоров (как, скажем, в "Словаре русских народных говоров" или в дифференциальных словарях Томского, Уральского, Красноярского регионов и некоторых других, охватывающих говоры более или менее широких территорий). Примерами многозначных слов в Вершининском говоре являются: *белый* (10 значений), *бить* (10 значений), *братъ* (20 значений), *гулять* (19 значений), *ёлочка* (7 значений), *идти* (23 значения), *пойти* (22 значения), *садиться* (10 значений), *ходить* (17 значений), *хорошо* (15 значений) и т.д. В словаре хорошо разработаны предлоги (*за* — 39 значений, *на* — 31 значение, *по* — 27 значений, *у* — 23 значения), союзы (*да* — 10 значений), частицы (*вот* — 14 значений, *ну* — 7 значений) и другие служебные слова.

Исключительно богато представлена в словаре лексическая вариантность говора — словообразовательная, фонематическая, акцентная, например: *автóбус*, *актóбус*, *втóбус*; *автóбусный*, *втóбусный*; *агронóмка*, *агронóмша*, *гронóмка*; *ба́бить*, *ба́бничать*, *ба́бствовать* "принимать роды, быть повивальной бабкой"; *белы́ш*, *белóк* "прозрачная часть птичьего яйца"; *обворóвывать*, *обво-*

рáвывать; пáдалица, падалица, пáдальник, пáдальница, пáдалец "опавшие семена, а также всходы, выросшие из этих семян"; *слепёнъ, слення, сленняк; сортировáть, сортовáть* и многие другие.

Богат набор антонимических пар, синонимов, омонимов. Например: *санки*¹ "сани" и *санки*² "челюсти", *татарка*¹ "женщина татарской национальности" и *татарка*² "мужская зимняя шапка", *сор*¹ "мусор", *сор*² "сорняки" и *сор*³ "заливной луг".

Подлинным украшением словаря является иллюстративная часть словарной статьи, отражающая живую, непринужденную, яркую и образную народную речь и фрагменты народно-поэтической речи, пословицы, поговорки, присловья, заговоры, частушки, отрывки из старинных народных песен.

Материалы данного словаря показывают, что для говоров Томского региона актуальным является создание словаря сочетаемости, словаря образных слов и выражений, словаря фразеологизмов. Эти сведения исключительно богаты, например: *багрóвая капуста* "сорт капусты с синеватым оттенком", *баня по-белому, барнаульские помидоры* "сорт помидоров", *березовый гриб, крутиться как змея на огне, падать духом, падать в панику*, сочетания со словом *мальй* — *без мала, без малого, малая вода, с малых лет, самое малое*, сочетания со словом *память* — *без ума без памяти, большая память, быть без памяти, в моей памяти, в памяти, зрительная память, на памяти, на память, в память, оставить в память* и т.д. С опорным словом *рука* лексикографировано 42 (!) фразеологизма, в числе которых 18 общерусских и 24 диалектных.

Нет сомнения в том, что "Полный словарь сибирского говора" является ценным лексикографическим трудом, представляющим собой крупный вклад в теорию и практику областной лексикографии, как нет сомнения и в том, что он войдет в сокровищницу русских областных словарей как памятник народного языка нашего времени.

Акчимский сл. 1984 — Словарь говора деревни Акчим Красновишерского района Пермской области (Акчимский словарь) / Под ред. Ф.Л. Скитовой. Вып. 1. Пермь, 1984; Вып. 2. Пермь, 1990.

Блинова О.И. "ред.", Палагина В.В. "ред." 1975 — Словарь русских старожильческих говоров средней части бассейна р. Оби. Дополнение / Под ред. О.И. Блиновой и В.В. Палагиной. Т. 1—2. Томск, 1975.

Блинова О.И. "ред." 1982 — Мотивационный диалектный словарь: Говоры Среднего Приобья / Под ред. О.И. Блиновой. Т. 1. Томск, 1982; Т. 2. Томск, 1983.

Брянский сл. 1976 — Словарь брянских говоров. Вып. 1—5. Л., 1976—1988.

Гордеева О.И., Ольгович С.И., Охолина Н.М., Палагина В.В. 1981 — Вторичные заимствования в говорах Среднего Приобья. Томск, 1981.

Иванцова Е.В. 1985 — Обратный словарь одного говора. Томск, 1985. Рукопись депонирована в ИНИОН АН СССР, № 21769 от 24.07.85. 160 с.

Палагина В.В. "ред." 1964 — Словарь русских старожильческих говоров средней части бассейна реки Оби / Под ред. В.В. Палагиной. Т. 1—3. Томск, 1964—1967.

Палагина "ред." 1983 — Среднеобский словарь / Под ред. В.В. Палагиной. Т. 1. Томск, 1983; Т. 2. Томск, 1986.

Псковский сл. 1967 — Псковский областной словарь с историческими данными. Вып. 1—8. Л., 1967—1988.

Раков Г.А. 1988 — Диалектная лексическая синонимия и проблемы идеографии. Томск, 1988.

Яценецкая М.Н. "ред." 1973 — Опыт обратного диалектного словаря / Под ред. М.Н. Яценецкой. Томск, 1973.

Яценецкая М.Н. "ред." 1979 — Обратный диалектный словарь и возможные аспекты использования его материалов в лингвистических исследованиях / Под ред. М.Н. Яценецкой // Диалектное словообразование: Очерки и материалы. Томск, 1979.

И.А. Попов, А.Н. Тихонов

В 1992 г. лингвисты и филологи испаноязычных стран отметили пятистолетнюю годовщину опубликования первой грамматики испанского языка Антонио Небриха [Nebrija A. de 1946]*, которая ознаменовала собой начало кодификации не только испанского, но и других романских языков, ибо явилась первой работой подобного рода в романском ареале. К числу юбилейных публикаций принадлежит и рецензируемая книга известного мексиканского лингвиста Х.М. Лопе Бланча, автора многочисленных исследований по проблемам грамматики и социолингвистики испанского языка и истории испанского языкознания. В книгу вошли три статьи и три доклада, опубликованные в 1992 и 1993 гг. в журналах и материалах различных конгрессов.

Эти работы неравноценны по своему содержанию и могут быть разделены на две группы. К первой группе относятся исследования общего характера, в которых выявляется роль Небриха в становлении европейской лингвистической традиции: "Небриха — первый лингвист современности"; "Небриха — источник и передатчик грамматических знаний" и "Позиция Небриха по отношению к испанскому языку". Ко второй группе относятся частные исследования, посвященные отдельным аспектам лингвистической деятельности Небриха: "Протяженные синтагмы у Небриха"; "От Небриха к Менажу через Коваррубиаса" и "Синтаксическая структура клаузулы у Небриха".

Мы сосредоточим свой анализ прежде всего на исследованиях первой группы, но вначале хотелось бы отметить такое достоинство книги Х.М. Лопе Бланча, как комплексное рассмотрение лингвистической деятельности Небриха, не только автора "Кастильской грамматики" и "Орфографических правил кастильского языка" (1517), в каком качестве он более всего известен нынешним испанистам, но и выдающегося латиниста своего времени, которого современники ценили прежде всего за его "Латинско-испанский словарь" (1492) и особенно за "Введение в изучение латинского языка" [Л 1481]. Такой подход позволяет мексиканскому лингвисту, в частности, более четко поставить проблему, важную

для истории языкознания: в какой мере латинская (шире: греко-римская) лингвистическая традиция повлияла на кодификацию Небриха грамматики испанского языка.

В докладе "Небриха — первый лингвист современности", прочитанном на Коллоквиуме "Творчество Небриха и его восприятие в Новой Испании" (Мехико, 1992), Х.М. Лопе Бланч подчеркивает тот факт, что Небриха явился создателем первой "научной" грамматики современного европейского языка. Его оригинальность проявляется в сочетании греко-латинской лингвистической традиции, для которой было характерно следование узусу "хороших" писателей и поэтов, с возрожденческим подходом к произведениям народного творчества (пословицы, четверостишия, романсы) как к такому же авторитетному источнику, что и произведения отдельных писателей и поэтов. Отсюда и новый подход к экземплификации: Небриха иллюстрирует свою грамматику не только примерами из произведений своего любимого поэта Хуана де Мены, но и примерами из устного народного творчества.

Заслугой Небриха является четкая формулировка латинского происхождения испанского языка, а ведь это положение оспаривалось и после него. По мнению Х.М. Лопе Бланча, Небриха впервые дал нечто вроде очерка исторической грамматики кастильского языка. В VII главе его грамматики мы находим зачатки исторической фонетики "с ясным осознанием некоторых фонетических изменений" (с. 15). По нашему мнению, следовало бы точнее охарактеризовать это "осознание", поскольку, хотя Небриха действительно впервые сформулировал ряд фонетических переходов (например, *ai > o*; *p, t, k, f > b, d, g, v*; *pl-, fl-, cl- > ll* и др.), сами формулировки даются им вполне в духе его времени. При трактовке фонетических явлений он исходит из принципа, что буквы (Небриха прекрасно различал *letra* "буква" и *voz* "звук", но, как и другие его современники, чаще использовал слово *letra* в качестве гиперонима для обозначения и того и другого) чрезвычайно близки друг к другу и легко смешиваются в речи, искажаются и деформируются. Отсюда, например, такая формулировка: «*i* деформируется в *e*, например, *pica* дает *pega* "сорока", *bibo* дает *bevo* "пью"». Поэтому в целом кастильский язык

* Далее в тексте следуют ссылки на критическое издание этой грамматики, использованное автором рецензируемой книги Nebrija A. de 1946.

определяется как *latín согrompido* [Nebrija 1946 : 25—28]; может быть, это выражение следует передавать на русский как "искаженная, деформированная латынь", а не "испорченная латынь" (ср. с привычным для истории языкознания термином "порча языка"), тем более что Небриха нигде не оценивает кастильский отрицательно, сравнивая его с латынью. Таким образом, заслуга Небриха состоит в том, что он, говоря об искажении звуков, тем не менее дает не хаотическую картину случайных изменений, а выделяет типичные фонетические переходы, хотя вряд ли сто́ит говорить об осознании им "закономерности" развития фонетической системы языка.

Совершенно справедливо Х.М. Лопе Бланч отвергает обвинения в латинизации испанской грамматики, которые выдвигались против Небриха уже в XVI в. Он указывает на случаи, когда Небриха четко формулировал отличия кастильского от латыни: отсутствие пассивного залога у глагола, наличие трех, а не четырех типов глагольного спряжения; подробно рассматриваются и различия в звуковом строе двух языков. Оригинальность Небриха проявляется и в том, что он выделил десять частей речи, а не восемь, как это делалось на протяжении веков, добавив в качестве самостоятельных частей речи герундий и то, что он назвал "*nombre participial infinito*" (неопределенное причастное имя); речь идет о неизменяемой форме причастия в составе аналитических форм глагола.

Вызывает сожаление отсутствие обсуждения, пожалуй, центрального пункта в проблеме латинизации грамматики национальных языков; это вопрос о падежах имени. Между тем, позиция Небриха весьма любопытна. С одной стороны он заявляет: "Склонения имени нет в кастильском языке, за исключением [склонения] от единственного числа к множественному, но значения падежей различаются с помощью предлогов" [Nebrija 1946 : 69]; иными словами, он не выделяет падеж как м о р ф о л о г и - ч е с к у ю категорию. С другой стороны, он выделяет в испанском пять с е м а н т и - ч е с к и х падежей: номинатив, генитив, датив, аккузатив, вокатив, по существу опираясь на м о р ф о л о г и ю латинского языка, хотя и говорит, что в кастильском отсутствует аблатив и выделенный им в латыни падеж эффектив. Изложение этого раздела грамматики Небриха страдает непоследовательностью и явно проигрывает по сравнению с подробным описанием глагольной системы.

В статье "Небриха — источник и передатчик грамматических знаний" рассматривается судьба трудов Небриха в последующей истории европейского языкознания. Автор подробно останавливается на том факте, что в XVI—XVII вв. Небриха был известен более как латинист, чем автор первой грамматики кастильского языка. Он объясняет такое положение тем, что в ту эпоху латынь по-прежнему оставалась обязательным предметом изучения в школе, чего нельзя сказать об испанском. Лишь лингвисты XX в. стали выше ценить Небриха как испаниста, чем как латиниста. Подробно рассматривается в текстологическом плане соотношение грамматик Небриха и К. Вильялона [Villalón 1558], а также "Заметок о кастильском языке" Дж. Миранды [Miranda 1566].

Чрезвычайно богат интересными мыслями доклад "Позиция Небриха по отношению к испанскому языку", произнесенный автором на Международном конгрессе, посвященном А. Небрихе, который проходил в Саламанке и Севилье в 1992 г. Здесь в центре внимания автора оказывается понятие "научной грамматики" в современном и традиционном понимании. В европейской лингвистической традиции от античности до наших дней научная грамматика мыслилась как коррективная и прескриптивная; ср. ее определение автором на с. 77: "Грамматика есть искусство (или иначе: она учит) правильно говорить и писать в соответствии с хорошим узусом (или с узусом достойных людей)". В наше время под научной понимается грамматика аналитическая и описательная. Обильно цитируя А. Мартине как типичного представителя современного подхода, Х.М. Лопе Бланч решительно становится на сторону лингвистов прошлого, характеризуя современную позицию как *asepsia científica* (нечто вроде "научной стерильности"). Не случайно поэтому цели, которые ставил себе Небриха и которые намного позже нашли выражение в знаменитом лозунге Испанской королевской академии "*Limpia, fija y da esplendor*" ("Очищает, закрепляет и придает блеск"), Х.М. Лопе Бланч называет н а у ч н ы м и целями (с. 17). Здесь есть над чем задуматься историку нашей науки; не имея возможности детально обсуждать этот вопрос, отметим лишь, что конструктивный подход к языку характерен для периода становления его литературной нормы (что наблюдается и сейчас в отношении миноритарных романских языков), в то время как описательный подход начинает

преобладать в последующий период его "спокойного" развития. Ясно, однако, что уравнивания "описательный = научный", "нормативный = ненаучный" или "описательный = ненормативный" совершенно не отражают реальной истории лингвистических исследований. Тот же Небриха, как верно отмечает автор, прежде чем приступить к кодификации кастильского языка, должен был его описать, но, описывая языковые факты, он в то же время выражал к ним свое отношение, причем в своеобразной форме. Поскольку для него, как было указано выше, кастильский являлся "искаженной латынью", он считал необходимым предупредить дальнейшее его искажение и закрепить его (*fijar, conservar*).

Исследования второй группы посвящены частным вопросам. В статье "Протяженные синтагмы у Небриха" читатель найдет интересный материал для истории становления испанской синтаксической терминологии; исследуется употребление Небриха таких терминов, как "огасión", "cláusula", "sentencia". В статье "От Небриха к Менажу через Коваррубиаса" рассматривается косвенное влияние Небриха как лексикографа на становление французской лексикографической традиции. Наконец, в докладе "Синтаксическая структура клаузулы у Небриха", прочитанном на III Международном конгрессе по истории испанского языка (Саламанка, 1993), автор, дав свои определения таким синтаксическим терминам, как "огасión", "cláusula", "frase", "pro-ogасión", "período", анализирует "Предисловие" к грамматике Небриха с точки зрения сложности синтаксических построений и приходит к выводу о том, что проза Небриха, как и его современника Э. Кортеса, типична для предвозрожденческой эпохи и отличается необычной усложнен-

ностью синтаксиса, однако этот факт обусловлен целью, которой задавался пишущий: представить текст как абсолютное гомогенное и хорошо выстроенное целое. Добавим от себя, что этой цели Небриха вполне достиг, и его проза является собой образец максимальной связности текста, причем синтаксическая сложность ни в какой мере не затрудняет понимания текста и по прошествии пяти веков со дня его написания.

Оценивая книгу Х.М. Лопе Бланча в целом, можно утверждать, что перед нами ценный труд по истории европейского языкознания. Определенным его недостатком можно считать уклон в своеобразный филологизм, когда подробно рассматриваются текстовые совпадения и несовпадения у различных авторов в ущерб собственно концептуальному анализу. Ведь не так важно, кто сколько у кого позаимствовал, а какие идеи основоположника современного испанского (и даже европейского) языкознания получили то или иное преломление в трудах языковедов последующих веков. Впрочем, книга содержит достаточно материала и в этом плане, побуждая к дальнейшим исследованиям.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Nebrija A.de* 1481 — *Introductiones latinae*. Salamanca, 1481.
Nebrija A.de 1964 — *Gramatica castellana*. Texto establecido sobre la edición de 1492 / Ed. de P. Galindo Romeo y L. Ortiz Muñoz. V. I. Madrid, 1946.
Miranda Gi. 1566 — *Osservazioni della lingua Castigliana*. Vinegia, 1566.
Villalón Cr. 1558 — *Gramática castellana*. Anvers, 1558.

Б.П. Нарумов

CONTENTS

A.K. M a t v e e v (Ekaterinburg). Substrat toponymy of the Russian North and the Merian problem; A.I. D o m a š n e v (St.-Petersburg). German settlements on the Neva (from the history of "island" dialectology); T.I. V e n d i n a (Moscow). Lexical atlas of the Russian territorial dialects and linguistic gnoseology; I.B. L e v o n t i n a (Moscow). Purposefulness without purpose; T.Z. Č e r d a n c e v a (Moscow). Idiomatic phrases and culture; D.O. D o b r o v o l ' s k i j (Moscow). Image component in the meaning of idioms; F. P r e m k (Ljubljana). Old Testament traditions in the text of Brižinsk (Freisingen) excerpts; K. W i t c z a k (Lodz). On the problem of *b in Mycenaean Greek; V.A. F r i e d m a n (Chicago). On differentiation of temporality and aspectuality in Bulgarian and Macedonian; K.R. K e r i m o v (Makhachkala). Is there the category of aspect in Lezgian?; **From the history of science:** E.E. B a b a e v a (Moscow). Slavic- French lexicon of A. Kantemir (philological characteristics: conception, structure); **Reviews;** M.V. P a n o v (Moscow). *F.D. Ašnin, V.M. Alpatov*. The personal file of slavists in the thirties; M.A. O s i p o v a (Moscow). The Slavonic languages; E.A. G r u n i n a (Moscow). *A.M. Ščerbak*. Introduction in the comparative study of the Turkic languages; M.N. K o ž i n a, V.A. S a l i m o v s k i j (Perm). "Man—Text—Culture"; I.A. P o p o v , A.N. T i x o n o v (Moscow). A comprehensive dictionary of the Sibir dialect of the Russian language; B.P. N a r u m o v (Moscow). *J.M. Lope Blanch*. Nebrija cinco siglos después.

Технический редактор *Н.С. Евсеева*

Сдано в набор 26.10.95 Подписано к печати 1.12.95 Формат бумаги 70×100¹/₁₆
Офсетная печать. Усл.печ.л. 14,3 Усл.кр.-отт. 26,0 тыс. Уч.-изд.л. 17,8 Бум.л. 5.5
Тираж 1817 экз. Зак. 3617 тыс.

Адрес редакции: 121019 Москва, Г-19, ул. Волхонка, 18/2. Институт русского языка,
телефон 201-74-42
Московская типография № 2 РАН, 121099, Москва, Г-99, Шубинский пер., 6